**Николай Николаевич Тертышный**  
**РОДНЯ**  
**Повесть**  
**Часть 1. В путь**

« …Собравшися в дорогу,  
 В последний раз вам вера предстоит.  
 Ещё она не перешла порогу,  
 Но дом её уж пуст и гол стоит…»  
(Ф. Тютчев)

…Там, за излучиной жёлтой реки, за крутым изгибом повисшей в воду кучерявой скалы, пробегает, нескончаемой лентой скользкого железа и дурно пахнущих шпал, дорога. Она приходит сюда с вершин, теснящихся в беспорядке по горизонту, как бы сбегая наравне с рекою вниз, и уходит в бесконечную голубизну, вдруг открывающегося пространства, унося за собою запахи и чудное томление лесистых гор. И видимый из-за реки отрезок аккуратной насыпи, и домишко, смотрящийся в воду, есть только крохотная доля того большущего переполненного событиями мира, куда так непреодолимо увлекает и зовёт за собою дорога, когда гудит, натужно подставляя спину составу, несущемуся в низ, в долину. И дыбится тогда насыпь, тормозит, удерживает вагоны и манит туда, за реку, к маленькому станционному домику.

«…Жду-у-у…!» - несётся желанное и зовущее через реку по жёлтой и недоброй воде, а потом, словно не дождавшись ответа, погрустнелое и скорбное уже вторится: «…Ухожу-у…!». И ветер долго ещё держит это обидевшееся «у-у» под илистой кручей, в хлёстких прутьях ивняка и не спешит разбросать его в буйство вольных приречных трав. А в ответ - неслышное, совершенно затерянное в говоре недальнего переката, в звонах пряного луга, робко доносится: «Вот вырасту…!».

И чуть бы умолкла вода, долетело бы это мальчишеское «вырасту» до исчезающего за поворотом последнего вагона. Но смолкает голосишко, где-то не дойдя середины реки, уступая вечному шуму воды…

\*\*\*

…Весенней распутицей расквасило деревенскую улицу, не пройти - не проехать. В кюветах вдоль заборов ворчит по-доброму вода, торопится говорунья убежать оврагами в реку. В полдень, улучив минутку, Федот садится на лавочку у ворот и, сняв картуз, греет на солнце лысеющую макушку и по-мужицки нехитро любомудрствует: «Весна вовремя, год не спешный должон быть…». У Федота Ерохина хата неплохая, но с виду мрачная, с небольшими оконцами в грубых резных наличниках, нижние венцы из чёрного витого дуба рублены. Стоит посреди села над оврагом, что сразу за дорогой режет глубоко глинистую податливую землю. Над домом липа молодая, годов двадцати, но ветвиста, раскидиста, руками Федота посажена когда-то по случаю его женитьбы. Обзавёлся в те стародавние времена Федотка молодою женой Евдокией. Всем небольшим Ерохинским родом избу срубили. Дальний родич с Мельниковки тогда же улей для расплода ожаловал, потому Федот вскоре и липку в заозёрье выкопал да и притащил в чистый, ещё усыпанный щепою и стружкой, двор.  
 «…Утекло времечко. Ух, не воротишь…. Старший сын Афанасий, вона, вымахал, рука - лопата, сам себе уж на уме. Когда и омужать успел? Как зашумел народ опосля семнадцатого году, так Афоня от отца отдаляться удумал, свой интерес у парня на жизнь поимелся. В деда пошёл…. Того до сих пор Шагеем кличут за долготу, за походку скорую, за желание всё шагать куда-то. В конце прошлого века привёл Шагей небольшую толпу крестьян с Руси-матушки на новые земли, с надеждою великой на вольный хлебушек, на долю лучшую. Кто ещё в Сибири отстал, кто на Амуре пристроился, а Шагею не терпелось до синя моря, до самого берега дальнего добраться. Добрались таки…. Осели, укрепились. Живи - радуйся…. Куда там! Кипит неугомонное племя людское: то места мало, то воли не хватает…».

Внимание Федота привлекает воробьиная пара, устроившая в затишье у забора некое подобие свадьбы. Присмотреться к воробью, так петуха соседского напоминает. Таков же нахохлившийся, с опущенными до земли крыльями, та же манера пятиться боком, цепляя лапой за волочащееся крыло, те же наскоки и развороты. «Ишь, шельмец!» - улыбается сам себе Федот, наблюдая за птахой. Тем временем на «пиршество» случайно залетает ещё один воробей и приключается занятная возня. «Петушок», сжав в комочек худое тельце, с налёту бьёт незваного соперника, изрядно тузит и отгоняет подальше от полынного закута. Победно почирикивая, возвращается к подружке. А уж воробьиху не сравнить с курицей. Птица! Ей по всей вероятности пришёлся по душе тот «посрамлённый соперник». Воробьиха встречает своего ухажёра небрежным чириканьем, а потом, вдруг изловчившись, хватает клювом за крыло у самого плеча и так треплет бедолагу, что летит пушок. Воробей пытается внести ясность в столь неожиданное поведение «невесты», ласковым голоском доказывает свою преданность, но тщетно. Изрядно потрепав беднягу, та улетает, оставив объедки «свадебного пиршества» - малюсенькую корку ржаного хлеба. Но как оказалось, воробей не долго и тосковал. Чирикнув пару раз нарочито небрежно, оправив перья, клюнув раз-другой, он беззаботно улетел в противоположную сторону. «Вот, шельма!» - продолжает улыбаться Федот, но через минуту выражение лица его меняется. Из проулка показался всадник, в котором он без ошибки узнаёт своего рыжего коня и сына. Завидя старшего хозяина, конь заегозил под седоком, нетерпеливо радостно подхрапывая.   
- На революцию собрался, сынок? - Федот, придерживая потянувшегося к нему мордой жеребца, мрачно встречал Афанасия у ворот.  
- Ладно, уж, тятя. Говорили об том довольно, - сын не заезжая во двор соскочил с коня, ловким узлом набросил поводья на гладкую перекладину ворот.  
Зашли в хату. У печи Евдокия в платке на самые глаза. Молчит, когда мужики гуторят.

- Ну, что ж, на революцию так на революцию. Тута я тебе не товарищ. Поняй…. Но Рыжего я тебе жалею. Конь в хозяйстве нужон. Я его не для революциев ростил - поил. Не ты один в семье. Ещё трое малых окромя тебя. Жениться не хошь по-людски. Удумал в войну играть - твоя воля. Но моего в том одобрения тебе нету. Наше дело детишков на ноги поставить, хлебушек ростить. А делить его - другие завсегда делют. Те, кому охота шибкая…. Так уж в законах у людей повелось. Не нам законов тех устанавливать. Я, могёт быть, и не понимаю чего, но думаю, воевать, оно, брат ты мой, наука не простецкая. А вот ей то я и не учён нисколечко и тебя тому не учил. Вроде ни к чему было…. Чужо делить мне мой тятька строго не велел. Волю ищи, да чужо не замай. А вот вас, верно, не уберегли мы от соблазну энтого. Ну что ж, не наша видать на то воля…. Но коня жаль. Семью с двухлетком оставишь. Худо! Это моё последнее тебе указанье, - Федот рубанул сильною рукой воздух и, не глядя сыну в глаза, опустился тяжело на лавку.  
Евдокия готовила на стол, гремела немудреной крестьянской посудой. Молчала, но в её ладных покатых плечах было столько опаски и настороженности, что, казалось, тронь и заголосит баба на всю округу от страха за сына.

- Не дело говоришь, тятя. Без коня на нынешней войне не шибко повоюешь, сам ведь понимаешь. Не одобряешь революцию, пусть, но мне-то подмогни. Без коня убьют ведь в первую же заваруху. Наука - сам говоришь…  
 Афанасий снял сапоги, босиком прошлёпал к рукомойнику. Пофыркал водою, брызгая вокруг. Евдокия подала полотенце. Сын увёл глаза в сторону от материнского молящего взгляда.

- Образуется, тять, всё. Власть новую укрепим, жить лучше будем. Кому-то ведь нужно браться за новое, ежели старое разладилось, а?…  
- Заладили одно - новое, новое! По мне и старая власть - не дай пропасть. Как будто новая власть за плугом ходить будет? Власти-то любой потеть не сподручно. Она для других надобностей, власть-то. Не наше то дело, сынок. Поумней да похитрей народ на то есть, - Федот, крестясь, взялся за ложку. - Где детвора? Обедать врозь будем аль как?

- Управляйтесь уж вдвоём. Остальных потом покормлю, - Евдокия знала - после обеда Федот добреет и меньше ворчит. Сыну подвинула чашку погуще. Тронула Афанасия, словно невзначай, за рукав. Сын ласково перехватил материнскую руку грубой здоровенной ладонью и тихонько погладил.  
Ели молча. На стене богатство несказанное - часы с рыжими стрелками. От печи ещё несло излишним теплом. В углу шуршал подстилкою рыжебокий телок, привязанный коротко за кованую большущую скобу, торчащую в стене специально для этого. Штукатурка в углу местами выщерблена до чёрных рёбер ивовой дранки. Каждую весну так - пока прохладно телёнка первенца в избе держат, он-то стену и выгрызает. К лету Евдокия замажет щербину новой глиной, замешанной с сечёной соломой, а по весне новый приплод - новая выбоина.

В сенях громыхнуло пустое ведро. Послышалось незлобное чертыханье: «Не было бы пусто, не опрокинулось бы! Всегда так, что пусто - так и к верху дном!». Дверь на входе растворилась шумно, размашисто. Высокий белый Шагей-дед входил, пригибаясь, побаиваясь зашибиться о дверной косяк, пристраивая у порога полотняный куль.

- Приятно столоваться! Всей честной компании поклон и здравие…, - поклонился важно, открыто, придерживая ладонью клокастую бороду.  
- Там я Гнедка у ворот рядом с Рыжим привязал. Свово коня будете ставить и мово пристроите, ежели заночую.

- Здорово, тату. Проходи к столу. Гостем, аль как? - Федот, уступая место за столом, отодвинул свою чашку ближе к Афанасию. Евдокия замельтешила у печи.  
- Щи-то не густы нынче, тятенька. Маслену отмечали немножко, в пост Великий не шибко придерживались. Бычка с осени давно уж подъели. Курчонка вот запустила во щи, да крапивой сдобрила. Только-только макушечки показала с южака по-над оврагом, насбирала с грехом пополам. Мои трескают…. По весне всегда так - животы подтягиваем. Вот картохи свежей дождёмся, тогда и гостей есть чем потчевать.   
- Скучные ныне гости. Каждый об своём думает, а все вместе об том же…. И получается скука горькая. Вот тебе и в гости наши кости. Подавай Евдоша старику на зуб чевой-то, хошь и крапивки. Я стар, да живой ещё. С дороги, как устану, так и съем чего, а ежели бездельничаю, то и так могу тощевать. Эх, крапивушка - буйна силушка!

Глянул на махонький образок в чистом углу, подбросил белую костлявую щепоть ко лбу, по кривой опустил её на стол, взялся за ложку. Хлеб отламывал от куска маленькими дольками, плавно отправлял в малозубый рот. Всякому постороннему глазу было понятно - за столом в гостях отец…. От него несло терпко самосадом, потной лошадью и полынным ветром заречья, откуда трясся старик добрых полдня.  
Еремей был выше Федота, шире в кости, а главное, белая борода явно отличала его от сына. За бороду, за беззубый рот ему за семь десятков даёшь, а глянешь в плечи, в движения, в стать - сносу мужику не будет. Хоть и вышагал за жизнь до края земли, исторопился непоседа. Может потому и сыновей лишь двоих вырастил, да около себя не удерживал. Ксюшу, жену прошлым летом похоронил. Не стара ещё была, да усталая. Не поспевала уж за Шагеем, с весны захворала, слегла. Не сдюжила туманов здешних, сырости, затосковала в последние дни по степным раздольям Донецким, откуда забрал её Ерохин Еремей из худой семьи в аккурат в восьмидесятом году, когда ему самому минуло только двадцать годков. От отца ему достались руки да воля. Ерохины из тех крепостных, что после реформы в одна тысяча восемьсот шестьдесят первом году так и не обрелись землёю. Некоторое время кормились подёнкой на угольных копях. Кто, пристроившись кое-как за верстак, слесарить приловчился, тому и детей научал, а кто подался в Сибирь за землёю. Еремей, женившись на востроглазой Ксении, годов десять всё надеялся окрепнуть на Донце. Двух мальцов погодок с женою растили. За жизнью лучшей тянулись. Да где она у безродного, у бесштанного? За горами - долами, в далёком краю сказочном…. Слухами о довольной жизни подогревались надежды и стремление сорваться с родины. К концу века заговорили о земле, якобы даваемой в единоличье по вольготным сибирским местам. Царь-батюшка якобы со своими министрами обещался. За обещаниями и потянулся народ. Хилого да неимущего люда по Руси-матушке прорва немерянная. Чем и живут-то? Надеждой, грёзами. Авось и на нашей улице праздничек случится…. У Еремея сомнения в «авось» завсегда были, но, как слухи о реформах окрепли, сорвался и он с места донецкого и айда на Восток. Трудно добирались, долго, все сбережения в дороге остались. А сколь здоровья ушло…? Где железной дорогой, что в те годы вели по Сибири, где по Амуру-реке на плотах, а больше пешком. Но не ошибся мужик. Земли хоть и не вволю, а всё ж понадёжней безземелья пустого вышло. За три-четыре года худо-бедно отстроились. Не красны рубленые избы, да всё ж в тепле зимою сырою ветреной. Перво-наперво, года полтора спустя, Еремей жеребчика справил. Всё выложил. Что одолжил, что от живота поприжал, а помощника себе выкормил. Недоедал, недосыпал. Двенадцать лет опосля конь отработал на Еремея. И как работал! От того конька и у Федота потомство, вон Рыжий нынче. Справный жеребчик…

Так вот и укрепились. Недалече городец шахтёрский, привычное дело - уголёк. Картошка родит неплохо, хлеба, правда, неважные, зато гречиха - загляденье. Окрест непривычные кучерявые горы полны зверьём: коза, олень-зюбр, вепрь, птицы много. Кормиться можно. Не ленись, поворачивайся…. Осели пришлые мужики, укрепились. Не обогатели, но и не сгинули вовсе. Деревни зародили поначалу в логах у реки. Да первой же большою водой пужнула река мужиков, норов свой выказала. Деревни к холмам подвинулись, подале от речек на взгорки. Торговлишка кой-какая пошла, с китайской стороны купцы-менялы нахаживают. Следом, правда, хунхуза жди, что купца обирают, а при случае и селянина трясут. Да с хунхузом общим миром справиться можно. Вот с чиновным людом беда, сладу нет. Туда не суйся, там не твоё…. Как говорится, живите, ребята, доколь Москва не проведала. В стойле мужика держат, как и на Руси. Маломальское дело оформить - колени посшибаешь ползаючи. Знай, шапку скидывай под чиновным оком, да по сусекам скреби на мзду. Мужик землицу бы в раз освоил, ежели свободу выбора её дать. Да традиций, говорят, таких не бывало в Рассее. Мужику-то и невдомек, с какого боку к государю подступиться поощренья просить. Земли от Урала до океана Тихого - даль неохватная, тайги-лесу не меряно-нехожено. Испокон веку намётным острожным манером уймищу такую осваивали, в одиночку не селились. И не из-за страху пред местным условием, а по указу, по распоряжению. Кучей управлять, распоряжаться легче - знай, покрикивай. Работать оттого лучше не станут, а подначальное всё одно снесут в казну. Сами абы-как перезимуют и ладно, а казне сколь надо снесут, да ещё и прощеньица для порядка попросят, начальство уважаючи. Подначальный русский мужик. Сам по себе не селится. Не учён тому, не пробовал. Оно и понятно - миром легче, не проще, но привычнее. Хоть и давно замечено, что в таком миру движенья, росту мало, а то и вовсе нету. Когда жизнь впроголодь, а по-другому нельзя, то и думки дальше этого не идут. Абы выжить, а жить… потом. А ежели и про потом сомнения, то и вовсе стоит на месте общество, пропадает. Кажись и умных людей на Руси всегда в достатке, а вот, поди ж ты, движенья мало, росту вверх мало. Всё в ширину Рассея прирастает. Когда уж шибко невмочь, поднимается самая захудалая босота и айда на Сибирь. В атаманах завсегда кто из крепких, смекалистых…. Отведут душу, волюшки отведают, землю откроют, а как осядут, по иному, ежели как под начальником, не могут. Не дано! Говорят, сиё ещё с того повелось, как славяне с руссами-рюриками породнились, на поклон к ним хаживали, над собою начальствовать ставили, потому как сами меж собой начальников не видели. Да ещё от татарина кое-что Русь переняла в своё время. Чтобы выжить, вывернуться из-под многолюдного и дикого соседа, привычки и обычаи его на себя примерила. И выстояла, собой осталась. Мало того, вширь подалась с замашкой татарскою. А в традициях власть ханскую чтит не из уваженья, а из страха. Как же - только под единоначалием и уцелела, другого способа не нашла, потому и верна ему до сих пор. Потому так двулик мужик к начальнику, потому так и законов не чтит. Не его это закон, а из надобности всеобщей принят. Властью зовётся…. Потому и норовит обойти чужой закон, чтобы хоть как-то примириться со своим внутренним естеством, требующим исполнения своих обычаев и традиций, затерявшихся, где-то в потёмках народной памяти. Как татарин силу свою только в орде видел и понимал, поклонялся силе орды, подчинялся воле орды, а душу свою в степи отводил, в одиночестве, в раздольях неоглядных. Так и русич мнёт, гнёт душу свою в необходимости монаршей, в суете столичной, а душу в Сибири отводит, за волею на край земли уходит. Так и тащит два начала в себе. Трудно, отчаянно, безраздельно….  
 Как царя не стало, чиновник поослаб малость. Да порядку взамен совсем не стало. Что ни хам, то и пан. Сладу с местными «царями» нет. У каждого свой закон. У кого кулак, у кого обрез. Работать кому охота? Всяк норовит на дармовщинку хлеб кушать. Свобода, говорят…. А ведь мужику порядок поважнее свободы. При порядке мужик знает уж, кто и как с него шкуру дерёт и с какого боку оставит малость. К той малости и приноравливается. Перебивается, а всё ж выживает. А свобода что? Звон пустой…. Её сегодня вона сколь много - охапкой не огребёшь, а завтра придёт какой-нибудь новоявленный «освободитель» и подчистит амбар за шиш под нос. Ложись да помирай опосля такой свободы. Непорядок! Комитеты, советы, заседатели, председатели, а порядку нет. Иностранец поглядывает на такое дело да свой порядок предложит. Не удержит Россия-матушка землю у океана, ежели порядок не наведёт с властью. Как не достойно жить давно уже никто не знает, вот и бьются всем гужом-скопом над тем, как нужно жить…. А ведь сие есть промысел Божий, не людской. Запутался мужик. Не своим делом занят. Плохо!… Теперича вот в океан упёрся народ. Дале вширь некуда подаваться, дурь свою выпрастывать. Потому драку великую опять же начал…. Друг с дружкой. Новую жизнь надумали мужики. И опять сообща, миром всем…. Чего же нового-то? Для такого нового ширину опять подавай, а она-то в аккурат здесь у океана-батюшки и окончилася….

 Эту истину Еремей чутьём понял ещё, как увидел с одной из здешних вершин бескрайнюю, упирающуюся в далёкий горизонт, равнину моря. Здесь у самых скал, почти над водой, лес обрывался, словно вдруг остановленный шипящим рокотом наката, и застывал, поражённый нескончаемой далью воды и беспрестанностью ветра. Только в глубоких рваных расщелинах, похожих на раны, за горстки земли, нанесённой сюда ветрами, нелепо цепляется невзрачный корявый кустарник да пряная, со ржавыми макушками, полынь. Сотни и сотни лет у подножия скал лежит огромное, похожее на капризное существо море. Мягкое и ласковое в душные дни июля, мрачное и свирепое с началом осенних штормов. «Вот она, окраина Рассеи! Далеко, а всё ж имеется…». Эта мысль, словно здешняя земля у бескрайней воды, обрывалась без продолжения и существовала в мозгу просто, как неотвратимый и неоспоримый факт….

Сыновья Еремея мало помалу отошли от него. Федот женился, своим углом около справных родственников Евдокии прижился. Четверых ребят опосля себя уж оставляют: два хлопчика, да две девицы. Избу, вот, всем родством справил. А младший, погодок Ваня, как окреп, подался на шахты. Жалел Шагей о том, что сын бросает гнездо отеческое, да смирился погодя. У сынов свой путь, свой ухват. Как и должно быть. Да и недалече разбежались…. К Федоту часа четыре конного ходу, а к Ивану и того меньше: через гору перевалил напрямки - тут тебе и шахты. Оженился в своё время и Ванька. С десятого года и у него сынок подрастает. Ванечкой тоже кличут. Но один. Потому может и один, что по отцу имя. А может от того, что жёнка Ивана с мальства, как мужик в копи угольной робит. Туго живёт народ шахтёрский, а всё ж при деле, не пропадает вовсе, канителится по своему…. И то, слава Богу….

Во дворе зазвенел ребячий говор.

- Младшие объявились, Варька с Тимошкой, - отодвигая чашку, Федот, напустив строгости на лицо, обернулся к порогу. - Где леший носит? Мать к столу не дозовётся никак. Геть, скоро носы утирать!

Беленькая ясноглазая Варька в переделанном материнском сарафане, поджимая губы, засмущалась старших, прижалась к матери. Шестилетний Тимофей кинулся к деду:

- Дедуня! Коня твово увидал, сразу угадал, что ты прикатил, - говорит чисто без шепелявости, по взрослому подавая старику чумазую ладошку. Шагей важно отёр усы, ухватил внука в объятия, затискал в костлявых ручищах. На глазах влага застит свет….

- Прикатил, внучек, прикатил вот на твою белобрысую маковку поглядеть. Вот и Афоню заодно в путь-дорожку провожу, да на вас погляжу. А чевой-то я тебе, милок, привёз, - старик, словно невзначай вспомнил: - Тащи-ка сидор, что у порога, выкладай подарки.

Еремей склонился к мешку. Тимка в ожидании замер у отцовских колен. Федот, чуть смущаясь, улыбался, в глазах доброта и лукавство. Афанасий подался через стол, ожидая, тоже замер. Евдокия устало сложила в подол руки, присела тихо в стороне. Варька уткнулась в материнское плечо, искоса наблюдая за дедом.

- По январским снежкам на Сучан-город прокатился с соседом. Ивана проведал. Привет вам всем от брата и дядьки вашего. Жив, здоров. Семейство тож ничего, здорово. На шахтах робят. Революцию, вот вишь, тоже делают…. Ну, да потом уж про дела. Начну со старших. Вот Евдокии да старшей внучке по платочку. Не обессудьте, девоньки, за фасон. Но от души выбирал, как на взгляд бросалось, так и брал.

Еремей аккуратно вытащил платки из мешка, протянул невестке:  
- Примерь, дочка! А, Лизавете подарочек вручим, как домой заявится. Пускай себе невестится….

Евдокия приняла платки, распустила один за концы. Лёгкая цветастая ткань словно выскользнула из рук грудою самоцветов и заиграла красками.  
- Спасибо, тятя, - только и сказала, а голос выдал: рада невестка подарочку. Набросила платок на плечи и, словно на десяток лет веку бабьего поубавилось. И не сорок лет Евдохе вовсе….

- Тебе, Федотка, вот кой-какой инструмент к пчельному твоему занятию. Глянь-ка, угадал?

Из мешка на пол перекочевал небольшой узел. Старик развязал бечёвку, развернул аккуратно подарок.

- Тут тебе халат важнецкий пасечный, в ём только на сходку ходить. Сетка на голову, чтоб ухи целы были. Да стамесочка, да нож, да ещё железки-пилочки, мне незнакомые. Ты уж мастерски-то разберёшься. Набором всё хозяйство сие продавалось, я уж набором и взял.

Федот по-мальчишески склонился к подарку, Тимошка наперёд под руками, шельмец, мешается.

- Вот угодил, тятя! Фабрично всё! С иголочки! У меня пасека без малу годов пятнадцать, а такого инвентаря и не видал никогда. Спасибо, тату.  
Старший Ерохин сиял: угодил сыну.

- А теперь о тебе речь, внук, - он повернулся к Афанасию, - Тебе, Афоня, в путь ноне. Знаю уж. Сорока об том в Мельниковку депешу приносила. Потому и спешил сегодня поспеть на проводы. Трудную дорогу себе, внук, выбираешь. Дело незнакомое, неведомое крестьянину - воевать по своей воле. Наше дело - земля, хлеб. Воевать, как и бунтовать, крестьянину несподручно. Некогда. Не его это дело. Но коль время нынче такое неспокойное, непонятное, может оно и верное решение - революция. Вы молодые, вам и разбираться во времени. Мы своё времечко проживали, никому не передоверяя его, вот и вам свою судьбу самим проживать. Тут вот тебе от меня уздечка. По зиме от скуки оснастил упряжь. Владей! Отдавай, Федот, Афанасию своего Рыжего. Не жалей. Надо, значит надо. Чего уж жалеть…. Я-то знаю, ругаешь сына за коня. А что поделаешь? Мир - он не только для нас, он в первую руку - для молодых. Они дале нас будут, лучше нас…. Нуздай, Афоня, судьбу, как коня, чтоб ты её, а не она тебя. Может быть и одолеешь. Как знать? Но не забывай, твоё начало крестьянское, верное. Возвернись к нему в любой момент и оно не изменит тебе, укрепит, пропасть не даст. Поняй, внук! Верши дело своё. Тако тебе моё стариковское слово…  
 Еремей и Афанасий обнялись крепко, по-родственному. Мужики! Дед и внук. Один корень. Евдокия не скрывала слезу, поднося концы нового платка к глазам. Федот помрачнел и молчал.

- Деда, а мне чо? Небось, для меня ничего в городе не купил? - Тимка смешно насупливал свои белёсые брови.

- Погодь, внучек. Твоё дело самое наиважное, потому и берегу напослед. Вот Вареньке платочек маленький, сарафан для лета, да в косы лента. Ну-ка, целуй деда, Варюша, тебе гостинчик, а мне вниманьице…  
Еремей подставил заросшую щёку внучке. Та, стесняясь, чмокнула старика под глаз, взяла свёрток и повернулась к матери, вопрошая взглядом - «Можно, ма?».

- Чего уж там. Примеряй обновы. Поглядим на невесту. Только нос водицей ополосни, больно уж он у тебя неподходящ для сарафана.   
Варя кинулась к рукомойнику. Все улыбались.

- Ну, вот и главная покупка, - Еремей осторожно вытаскивал шуршащий бумагою плоский пакет. Развернул. В его грубых руках была книжка.  
- Тебе, внучек, ещё силушку копить да копить. А какая сила без головы? А с умом, брат ты мой, вся сила твоя. Вот для того тебе букварь! Книга важнецкая, первейшая во всём книга. Пускай мы уж грамотеи доморощенные, по складам псалтырь мучаем, зато ваше дело друго должно быть. Получай ценность, Тимоша!

У мальчишки в глазах удивилинки и восторг. Кинулся листать книжку.  
- С картинками! Я знаю - вот эта буква аз называется, а эта - щипцы.   
- Давай, давай вникай в науку малец. Вот для полного удовольствия к тому тебе тетрадочка и карандашик. Почём зря не марай, побереги.  
- Вот спасибочки, дедуля! А я уж подумал, что про карандаш ты совсем позабыл…   
Тимошка сиял. И все смеялись, любуясь подарками и благодаря деда Еремея.  
Потом как-то все разом затихли, подвинулись к столу. Хлебали тёмные крапивные щи с блёстками постного масла, не шибко густые, но с картохою, приправленные крепко луком, сухой зеленью, с пенкою взбитого куриного яйца. На второе Евдокия подала прямо из печи ухватом чугунок духовитой гречневой каши. Густой парок пыхнул из-под крышки. Застучали очередью деревянные ложки о гулкие бока чугунной посуды. Кашу прихлёбывали тёплым молоком. Ещё на столе красовалась широкая глиняная миска с мёдом. Управившись с кашей, молоко допивали кто так, а кто, прикусывая серым куском хлеба с густой, снежно искрящейся сластью.

…К Ерохинскому двору собралась крестьянская ватага соседей. Трое в сёдлах. Тихий гомон. Лошади позвякивают удилами, тыкаясь мордами в жердяные ворота. Мужики курят, распространяя окрест сладкую ядрёную горечь самосада. Егор Тихой ворчит в бороду:

- Не одобряю я, как и Федот, революциев этих. Смута - одним словом. И вся тут тебе свистопляска…. Уж какой годок шумим, шумим, да не варим ничего толкового. Вот теперича ещё поход удумали. С какой-то там белой гвардией тяжба. Да эта самая гвардия из тех же мужиков сибирских да казаков реестровых. У Евдохи, вон, вся уссурийска родня казаки. Что жа им война в радость? А, тота! Пужни нашего брата чуток - на любу войну пойдёшь. За любу идею….

- Неправда твоя, Егорий…

За ворота на улицу выходили Ерохины. Первым Еремей, следом Федотово семейство. Во главе Афоня, последним сам Федот.

- Не за всякую идею мужика на испуг возьмёшь, - Еремей пыхнул дымом, прикуривая от уважительно предложенного окурка, - Конечно, ежели шибко уж напугать мужика, оно может быть и так, а вообще - почему и не постоять за какую идею, ежели от неё и мужику интерес. За интересом мужик пойдёт, это верно.

- Какой уж ноне интерес? Друг дружку мордуют. За интерес?  
- А вот какой, я так полагаю…. Это ты про смуту верно говоришь. Завернулось опосля четырнадцатого году - не остановишь. Плохо. Война! Мужику любой худой мир всё ж сподручнее хорошей войны, поскольку ружьё на пашне - забота лишняя. Царска власть не удержалась - Бог с ней. Того тёмным умом не одолеешь почему да как. Белая власть - уж больно много туману в ей. Свобода всем, кто сколь возьмёт! К тому же иностранец около этой же свободы отирается. А у того на уме Бог весть какой план. Японец, вона, винтовочкой громыхает. На Ольге, поговаривают, ктой-то из наших местных их солдатика толи ошибочно, толи намеренно удавил. Японец взлютовал в ответ, деревню спалил. Свобода!…. Сумнительная власть. У иного вон какие загребалы - такой кус себе отхватит…. Не по-мирски, не по-нашему. А большаки проще мужика гладют: свобода тому, кто робит. Интерес…? Правда!? Вот! Да и правота у нас исстари за победителем. Кто осилил, того и правда. У нас поодиночке силы - пшик. Бодливой корове Бог рог не дал, а вот миром – силушка…. А потому и правда за миром. Некрасивая и жестокая…. И кровушки за такой правдою - морюшко, да куды уж денешься ежели миру тако надо. Интерес в той правде у всякого свой, но интерес. И ещё, Русь за Москвой пойдёт. Новая власть не зазря в Москву перебралась. Окрепнут на Москве большаки, значит и Россия к ним склонится. Завсегда так было. А мы хоть и далече оторвались, да всё ж её соком кормлены, её духом живы. Никуды без неё, как дети малые. Оторвёмся - осиротеем. Даст Бог, окрепнем, омужаем, тогда при случае и разговор об отходе от Москвы пойдёт. А пока, одна дорога с матушкой у нас. Ей новая власть спонадобилась, значит и у нас ни сегодня-завтра её поддерживать будем. Попомните моё слово, мужики. Теперича за красными мир пошёл. Я и говорю, за этим интересом уходят и наши ребята. За судьбой идут, как мы в свои лета хаживали.

- Давай, давай…. Молодых сведём на бойню, кто малых кормить станет? Тебе, Ярёма, прям в лёт улететь хочется, словно для тебя там власть приготовили. У тебя вечная дорога на уме. Вперёд, да вперёд. Пришли уж…! Дальше некуды. Пожить бы чуток людям. Детей приплодить. Окрепнуть. Переколотимся ведь…. Афоня, вон, Рыжего уведёт со двора, а мой, обормот, Чалую подстегнул. Чем робить будем? Эх, времечко! - крестьянин вгорячах сплюнул под ноги, бросил и притоптал окурок.

- Да, ужо…, - вздох прошёл над головами.

- Ладно, отцы. Обговорено уж всё…. Что по-пустому слово толочь. Пошли, ребя! - Афанасий устраивался в седло. Как старший из четверых отъезжающих брал команду на себя.

Прощались скупо. Женщины молчали. За последние два года такие уходы молодых стали обычными. Уходили, возвращались. Кто больше не отваживался отрываться от дома, а кто, наоборот, уводил за собою двух-трёх хлопцев. Вот Костя Тихой, задаром, что соплив ещё, а уж какой раз сманивает ребят в ватагу, что стоит с прошлого году лагерем в пади Ястребиной. Поговаривают, сорвётся нынче летом отряд через перевал на Владивосток Красной Армии на подмогу. Бродит народ, как тесто дрожжевое. Вот-вот через край загуляет…. «Охо-хо, времечко!»  
- Ну, дай Бог удачи, сынки! Возвертайтесь с миром до дому. Ждут вас матки…. Да и мы, горемычные, без молодых чего стоим?  
Всадники тихо оторвались от провожавшей толпы. Шагом прошли по улице, дворов через десяток свернули в проулок и на некоторое время исчезли из вида. Но через две-три минуты возникли вновь за полосою нижних, ещё по-весеннему пустых, огородов. Дорога уводила их на серый луг, чуть тронутый изумрудинкой первой зелени. Потом упиралась по отлогому спуску в скорую рыжую воду реки, шумящую среди красных зарослей чозении. Вот маленький отряд вздрогнул враз, сменив шаг на рысь, и заклубилась лёгкая пыль вслед, как туманец по утру из оврагов.

- Сейчас в тальниках скроются. Верхним бродом, должно, пойдут. Храни, Господь! - Еремей крестит вслед исчезающих в приречных зарослях всадников…  
  
 \*\*\*  
  
 …Я смотрю на старую, пожелтевшую за восемьдесят лет, фотографию революционной поры в Приморье. Чистое тихое междуречье с темнеющим вдали на склонах лесом. Перед объективом большая ватага (иначе и не скажешь…) людей. Плохо одетых, ещё хуже обутых. Молодые, ещё мальчишки, только нет-нет виднеются лица старших. У переднего мосластого нескладного переростка напрочь изорваны штаны на коленках. И босой совершенно…. Рядом, наверно, командир, потому как при шашке и в сером не по росту мундире. Ремешок, похожий на черессидельник, впился на пустом животе в этот самый мундир без пуговиц. Ветхие сапоги. Из всех чуть-чуть отличается. Как есть командир! Или это мой циничный рассудок из сегодняшней сытости так ухватывает время на фотографии? Вглядываюсь в лица простые и незнакомые. Видятся с горем пополам только передние, остальные выглядят массой, смешением овалов лиц, впадин глаз, как точки, чёрточки, как серое, устремлённое в объектив месиво. Не бесстрастное, не инертное, а именно устремлённое. У передних тихие серьёзные лица. Плохое вооружение, но крепкие крестьянские кулаки. Серая масса, неодолимая, грозная. Всегда в порыве к неопределённости, к великому всепоглощающему желанию неведомого, нового, незнакомого. Ещё минуту назад необузданная галдящая толпа небритых, неграмотных мужиков, оставивших семьи, сёла, вооружившихся чем попало, безусых оборванцев, невесть зачем оторвавшихся от родного крова, вот сейчас перед объективом неизвестного фотографа, заброшенного в глушь ветром гражданской резни, вдруг в едином желании осознают свою стихийную суть и застынут запечатлённые теперь для потомков, устремлённые и организованные важностью момента. Так в хаосе социальной драки их сплотило и организовало величие желанного и чистого будущего. Ради него они так устремлены в объектив, ради него они все вместе влачат походную партизанскую полуголодную жизнь. Не каждый в отдельности, а именно все вместе. В отдельности это одичавшие, часто не сознающие себя, хулиганы, преступники, изменившие укладу жизни своих предков, отрёкшиеся от отцов и матерей, непонимающие жизнь, как впрочем, и смерть, незнающие просто о настоящей жизни ничего кроме пустых и общих понятий, навязанных им их крикливыми вождями…. На фотографии ребятня, а глядишь и мужиков видишь. Глаза взрослые, без озорства. По сегодняшним временам так перед объективом не стоят. И лица сегодня совсем другие.

Такие же глаза на всех фотографиях другого грозного времени у отца, у его товарищей. Глядят на меня мальчики из далёкого тридцать девятого, а я вижу взрослых мужиков в грубой военной форме, строгих и неприступных. Одним словом - война не за горами…. Совсем другие глаза у отца в сорок пятом. Здесь ему уже двадцать восемь, тоже в военной форме, а по глазам - мальчишка. Смешинки в уголках пляшут. Война кончилась…

\*\*\*

Часть 2 . Рыжий

Н. Михалкову  
с признательностью от сердца…  
  
«…и сидящему на нём дано  
 взять мир с земли…»  
 (Откровение Иоанна, 6:4)

- …Ну, слава Богу, добрались. Тут тебе и приятное свиданьице с Рыжим. Побеседуйте уж, пожуйте вместе, пофыркайте, - так приговаривал Еремей, привязывая своего Гнедого у Федотовых ворот рядом с ладным огненным жеребчиком, как видно ненадолго оставленным под седлом. Старик бросил лошадям с воза охапку сена, подхватил подмышку холщовый мешок и ушёл в избу.

- «Тоже, нашёл приятность торчать у ворот после дороги».  
Рыжий словно говорит за Гнедого в спину Еремею. Потом фыркает и беспокойно перебирает ногами.

- «Ладно, уж. Мне привычно. Вот отдышусь чуток, а к вечеру, надо полагать, и распрягут, и в тепло поставят. Я помню, у вас тёплый закут для лошади».  
Гнедой старше Рыжего и степеннее, а потому вполне мог запросто так по-приятельски сказать. Но лошади не говорят. И плохо, что не говорят. Рыжему многое бы сказать хотелось нынче Гнедому.

- «О тёплом закуте думаешь. Хорошо. А тут вот, не знаешь где к ночи будешь. Афонька на войну собрался. Ну и шёл бы пеший. Нет же, оседлал вот…. Ишь как подпругу втянул. Отпустил бы чуть. Забыл. Вот, Федот никогда не забывает. Всегда ослабит, как стою где. Твой старик вон не забыл тоже. А молодой мой… ездок не жалостлив. Что ему бока жеребячьи? Знай пятками колотит, когда в седле. Это хорошо, что лошади говорить не умеют…. Или не хотят? Наверно, не хотят. Ведь иной раз так сказанул бы! Думать, вот лошади умеют…».

Рыжий нюхает сено и словно говорит:

- «Хорошая у вас трава за озёрами. С черёмуховым духом. Должно быть от черёмух, что по весне белой пеною острова укрывают. Из детства помню. Это хорошо, что лошади умеют помнить. Ты умеешь помнить?»   
Рыжий, похрапывая, касается губами уха Гнедого, словно говорит что. А тот хрустит сеном, трясёт гривою и косит влажным глазом на Рыжего.  
- «Вот невидаль, помнить. Я вот думаю…, нет, знаю, что к осени Еремей меня на ваш двор отдаст. Он ещё только подумывает о том, а я знаю верно. Не осилить ему нынче сенокоса. Прошлым летом уж еле-еле насшибал стожок. А нынче не осилит. Ты вот с Афанасием подашься в поход, старик и примет решение меня сыну отдать. Попомни мои мысли…», - бренчит удилами Гнедок, а мнится, будто действительно говорит что.  
К лошадям подходят дети. Мальчишка лет шести и девчонка года на два постарше. Обои русы, белолицы, в скудной одёжке. На мальце большущие рваные сапоги да тощий зипун, никак с отцовского плеча. Девчонка в материнской поддёвке, на поясе подхваченной бечёвкой. На босу ногу ботинки, от которых одно название….

- «Вишь, младшие наши прогуливаются. Сейчас мальчишка грязной ладошкой ко мне полезет. Я бы его пугнул чуток, да мал ещё. Пускай себе гладит. И мне удовольствие. Ладошка мяконькая, тёплая. В длинном рукаве должно согрел. К тебе, Гнедой, побоится подойти…».

- «Да я же не кусаюсь. И детей тоже люблю….»

- «Ты чужой. Боязно к чужому коню соваться».

Словно переговариваются кони, поглядывая на детей.   
- Смотри, Варька, дед Ярёма прикатил. Его лошадка. Потрогай его под глазом.  
- Ага, сам трогай, я боюсь.

- А я Рыжего не боюсь. Вот смотри, - гладит жеребца. - Иди потрогай. Только сзади не подходи. Лошади лягаются….

- « Надо же, сопляк, чего придумал. Кого это я хоть раз лягнул? А ты, Гнедой, лягаешься?»

- «Мне телега мешает, вообще-то. Но, думаю, лягать детей не стоит. Это плохо, должно быть, ударить малого? Я никогда не делал этого».  
- «Он думает…. Надо же, он так думает. Это знать надо, а не думать. Дети все-таки. Вот пошли в избу. Сейчас твоего старика обрадуют. А наш ругать их станет, для порядку. А Евдокия на стол соберёт. Хлебушка поставит. Ты любишь хлеб-то?»

- «Корочку, да ещё чуть подсоленную, уважаю….»

Оба фыркают и лениво жуют.

Ко двору собираются мужики. Хлопцы помладше уселись в телегу, болтают ногами, по-пустому хохочут. В стороне бабы.

- У Шагея гнедой ещё поработает. Ничего конёк, справный.- А чо ему? Сам на сам робит. Сыны своим живут. Старуху сховал…. А одному много ль надо? Вольный казак….

- Да не скажи. А годы?

- Какие там ему годы? На десять годов от меня-то и старее. А я что, старик?  
- А это мы щас у твоей снохи спросим. Эгей, бабоньки!…

- Ладно тебе! Одне бабы в голове-то….

- А чево ещё-то в ей носить? При бабьей заднице и думка слаще.

Гогочут дружно. Закуривают.

- «Ну, разведут сейчас дымищу. Хотя бы в морду-то не пыхали махрой», - Рыжий трясёт возбуждённо головой и фыркает.

- «И я не люблю. Да что возьмёшь с мужика. Коль приловчился курить табак, то и дымит до смерти. Я привыкший, - Гнедой тянется носом к ближайшему мужику. - «Самосад курят. Купленный табак тоньше пахнет».

- «А мои мужики не курят. Старший может и баловался когда, не знаю. Но ныне не курит. Говорит, пчёлы не любят. И то правда, чего любить-то? А младший не курит, потому как табаку нет. А так, замечаю, балуется иногда чужим табаком на вечёрках. Как покурит, так утром от него табачищем несёт. Я чую. Лучше бы кого из девок приметил…. Но нет. В пустую бегает. Если бы чего, я бы сразу учуял».

- «Ты, Рыжий, точно собака какая, всё на нюх берёшь. Далась тебе эта забота…. По мне, это хозяйское дело. Наше - знай, работай, не ленись».  
- «Если бы работа, а то вот нынче дорога впереди…. А куда?»  
- «Не закудыкивай наперёд-то».

- «Тебе хорошо, жуй себе и горя нет. А мне в путь…. Вон, уж выходят. Обговорили уж всё. Провожают. Вишь и про меня сосед горюет…».  
- «Видать доля у тебя такая. Глядишь, сладится всё впереди. А там и домой воротишься…. Прощевай пока, рыжебокий!»

- «Эх, кабы так! Да чую нутром, долга дороженька будет. И для меня, и для вояки моего. Будь здоров, Гнедой. Прощай, приятель…».

Рыжий, обеспокоено поводя глазом, нетерпеливо перебирает ногами, фыркает и словно невзначай трётся на развороте головой о крепкую шею Гнедого.  
- «Прощай…»

Ёкнуло в рыжем боку большое сильное сердце, защемило на миг досадно грустно, но через десяток шагов забилось упруго и размеренно, толкая в жилах горячую кровь. Бок в бок рядом шла Чалая. Проулком выскочили на луг, а там уж замелькали стороной тальники вдоль холодных ещё полей, полетели навстречу вверху белые облака, увлекая вперёд и вперёд….   
 До темна в аккурат были под Ястребовкой. По дороге нагнали подводу. Невзрачный мерин, грохочущая телега. В ней четверо патлатых мужиков, один с обрезом.

- В отряд?

- Туды!

- Ну что ж, гуртом оно веселей.

У самой деревни дозор.

- Стой! Чьи будете?

- Мы несвоевские, а хлопцы вон из-за перевалу…, - охотно отозвался сиплый мужик с подводы.

- Поглядеть вот надумали кака жисть у вас партизанска.  
- Ну, гляди, гляди деревня. Как бы гляделки не попортились.  
Длиннющий хлопец из дозорных, в стёганке на голых плечах, с лохматой ржаной головою, неприветлив и, кажется, задирается.  
- А чо так?

- Ну, вот и зачокал! Чо по-китайски то, что у тебя в портках сзади. Понял, деревня? Может быть, зазря женину задницу-то дома оставил? Лежал бы себе рядом, покуривал…

- Ладно, трепаться-то. Нам бы кого из старших? - в разговор вступил Афоня.  
- Ах, ах! Их «благородию» нужон непременно старшой. Тебе, небось, генерала подавай? Так у нас ноне генералов того, под корень…  
- Ладно, ты, Черешня. Пропускай мужиков к начальству. Коли прибыли, значит, дело есть, - второй из дозорных мужик серьёзный, поопрятней, старше и с ружьём.

- Давай ребя вон на ту хату правь. Там у нас и власть и командиры….  
Уже в темноте размещались подле небольшого костра, где ватага молодёжи дымила табаком, поплёвывая в огонь. Лошадей привязали вкруг подводы. Спать надумали тут же, а пока ушли к костру.

- «Вот тебе и партизаны-атаманы. Ни кола, ни двора. Ежели так пойдёт, то денька через три мы без кормёжки и копыта не потянем».

Рыжий не устал, но он привык получать к вечеру свою охапку сенца и нет-нет когда от Федотовых щедрот пару половников овса.

- «Да, натощак ночевать невесело», - словно поддерживал его несвоевский меринок, подбирая губами с телеги завалявшуюся соломину.  
- «Назавтра обещались определить к месту», - звенит удилами Чалая.  
- «Значит, будем терпеть до утра»…

Чуть в стороне темнеет круглый куст бузины. Первое тепло днём уже тронуло его рябую кору и сейчас от куста чуть веет дурманом. Далее в небо упёрлись горбато вершины, обступивших долину, сопок. Окрест темно и неприветливо. Свет костра не уходит далеко и только высвечивает, словно вылизывает, небольшой круг вокруг себя, помечая дальше лишь контуры лошадей, подвод и окрестных деревьев.

Раздаётся лёгкий шорох. Тихо подходят те двое, что из дозора.  
- Красного конька видал, паря? - говорит долговязый.

- Приметный больно…

- А нам на нём не красоваться. Сдадим китайцу, а там его забота.  
- Всё равно приметный. И чуткий жеребчик. Осмотреться бы надо…  
- Чего смотреть. Темно ведь всё одно… Пока деревня чокать будет, мы конька-то и спроворим. Мужики справные, ещё наживут. С таким добром дома сидят, а они в свару лезут. Чудно!

Рыжий слышит, как бьётся сердце у мужика и как скрипят коленки у длинного.  
- «Воровать меня удумали что ли? Дела-а! Не успели ещё и повоевать, а уж уводят….»  
- «Балуют мужики», - чмокает тупо и спокойно мерин. - «Шалят».  
- «Тёмные мужики-то. Что у них на уме? Остеречься бы надо», - нервно и настороженно дышит Чалая.

Долговязый осторожно из-под телеги пытается отвязать Рыжего. Тот натягивает поводья, бьёт в землю копытом и хрипит. Потом кусает конокрада за руку. Тот вскрикивает и отбегает от лошадей. Рыжий злобно ржёт, трясёт головой и звенит отчаянно удилами.

От костра подходит Афоня. Успокаивает жеребца и, заметив дозорных, спрашивает:  
- Плутаете, мужики или плутуете?

- Да вот, своих ищем, - бурчит длинный.

- Тогда айда к огню. Там виднее искать-то….

Уходят.  
- «Да-а.… Одно слово - партизаны…», - успокаивается Рыжий.

…Так начиналась для рыжебокого Ерохинского жеребчика время службы рабоче-крестьянскому правому делу. Афоню, как взрослого и серьёзного, но безоружного конника определили вестовым, и теперь Рыжему приходилось частенько отмахивать за день вёрст по десять в два конца к шахтёрам, с комитетом которых отряд держал постоянную связь. Основной костяк верховодивших в отряде мужиков был из рабочих шахтёрского городка. Сельских было, может быть и больше, но это была вечно изменчивая, колеблющаяся масса. Уходили, приходили: кто не задерживался, кто-то возвращался…. Большой дисциплины не знали, но и беспорядку большого тоже не случалось. Каких-либо основательных действий отряд не предпринимал. По всей вероятности он и сложился почти стихийно в ответ на формирование в районе Владимировки бело-казачьего соединения, которое намеревалось при поддержке с моря удержаться здесь основательно. Где-то в рабоче-крестьянских комитетах, организованных

большевиками, созрело решение создать противодействующий казакам отряд партизан. Одним словом это была не вольница, но и что-либо серьёзное отряд вряд ли из себя представлял. Но, несомненно, пугал своей массой и способностью привлекать в свои ряды окрестное население. Связь в отряде была поставлена отнюдь неплохо. Была хорошая разведка. Но вооружены были отвратительно, как попало и чем попало, а поступление какого-либо вооружения в обозримом будущем не предполагалось….  
- …Глянь, кажись, Афоня Ерохин логом подвигается?

- Его конёк-огонёк. Депешу везёт. Может быть из харчей чего в городце спроворил? У его там дядька родный. Иван Ероха. Да знаешь ты его…. Крепкий такой. У Чугуя в бригаде робит.

- Это, который особняком за нахаловкой домишко сварганил? Баба у ево ещё такая… востроглазая?

- Востроглазый по всему, видать, ты, ежели мужика по евонной бабе примечаешь. Но Ероха тот точно. У его за перевалом отец ещо, в селянах числица. Брательник, старше чуток, тож деревеньский. А Иван вот у шахтёров прижилси. Афоня племяш ему родный. Точно знаю….  
Рассуждают двое мужиков, что караулят в дозоре на подступах к деревеньке, где квартирует партизанский штаб. Неприметное место на макушке видной сопки. Вырыт и серьёзно обжит небольшой окопчик. Из жердей сделан шалашом навес, наверху ветки, солома. В непогоду укрыться можно. Но сейчас тепло и солнечно. Верно, часа два пополудни. Долина внизу, как на ладони. Зелено кругом до ряби в глазах. Версты две вперёд речка, по берегам лозняк густой, непролазный, вдоль стариц камыш выше головы. За речкой далеко дымы: городок дымит. Ещё далее только горы: вершины в каменных плешинах. И лес, лес…. Весёлый, кучерявый. А по долине тени от облаков. Красотища…! Вдоль реки дорога. То покажется, то скроется в камышах всадник. Не спешит. Дело, видать, неспешное. Да и коня бережёт.  
- Кажись, вдвоём коня оседлали…?

- Как есть, двое, гля…!

- Биноклю бы щас, враз бы разглядел кто.

- Твоему вострому глазу и биноклю не надо….

- Да я и без того знаю, что за дурёха у Афоньки в седле.  
- Ну…?

- Вот тебе и гну…. Гни, не гни, а уж ежели молодое дело встало, лоб расшиби, не согнёшь. Ха-ха! Так и пойдёт….

- Ловко у тебя всё на одно выходит…. Так чья деваха-то?  
- Та, Чипайла середняя дочка.

- Это какого Чипайлы? С рудника?

- Та не! На рудне Апанас, а то Семён. Пять дворов за перекатом в Несвоевке, знаешь? Тамошний то Чипайло. Три дочки, да баба у него такая… гладкая.  
- Ну, ты, берендя, даёшь! О чём ни речь, всё на бабу выходит.  
- А о чём ещо-то на пустое брюхо? Гы-гы….

- Гля, гля, назад повернул!

- А чо, ему? Молодой да вольный…

Отсюда сверху видно, как всадник развернулся обратно и, ускоряя ход, вскоре пропал из виду.

- Щас девку отвезёт до околицы и воротится.

- Катаются лешаки, а тут… торчишь.

…Ещё затемно Афанасий ускакал из отряда. К полудню, управившись с поручением, возвращался.

- Завернём-ка, дружок, в заветный двор, - Афоня тянет повод вправо и чуть толкает Рыжего в бок ногою.

- «Мог бы и не пинать…», - Жеребец покосился на своего седока недовольным взглядом. - «Так бы и говорил, что женихаться заедем. А то тычет в бока…. Не деревянные, чай….».

Похрапывая, Рыжий ловко сворачивает в проулок. На южаке вдоль сопки ютится с пяток небольших хаток, мазанных жёлтой глиною. Рядом в ивняке за огородами журчит речушка. В палисадниках грудами изумруда жмётся к дощатым заборам малина. Поодаль под самым склоном небольшая пасека. В углу за последним ульем сонная тропинка к воде, окаймлённая большущими листьями подорожника. Там же видится маленький телёнок на привязи под подрастающим деревцем боярышника. Спрятался в маленькую, на миг застывшую, тень и всматривается влажным ласковым глазом в простирающееся далеко-далеко марево полынной речной долины.  
- «Безбедно хохлы живут. Потому в партизаны их и ковригою не заманишь. Своим умом живут. Девки, вон, во дворах - женись, не хочу. Да и то…. Афоньке бы давно пора. По всему, пора. Заканителился хлопец в партизанах. Да супротив природы не пойдёшь…. Не пройдёшь мимо красы девичьей, все равно, хоть краешком глаза, да глянешь. А природе и того достаточно…. Не утерпел и Афонька! Пригожую девку заприметил в городце у хохлов на окраине. Теперь-то ему моих копыт не жаль…. Теперь ему самая короткая дорога кругом в четыре версты, где и одной обернуться по делу можно. Зато, мимо заветной хатки. Ишь, соловьём засвистал…», - Рыжий,

останавливается, уткнувшись мордой в перекладину нехитрых ворот.  
- О, якый гость до нашого базу! Стрибай, Фэдотовыч, з коня, ходь до хаты, - во двор вышел хозяин: рыжеусый, лет сорока мужик, с хитрющими карими глазами.   
- «Ишь как женишка привечает. Нет, чтобы о коне в первую очередь говорить. Так нет же…. Обо мне и не вспомнит, хохол. Не оглоблю же воротную мне грызть…? - Рыжий скалит с фырканьем зубы и действительно принимается скрежетать ими о перекладину.

- У тэбэ жэрэбчик чи голодував нэдиллю, чи взаправди сухэ дрэво вважае? - смеётся на Рыжего хозяин.

- «А у «тэбэ», что же другого привета для «жэрэбчика» не найдётся?» - продолжал грызть, словно ехидничал, Рыжий.

- Геть, вин у шляха трава зэлэна, - хохол махнул рукой на лужайку против двора.  
- «И на том спасибо!» - Рыжий потянулся губами к руке Афанасия.   
Тот щёлкнул кольцом, освобождая рот жеребца от железа, легко завязал поводья за седельную луку, и отпустил его.

- Да, нет, спасибо, дядя Семён. Я в отряд, мимоходом заглянул к вам. Мне бы Галинку позвать…

- Вон, як…. Мымо значыть ходышь? Галю! Чуешь чи ни…!? Тут до тэбэ партызан. В хату нэ хочэ…, - кричит дочери хохол.

Тут же, словно того и поджидала, во двор выскакивает кареглазая, со смуглинкой в лице, дивчина. Зардевшись, опускает глаза и теребит руками складку вылинявшего платья. В окне мелькают ещё девичьи лица. Строго выглянула мать.

- Так ты, Фэдотовыч, и во двир ни зайдэшь? - хохол только спрашивает.  
- Та ни, тату. Можно я провожу його, та и вся…? - просит скороговоркой за Афоню дивчина.

- Ну, глядить…. Дило вашэ, - хохол насупился и сделал вид, что занят своим хозяйством.  
Девушка выходит за ворота, прислонившись спиной к перекладине, смущённо загребает босой ногою мягкую дорожную пыль.  
- К яру меня проводишь? - спрашивает Афоня и пытается взять её за руку. Дивчина, оглядываясь на отца, не дается.

С лужайки, позвякивая удилами, топает гулко копытами Рыжий. Подходит, тянется мордой к тёплому девичьему плечу.

- «Ботвой картофельной пахнет и ещё… ветерком заречным, да солнышком…», - приходит Рыжему в голову.

Девушка гладит Рыжего и, заглядывая ему в глаз, жалеет:   
- Укатал тебя хлопче?

- Да что ему будет….

Все трое отходят тихонько от двора. Рыжий трясёт отчаянно гривой, отгоняя надоедливых мух. Сзади во двор выходит вся женская половина семьи. Хохол что-то гырчит на них, но тут же все вместе глядят вслед уходящей троице.

- «Ишь, невест сколько…. Как только хохол прокармливает?» - думается Рыжему, поглядывающему на то, как мелькают голые девичьи пятки из-под подола…. Так и запомнится ему этот день: яркий, с чистым небом, с духотой в полынных зарослях, с лёгким сквозняком от речушки.  
  
 …Шумит трава на лугу, словно шепот ласковый в поднебесье льётся. Эвон, красота какая, даль синяя…. Небо высокое, чистое, шатром над головой выгнулось. Балочкой, вдоль нетронутой луговины, душисто и рясно цветёт калина. Бело-зелёные зонты её цвета издалека, словно большие горошины поверх круглой кроны куста, красуются. А земля вокруг исходит таким теплом, таким духом, что млеет душа, кружит голову хмелем. В калине Рыжий дремлет стоя, почёсывая о ветки за ухом. Поодаль в полынной духоте, на мятом клевере двое: Он и Она….

- Целуй меня, Галя, целуй…, - шепчет, ошалевший от девичьей ласки Афоня.  
- Да…. А ты, як в прошлый раз, приставать с глупостями станешь…, - хитро смеётся в ответ Галя.

- Какие же это глупости? В мире у всех это так…. Не устоишь, ведь, против этого…, - Афоня лицом вжимается в девичью грудь и захлёбывается поцелуями.  
- Ах, липучка! Не дразни дюже…. Боюсь я….

- Чего, глупая? У всех так…. Без этого и жизни дале не будет.  
- Пусти. Нельзя без благословения. Грех…. Глянь, и Рыжий твой смотрит.  
- Пускай смотрит. Ужели ты не видела, как это у них бывает…? Вот я его сейчас пугну, чтоб не глядел!

- Всё равно нельзя…. Не хочу не в своё время бабой стать.

- А когда твоё время будет? - смеётся Афоня.

- Вот как бродяжить бросишь. А то боязно мне с тобой. Мужики дома живут, а не в лесу. Тату тож ругается. Боится, что в подоле принесу…. Нельзя так, Афонюшка.  
- Вот, беда ты моя любая…. Нельзя так нельзя,- и снова смеётся он, и снова целует девичью грудь до одури, до беспамятства.

- Пойду я до дому… и так уж загулялись. Тятька ругать станет. Картоплю не дополола….  
- Тогда давай ещё немного на Рыжем прокатимся?

- Тяжело ему….

- Да мы только вон до того вяза, а потом я тебя назад в деревню доставлю.  
- Ладно, до околицы, а там я уж сама….

К вечеру Афанасий в отряде. Намаявшись за день спит крепко на чьей-то пустой подводе, доверив Рыжего мужикам, что к лошадям охочи. Те в ночном и накормят коня, и отдохнуть дадут. Поутру ему с Черешней поручено за пару дней смотаться в разведку.

…В сумерках верхом миновали посты, тихим шагом к восходу добрались до реки. «Долговязому-то не впервой. Чего ему…? Продрых до петухов под подводою, подгребая под бока солому, и сейчас молчком посапывает за спиной». Правым берегом спустились вёрст на десять к устью, избегая случайных встреч с сельчанами. В районе людной Владимировки, спешившись, прошли пару вёрст камышовым логом. Под ногами хлюпала болотная жижа. Рыжий глубоко проваливался, потому тяжело хрипел и тревожно поводил глазами.

- «Эх, понесла же нелёгкая болотиной! Мало, что вдвоём оседлали, так ещё и утонуть сподобит…»

Минуя Владимировку, Афоня с Черешней взяли правее. Уходя от реки, выбрались на сухое косогорье, протянувшееся вдоль речной поймы. Здесь отдыхали с полчаса, завалившись в духоту таволожки, подставляя солнцу потные неумытые лица.

- Почему тебя Черешней прозвали?

- А бес его знает. Привязалось вот. Издавна ещё…. Малым я по садам горазд был промышлять. Может быть оттого. А может быть, за худобу так зовут? Кто ж его знает?

- А сколько тебе лет по правде?

- По правде не знаю. Мамку плохо помню. Умерла давно, а то бы сказала точно. А тятька по пьянке забыл про меня. Должно семнадцать…. А тебе?  
- Я старше. Девятнадцать вот, третьего дня было…

- Старик… уже. Женится, небось, собираешься?

- Скажешь, тоже…. Осмотреться бы надо в жизни.

- А что, в деревне худо? Конь, вон у тебя какой…, справный.  
- Да не сказать, чтобы совсем уж худо. Но, должно люди завсегда к лучшему тянутся.   
- А где оно, лучшее….?

- А кто ж его знает. Вот драку затеяли за лучшее. Кто победит, тому и лучше.  
- Хитёр ты, Афоня. Знаешь, кто победит, ежели к нам пристал. Мы победим…. Нас поболее числом будет.

- Меня дружок сманил к вам. А может и сам от отца захотел оторваться. Дома кроме меня девок ещё двое, да малец. На них ещё работай да работай…. А мне должно лень стало. У нас дед отчаянный. Сам себе голова. Я должно в него выхожу.

- А у меня только тятька. И того, по правде сказать, я уж с год не видал. Может быть, его и нету уже…. Гулёна он лихой. И я в него.  
У Черешни звучно заурчало в животе.

- Харчами нас бедно снабдили. Жрать охота, страсть как. Давай хлеб располовиним, а…?

- Ну, нет уж! Ещё дела не сделали, а половину запасов умяли. Терпи уж….   
 Рыжий, с засохшей под брюхом и на ногах грязью, устало понурил голову, уткнувшись ею в тень небольших дубов.

- «Про хлебушек разговаривают. Не уморились вовсе, и то благо…»  
Ему припомнился Ерохинский двор, крепкая Федотова рука, мягкая тёплая ладошка Тимошки и духмяная краюха подсолённого хлеба....  
- «Да-а.… Приведётся ли домой воротиться? Лето уж на изломее, а мы всё партизаним. Дорогой прямой забыли уж как ходить. Разъездов казачьих боязно…»  
 Рыжий хорошо помнил дорогу вдоль реки, что в сухую погоду мягка и приятна под копытом. Высохший ил с песком плотен и мало пылит, а местами и вовсе порос подорожником и пыреем. После дождя же эта дорога раскисает, и тогда ходить по ней одна мука. Без телеги еще, куда ни шло, но на резвом скаку того и гляди, заскользишь копытами на повороте. А когда ещё и воз позади тебя, то после дождя и вовсе тяжко. Когда колёса вязнут в глубоких рытвинах по самую ось, а копыта разъезжаются во все стороны, и невыносимо долгим кажется путь. Сейчас с косогора хорошо видна река, с берегов укрытая ивняком, и та знакомая дороженька. Вон и конники на ней. Один, два…, пять,…семь. Казаки! Дозор конный.

- «Не хоронятся, как мы…. Пылят себе без опаски посуху мимо болотины. Мои, вон, сустали и не видят ничего. Взопрели, вояки…»

Рыжий тихонько всхрапывает. Афоня поднимает нехотя голову и осматривается.  
- Гляди, Черешня, вовремя мы с реки ушли. Семеро, вона, верхами идут.  
Долговязый поднимает кудлатую голову, прищуря глаза, глядит вдаль. Чешет затылок.

- Должно дозор ихний. Нас они не видят. Да и увидят, не поймут…. Тут владимировские мужики хозяйнуют. А у них с казаками пока мир. Друг дружку не трогают. Но от греха подальше и нам бы свалить надо. Ещё пару вёрст одолеем, и Рыжего твоего оставим. Я место хорошее там в прилеске знаю. Потемну до полуночи попробуем к постовым подобраться. Послушаем, понюхаем…, а там, куда кривая вывезет. Авось случай какой подвернётся. Узнаем, что по чём и айда до дому. Возвращаться - оно завсегда полегче.  
- «Рановато о доме заговорил, хлопче. К месту туда ещё не добрались, а ты уж обратно поспешаешь. Плохо…».Рыжий гулко топнул копытом, отгоняя с живота надоедливого овода.

- «Меня одного оставят, тоже плохо…. Что ж хорошего на привязи в незнакомом месте торчать? Плохо это…».

…К вечеру небо затянуло облаками, но духота не ушла, и стало совсем тяжко. Афанасий с долговязым ушли в темноту тихо, словно растворились в синей толще душного воздуха. Рыжий напрасно вслушивался в шорохи ночи. Шаги его седоков оборвались как-то сразу и одновременно, как будто оба сорвались в глухую бездонную пропасть. Ни ветерка, ни шороха, только звенит комариный рой над головою, а окрест стоит одуряющая тишина. Такое редко бывает на сломе лета, когда устаёт природа от буйства зелени и цвета, когда лес на вершинах стоит тяжёлый, с налившимся листом, словно остановившийся под тяжёлой поклажей путник. Ещё, кажется, миг раздумий, и путник решится оставить свою тяжкую, ставшую ненужной, ношу. И тогда по-иному зашумит листва, зазвенит по-другому в траве кузнечик, потянет свежо с нарастающей скоростью с долины ветер…. И тогда придёт пора осени. Но сейчас в эту пасмурную душную ночь была ещё вершина лета, было тихо и тягостно. Даже поднявшаяся луна так и не смогла пронзить светом своим ни серой пелены облаков, ни вязкой массы тёплого воздуха.  
Рыжий, привязанный длинным поводом к шершавой берёзе, до самого рассвета простоял, подрёмывая и не шевелясь, словно подчиняясь общей окрестной тишине. И стал переминаться с ноги на ногу, только когда свет нового дня разлился над землёй, когда духота отступила, и лес проникся первыми облегчёнными звуками. С долины потянуло ветерком, обещавшим разогнать ночную хмарь.

- «Сейчас перекушу немного, а как солнце вверх пойдёт, повалюсь в полынник от слепней. Задерживаются мои вояки…. Не так что-то…».  
Легко похрустывая, Рыжий принялся бродить по опушке, вытягивая на всю длину привязь. Под берёзой большущим коричневым грибом темнело седло. Юркий полосатый бурундук проворно взобрался на него и тихонько присвистывал от любопытства.

Где-то недалеко заржала кобылица. Рыжий вздрогнул, вскинул высоко голову и, сдерживая невольные звуки, глухо утробно захрипел. Из-за высоких зарослей лещины его не видели и, надо было полагать, не услышали. В том, что ржала кобыла, ему ошибаться было бы стыдно. Всё его мускулистое возбуждённо подрагивающее существо обязано было в таких звуках распознавать голос любой своей возможной половины. Так устроена его природа, и она не дала ему никакой возможности уклониться или остеречься от этого. Кроме, конечно, старости и ещё, пожалуй, смерти. Но последнего Рыжий вообще не мог знать, как не дано этого знать младенцам да ещё рыжим… лошадям, а о старости ещё не догадывался наверно потому же. Кобылица заржала ещё. Совсем рядом шли группой конники. Слышался размеренный неспешный топот лошадей, позвякивание упряжи, приглушённый говор.

- «Если бы я был собакой, то наверно нужно было бы сейчас затаиться и переждать. Но я же не наш дворовый Полкан…».

Рыжий возбуждённо прядал ушами и так же утробно почти беззвучно хрипел. Но при следующем призывном ржании проходившей рядом лошади Рыжий вдруг взмотнул в сторону головой, вздрогнул ощетинившейся стриженой гривой и громко длинно ответил. Потом так же резко умолк, настороженно поглядывая в заросли и мелко вздрагивая холкой. Тут же сквозь орешник напролом, ломая с шумом ветви, выскочил всадник. На боку шашка, за спиной короткий кавалерийский карабин, в лице удаль, в глазах удивилинки.  
- Хо-хо, казаки! Никак жеребчик тот, что наследил вчерась у Владимирского брода….  
Вскоре на поляне сгрудились семеро верховых, окружая кольцом Рыжего. Кони шумно дышали, задиристо пофыркивая.

- «Те, что вчера вдоль реки навстречу нам шли…. А теперь, вот, с утра следом наладились. Скорые мужики. Теперь с собою уведут…», - думал Рыжий, не очень-то резво взбрыкивая, и, показывая свое расположение к чужим, на всякий случай подёргивал длинную вожжу, которой крепился к берёзе его недоуздок.

- Ну, ну, рыжебокий, стоять! Чего уж попусту брыкаться.

Один из казаков, рослый с сивыми вислыми усами, спешился, ухватив Рыжего за недоуздок, сдержал его, прихлопывая по шее.  
- «Крепкая рука, как у Федота…», - Рыжему почему-то опять припомнилась Ерохинскую ладонь.

- Знакомый жеребчик…. Сродича мово с Мельниковки!

- А где ж родич-то? Больно далеко от коня гуляет…

- На берег к посту, видать, ещё по темну пеши ушёл.

Казак поднял с земли седло, уздечку, попробовал зануздать Рыжего.  
- «А вот этого я тебе не позволю, родственничек…» - жеребец упрямо и угрожающе мотнул головой.

- Ладно, ладно! Не хошь, не будем пока и силовать…. Гнат! На-ка, приторочь к себе седло, там разберёмся.

Вислоусый передал упряжь удальцу с карабином.

- Теперь, казаче, аккуратнее. Сродичь-то евонный должно лазутчик.… Рядом где-то или на берегу ещё выглядает. Хорошо если налегке шастает, а ежели с винтарём? Не ровён час, палить удумает. Ухи востро держи! - распоряжался по всему старший из казаков.

- «Это про Афоню говорят. А про долговязого не знают. Должно не догадываются, что я двоих от Ястребовки нёс. И то хорошо. Вот тебе и в полон угораздило…, - Рыжий понурил голову, поглядывая в глаза гладенькой кобылке, на голос которой он, не удержавшись, так опрометчиво отозвался.  
 …Под Александровкой в южном распадке уже год стоит бело-казачий корпус. Местное население неспокойно, власть после того, как царь-батюшка отрёкся, не шибко почитает. Босота в округе бузит, в шайки грудится. Кто, как ни казаки, порядок призваны удерживать. На то и клялись царю и отечеству. Ну, царь оконфузился, пускай, но отечество-то живо. Вот и призваны казаки власть, какую бы там ни было, поддерживать. А то разбредётся народишко, как стадо…. Не гоже. Штаб корпуса размещается в просторной избе местного старосты, что выделяется несколько среди прочих сельских построек. В деревне к казакам привыкли, потому никого не удивляет беспрестанное оживление вдоль улочки, что пробежала просёлком от распадка к штабу. Здесь часто снуют вестовые, через которых поддерживается связь штаба и с самим корпусом, и с недавним лодочным постом в устье реки, что по карте значится в четырёх верстах от Александровки. Река одним боком своим в этом месте подмывает высокую островерхую гору, а другой правой стороной разливается болотом, поросшим метёлками камыша. Здесь река встречается с морем и окрашивает его вдоль песчаного берега и далее жёлтой илистой своей мутью. Правее устья на самом песке временный казачий пост. С пяток больших лодок носами на песок. Саженей на тридцать в море выдаётся деревянный пирс, сооружённый на сваях из отёсанной почерневшей лиственницы. На берегу, словно вкопанный в песок, низкий глухой сарай, приспособленный должно под склад. В стене с моря одна-единственная широкая дощатая дверь. У стены телега. Чуть поодаль камышовый шалаш, воз корявых берёз для костра. У воза коновязь, пара осёдланных лошадей жуют лениво из охапки свежей зелени. Ещё чуть вдалеке на чистом прибрежном лугу вольно пасётся табунок лошадей. На них в темноте вышли Афоня с Черешней, да вовремя обошли сторонкой. Подобрались к костру, и засели в полынном овражке. Так и продремали до рассвета. Потом огляделись. В туманной дымке дальнего рейда стоит посреди залива большой транспортный корабль. Вскоре от корабля отчаливает вёсельный бот. Поблёскивают погоны. Такими же блёстками рассыпается с вёсел вода. Из шалаша выполз заспанный казак. Глядит из-под ладони на море, потом отворачивается, уходит в сторону от шалаша, справляет малую нужду.

- Ты оставайся тута, а я логом обойду пост, - шопотом говорит долговязый. - С той стороны по ветру слышнее будет, о чем солдатики гуторят. Лодка подойдёт к берегу, я, может быть, и подгляжу чего. Ты же, чуть погодя, отходи прежним путём. Держи под косогор, там встретимся. На Рыжего…, и айда до дому! Бывай пока Афоня. Пожелай мне фарту в спину. А то негоже с малой вестью в отряд ворочаться. Чего зря болотину месили….  
Черешня отползает стороной и вскоре исчезает из виду. Чуть лишне шуршит камыш, да попискивает потревоженная пичуга.

- Отчаянный, дьявол…. На рожон полез. С моря заприметить могут, - тревожно думается Афоне.

Только подумал, заржали кони и на лужку, и у привязи. С той стороны, откуда ночью крались и они с Черешней, тоже раздалось нервное ржанье.  
- Рыжий?!

Ёкнуло Афонькино сердце. А как увидел своего огненного приметного конька в группе появившихся всадников, так заколотилось в груди, такое отчаяние охватило, что неведомо как и удержался от того, чтобы не рвануть напролом, выручать Рыжего. Присел в своём овражке, затих, не одолел лишь слезы, непокорно заблестевшей в глазах.

- Что-то не так сделали…. Выследили нас. Теперь затравят погоней. А куда уходить без коня? Без коня не уйти….

Бот был на подходе к пирсу, когда с него послышались возгласы и стрельба из винтовки.

- Вона, вона, стороной побёг! Держи его, ребя!

Подъехавшие казаки на берегу всполошились. Четверо кинулись в сторону, куда показывал, привставши с лодки, возбуждённый солдат.  
- Кажись, попал! Там он, там! В осоке залёг…. Берём его, братцы! Без

ружия он. Налегке хлопчик промышляет….

Чуть погодя казаки притащили к шалашу Черешню. Он совсем не упирался и только затравленно из-под лобья бегал глазами. Руки у него были в крови, лицо бледное с гримасою боли.

- Глянь, зацепил служивый родича твово…

- Не! То не Ерохинский…. Чужак. Городецкий, ктось из голытьбы. Конька, небось, увёл, а? Дай-ка, гляну, куды его стукнуло? В живот. Худо! До

азарету надо бы….

К шалашу подходят сошедшие с бота офицер и двое рядовых. Все трое в вылинявших на спинах гимнастёрках.

- Вот, ваш бродь, хлопчика задерживаем. Должно лазутчик…. Жеребчика вот энтого он ещё в чаще оставил, - казак махнул рукой в сторону синих сопок. - Оружия при нем нет. Зацепили ваши его крепко. Помрёть должно…. До лазарету бы его….

- Разберёмся. Ждём пока ещё одну лодку. За раненым присмотреть!  
Черешню оставили у коновязи, где от шалаша ложилась небольшая тень. Он тихо скорчился, сжимая в кулаки свою ветхую грязную рубаху. Сейчас на земле он совсем не казался долговязым. Глядя в его подрагивающие плечи, его сейчас можно было принять за мальчишку-недоросля годов пятнадцати.  
- Накося, хлопчик, кужух под голову. Эк, тебя лешак угораздил под пулю полезть…, - вислоусый казак откровенно жалел о случившемся.   
Черешня затуманенным взором, кажется, благодарил его за это. Было видно, как силы покидали его. Он попросил воды. Вислоусый полез в шалаш, где загремел чем-то жестяным, должно там казаки держали воду. Остальные толпились гурьбой далеко на берегу, поглядывая на вторую отчалившую от корабля лодку.

- «Плохи дела, долговязый. Не управились с делом – то…», - Рыжий виновато потянулся мордой к полотняному рукаву постанывающего Черешни: - «Афоньки не видать…. Должно хоронится где-то. Эх, вояки…»  
Афанасий затаился рядом. Распластался, не дыша, готовый с головой вкопаться в сухую сыпучую землю. Рыжий, казалось, чуял его, потому как часто высоко вскидывал голову и всматривался беспокойным глазом в седой полынник. Вислоусый вытащил в деревянном половнике воды, смочил край черешенской рубахи и поднёс ему к губам.

- Пить нельзя тебе, хлопче. Терпи уж, коли сдюжишь…, - казак наклонился близко и тихо спросил: - Ерохина конька увёл али ещё кто с тобой должон быть? Говори, пока при памяти…. Может, помогу чем?…

- Худо мне, дядька. Знобит…. Костёр в кишках…. Худо…, - Черешня, кажется, начинал бредить.

Казак оставил его, пошёл к остальным. О чём говорили, было не разобрать. Афоня пополз к шалашу. Рыжий сразу заметил его, забеспокоился и тихонько заржал. Забеспокоились и остальные кони.

- Тихо, ты, пустобрёх…! - зашипел из полыни Афонька.

Словно что-то подозревая, настороженно с берега вернулся вислоусый. В этом казаке Афоня узнал двоюродного дядьку по матери. У него лет пять назад они с отцом заночёвывали во Владимировке. По осени в этом волостном селе всегда проходят ярмарки, на которую съезжаются с окрестных деревень крестьяне. Выбирались на ярмарку кое-когда и Ерохины, кое-чего продать, кое-чего купить. Года два назад этот же дядька наездом гостил у Федота. Тогда волостное начальство объезжало деревни, выведывало настроение. Дядька, кажись, в каких-то приставах значился.  
- «Эх, Черешня! Чего, дурень, высовывался…».

Афоня мучался совестью, не в силах чем-либо помочь. Всё, о чём предупреждал в отряде командир, они с Черешней сделали. Потому и оружие велено было оставить. Предполагалось, что безоружные они осторожнее будут, ни в какую заваруху, почём зря, не полезут. В задание входило только разведать возможность незаметного прохода в устье реки. Такую возможность думали использовать для угрозы казачьему корпусу с неожиданной стороны. Тем путём, что проделали они с Черешней, можно было бы пройти небольшим конным отрядом и закрепиться на выгодной позиции.  
 - «Что же делать? Подползу к Рыжему, и айда…! Не догонят! Пока очухаются, то да сё, я уйду на полверсты. До распадка вмиг долечу, а там вверх кустами, оторвусь, затаюсь где…. Пережду. Авось не заметят, повезёт…. А Черешня? Бросить? А что в отряде скажу? Правду…. Кто виноват, что полез на рожон? А может и его выручить…? Прихватить вон кобылку у казачков…».

Наверно Афоня излишне шевельнулся в своём укрытии или голову высоко приподнял, только заметил его Рыжий и захрипел взволнованно, замотал головой, норовя вырвать с коновязи поводья. Тут и вислоусый казак, почему-то оглядываясь на сгрудившихся у пирса мужиков, шагнул настороженно в том направлении, где, не дыша, притих Афанасий. По поведению жеребца казак догадался, что кто-то прячется в полынных зарослях. Не приближаясь к Афоне, дядька, поглядывая всё на берег, тихо заговорил:  
- Не шуткуй, хлопче…! Схоронись подале. Я промолчу…. Не знаю уж, кто ты есть, но конька Федотова я доподлинно узнал. Дружок твой подстрелянный крепко. Ему ты теперя не помощник. Сам уходи…. Я уж случаем жеребчика отпущу. Прощевай, паря и уходи….

Дядька резко вернулся к коновязи. Афанасий, застигнутый таким внезапным сочувствием, ещё несколько мгновений лежал неподвижно. Затем, почему-то подчиняясь вислоусому, осторожно отполз в шуршащий высокий камыш. Рыжий, словно тоже понял всё, и успокоился.

- «Ну, дела!… Казак помогать моим воякам вызвался. Хорошо это. Отпустил бы, а там… ноги помогут».

К пирсу подошла вторая лодка. Мужиков прибавилось. Несли какую-то поклажу, ящики. Шумно разговаривали. Офицер командовал:  
- Рябов, распорядись запрячь телегу. Грузитесь…. Раненого тоже… заберём. Живой поди ещё?

- Плохой хлопец, ваш бродь, - отвечал вислоусый, нарочито громко: - Говорит, случайно на пост вышел. Сам из шахтёрских, городецкий. Гостил у кого-то на Американке. Про коня ничего не знает. Может и не брешет….  
- Тоже мне защитник сыскался. Ты же говоришь не родственник…? - усмехнулся тот, кого офицер называл Рябовым, и который по всему был за старшего у казаков.

- Точно так! Не сродич…. Я своих знаю. Вот конь взаправду сродственный.  
- Знаешь, кого в родню брать…. Ладно, там разберёмся. Запрягай коня в телегу. Пусть поработает родственник….

- А ежели не дастся?

- Ты уж давай уломай его по-родственному….

Казаки грузились на телегу, посмеивались. Двое, подхватив стонущего Черешню, укладывали его меж ящиков. Вислоусый пошёл к лошадям.  
Рыжий обеспокоено переступал с ноги на ногу, громко ржал и мотал головой. Как только, ловко одним движением отвязанный, повод на мгновение задержался в руке вислоусого, Рыжий с диким ржаньем встал высоко на дыбы, развернулся в таком положении кругом и, взметнув копытами облако песчаной пыли, сорвался с места в галоп, прочь от злополучной неприятельской коновязи.

- Стой, стой! Ах ты, бес рыжий….

- Что ж ты, раззява, упустил!? Сволочь!…

- Дозволь, ваш бродь, я споймаю жеребчика?…

- Да-а! Держи теперь ветра в поле. Глянь, как летит стервец…, родственничек….  
 Казаки не успели опомниться, как через мгновение от Рыжего и след простыл. Лишь клубилась лёгкая пыль вдоль камышовых плавней, где петляла мягкая по илистому песочку дорога….

Промчавшись пулей с версту, Рыжий остановился и сошёл с дороги, ступая осторожно в податливую камышовую сырость. Погони, кажется, не было. Через минуту заросли скрыли его, и он остановился, переводя дыхание.   
- «Кажется, ушёл…. Гнать меня, у них резону нету. Я им не шибко нужен. Во Владимировку они вдоль реки к броду пойдут другой дорогой. Афоня не мог туда отойти…. Он где-то здесь, рядом.… Только бы сообразил, что я ушёл в камыши….».  
 Бьётся учащённо большое жеребячье сердце. Шумит вокруг камыш, пощекотывая под боками жёстким узким листом. Над головой стоит высокое белое солнце….

- «Чего уж людям надо? Какая красота окрест…. А они гонять друг дружку по земле взялись. И не жаль силы им?…».

  Так думалось… бы Рыжему, будь он посмышлёнее простого конька-огонька. Но он был действительно простым пятилетком жеребцом, попавшим волею случая в людскую заваруху, и думать так навряд ли мог, иначе не попался бы так по-простецки в плен.

- «Слава Богу, человек хороший встретился, выручил…. А то бы парился сейчас в обозе, в оглоблях, с тяжёлой телегой под задом. И без Афоньки….».  
С дороги послышались быстрые шаги. Запыхавшийся Афанасий, обшаривая взглядом камышовое пространство, тихонько посвистывал. Знает, где может ждать его Рыжий.

- «Лёгок на помине…. Вон как поспешает, вояка…», - Рыжий легонько фыркнул.  
Афанасий остановился, позвал:

- Рыжый, ты? Умница, иди ко мне…. Ну, давай, давай…

- «Теперь-то уж куда торопиться?» - недовольно думается Рыжему, и он выходит на дорогу, с чавканьем вытаскивая из сырости копыта.  
Афоня кинулся на подмогу, ловит болтающийся повод, обнимает Рыжего за шею и жарко сквозь слёзы шепчет:

- Конёк ты мой, дорогой, рыжебокий. Как убежал-то? Давай, давай, уходить надо. Неровён час, догонять казаки надумают….

- «Эк, вояка! Вот и слезу пустил. Не нужно было в свару-то лезть…».   
 …Уходили от реки тихо с оглядкой, шагом. Афоня где сам шёл рядом, касаясь рыжего бока жеребца, где садился на его тёплую спину, но не погонял. Без седла ехать было неловко, а если вскачь, то и совсем уж тряско. Минуя камышовые плавни, выбрались на сухое взгорье и сопками быстро ушли вверх от злополучного устья реки. Ещё до вечера стороной обогнули деревню, слышную отсюда с вершин пустым брёхом собак, бабьим говором, да теми звуками, что таит в себе только людское жильё. До темна Афоня спешил опять повернуть к реке и уже ночью подвигаться выше луговиной, где идти проще и быстрее. Когда совсем стемнело, он отпустил повод, давая Рыжему самому выбирать дорогу. Положиться на коня сейчас было самым правильным.   
- Давай, дружок, помаленьку….

Перед этим он поделился с Рыжим последним кусочком хлеба из-за пазухи и, совершенно не утолив голода, дремал под мерный шаг жеребчика.  
- «А что теперь-то давать? Топай себе да топай натощак. Темнотища - глаза коли…. В такую темень кого бродить заставишь? Только нам край убегать надо, да к своим прибиваться…», - думает, понуря голову, Рыжий.  
Из-под ног его с обочины взлетает испуганная птаха. Конь шарахается, чуть не уронив задремавшего седока.

- Ты, что…? Боишься? А я, раззява, сплю….

- «Неплохо бы и мне вздремнуть», - думается Рыжему.

Он на ощупь срывает с обочины пучок травы и жуёт на ходу. Над головой светлеет. Справа вдоль реки проясняются очертания леса и словно клубы бесшумного недвижного дыма вздымаются полосой к посеревшему небу. Ещё чуть погодя всходит луна. Не совсем полная, но чистая, как натёртый самоварный бок. Свет от неё мягкий, почти осязаемый, вязкий с прохладцей расползается над спящей долиной, выявляя сначала только контуры окрестности, потом высвечивая и полосу дороги, и отдельные кусты и даже макушки придорожной полыни. Поднявшись же над головой, луна освещает всё так ярко и славно, что заставляет невольно оглядеться на всю эту ночную прелесть и восхититься. По правую руку меж зарослями блестит река. Афоня тянет вправо поводья.

- «Вот это другое дело! До утра отдохнём, а там и путь короче покажется», - одобрительно пофыркивает Рыжий.

Не опускаясь совсем к реке, Афанасий выбрал место ложком у раскидистой черёмухи, остановился и отпустил Рыжего. Наломал тут же в логу полыни с камышом и охапкой бросил на тёплую ещё со дня землю. Рыжий отыскал рядом лужайку и похрустывал сочно травою. С реки доносился мягкий рокот воды в корчажине под недалёкой кручей. Афоня, разувшись, дремал, а потом и вовсе крепко заснул, когда Рыжий, насытившись, подошёл и, устроился спать стоя рядом.

Проснулись с рассветом от колёсного скрипа со стороны дороги. Афанасий резво взобрался на дерево. Разглядел в утреннем туманце на дороге подводу с двумя седоками, следом дремотно подвигался верховой на вороной длинногривой кобыле. Шли, не спеша, с оглядкой.

- «Кто-то из селян, казаки посмелее будут. А может быть и наши кто…».  
Афанасий, оставив Рыжего у реки, как был босиком, украдкой пробрался к дороге, пропустил движущихся мимо себя. В одном из седоков на подводе узнал дядьку Ивана. Обрадовался, тут же выскочил и громко окликнул:  
- Эгей, мужики! Далече катите? Никак в отряд?

Подвода и всадник разом остановились. Мужики подозрительно оглядывали чумазого босого хлопца в драных холщовых портках.  
- Да то ж Афонька! Племяш мой…! - дядька соскочил с подводы.  
Съехали все вместе к черёмухе, где настороженно прядал ушами Рыжий. Пока делились кое-какими харчами, Афанасий рассказал о своих походах за последние двое суток. О Черешне говорил, оправдываясь со слезами на глазах:  
- Подстрелили его. Казаки с собой забрали. Я не мог ничего…. Рыжий, вот, убежал. И я следом….

- Не горюй, паря, - успокаивал дядька: - В жизни у тебя ещё не раз урон приключится. Ты молодой ещё, всяко ещё будет. И горя не миновать. Уж чего-чего, а этого среди людей завсегда много было. А дружок твой, даст случай, и живой останется. Казаки тоже люди. А среди людей и хороших немало попадается, не все же плохие….

- Да, уж…, - вторит дядьке другой с подводы, что постарше: - Иной всю жисть в голове грешит беспрестанно, а в жизни праведник, а другой всё, что ни сделает - грех, хотя и помыслов худых к тому не было. Почему так? Не знает никто. Кто говорит - случай, кто - судьба, а кто и на Бога валит….   
- Не казни себя. Это дома сидеть - ни урона, ни прибыли, а мы, вона, как от дома высунулись…, - словно сожалея о чём-то, заканчивал разговор дядька Иван.  
Тут же решили разъехаться: подвода пойдёт в отряд, а дядька, упросив верхового одолжить ему лошадь, с Афанасием наведаются к Еремею Ерохину.  
- Когда ещё так близко к тятьке буду? Айда, Афоня, к деду! Как он там кукует в одиночку…?

…Два всадника остановились на крутизне над речкой, чуть придержали лошадей, всматриваясь в противоположный берег. Затем друг за другом двинулись ниже, отыскивая пологий спуск к воде. Лошади, нехотя, поводя мордами, зафыркали, пошли вброд, подёргивая мышцами на боках. Вода лишь чуть подбиралась к стременам, но брызги из-под конских колен, подхваченные надводным ветерком, сыпались прямо на лоснящиеся шеи, в лица, на одежду всадников. На противоположном берегу чуть выше брода мужик голый по пояс возится с плетёной из ивовых прутьев мордухой. Завидя всадников, приподнялся от занятия, морщит коричневый от загара лоб.  
- Никак не признаёшь, земляк? - первый всадник, привстал в стременах, закружив лошадь, остановился. - Глянь, Афанасий, сосед тятин не признаёт нас с тобою….

Второй без седла, выскочив из воды, не удержал, было, огненного конька. И тот, норовя закусить уду, шаловливо рванул в сторону, но, почуяв в боку пятку хозяина, присмирел.

- Напугался, поди? Потому и не признаёт…

- Матерь Господня! Никак Иван Еремеич? Ай, да Ерохины! Чисто разбойники…, - мужик расплылся в широкой улыбке.

- Да, вот, поизносились малость…, - оправдывается Афанасий, одёргивая рваную на колене штанину.

…К вечеру тянутся мужики ко двору Еремея Ерохина. В малую мазаную хату его из-за тесноты не идут. Обосновались прямо во дворе у тёплой стены за грубым верстаком: кто на дровосечной колоде, кто на лавке из хаты, кто стоя. Зажгли сальный фитиль в черепке, для того только, чтобы горел. Пили домашнюю водку из ячменной браги, принесённую кем-то в тёплом рукаве. Курили самосад и говорили, говорили…

В углу двора на привязи Афонькин жеребчик со своей новой знакомой. Закрыв глаза, стоят, подёргивая ушами. Вверху комариный рой.  
- «Хорошо-то как…, - дремотно думается Рыжему: - Кобылка не молода уж, но не усталая…».

Он переступает с ноги на ногу, приоткрывает глаза и, повернувшись, кладёт осторожно, чуть дотрагиваясь, свою голову на нечёсаную гриву соседки. Та спит, не обращая внимания на его ухаживания.

- «А с чего уставать? Партизаним с прохладцей. Дома бы сейчас на сенокосах парились…».  
На воспоминаниях о доме Рыжий засыпает и видит себя малым лёгким жеребёнком, летящим в зелёную негу заозёрного луга…

\*\*\*

Часть 3. Афанасий.

«…солдатушки, браво ребятушки,

а где ваши деды…?»

1

…Получая новое назначение в штабе округа, Афанасий встретил товарища, знакомого еще по партизанской вольнице. Теперь тоже красный командир, тоже за назначением….

- Какими судьбами?

- Служба, дружище.

- И не говори. Дан приказ ему на запад…?

- Пока в Забайкалье. А, ты?

- А мне, как говорится, в другую сторону. Я начинал после учёбы с

Туркестана. А теперь, думаю, здесь в бригаде дело найдётся. Аккурат, в летних лагерях ещё часть застану.

- Да, пертурбация в армии основательная. Говорят, перевооружение…. Что слышно об этом?

- Говорят. Наше дело солдатское: прикажут, перевооружимся. Было бы чем…, - Афанасий осёкся и поспешил затронуть другую тему: - Женат? Как вообще дела?

- Какие дела? Служба! Был женат, да вот весь вышел. Она у своих стариков на Дону. Помоталась, помоталась за мной по Россиюшке, да и устала, видать. А может другое что…. Как знать? Я последние три года здесь, она там. Вот надеюсь, переведут, когда поближе, там и свидимся. А у тебя как? - товарищ был с виду беззаботен, но по глазам стало видно, как он вдруг загрустил.  
- Да и у меня не блещет…. Жена из местных. Познакомился ещё парубком, как партизанил. Женился после учёбы сразу. Да тут же и укатил в Среднюю Азию. Ждала четыре года. Дочь без меня растила. Даже стыдно порою…. В тридцатом после ранения меня в Томск перевели. Приехала. Кажется, обосновались. Три года чудно прожили. Трах-бах, у меня новое назначение. Сборы, ругань, нервотрёпка…. Она осталась. Там неплохая квартира, город всё-таки. Договорились, пока не осяду прочно где…. Но где у солдата прочное место? Так вот и живём врозь. Детей больше нет. Худо.  
Афанасий искренне сожалел о своей плохо сложившейся семейной жизни. Его окликнули, и они с товарищем распрощались наскоро, опять, по всей видимости, до следующей нечаянной встречи где - нибудь на перекрёстке солдатских судеб….

…Осенью двадцать второго Афанасию с отрядом партизан довелось входить во Владивосток, после того, как ушли белые. Красная Армия тогда олицетворяла новую сильную власть, приходившую прочно и навсегда. Партизаны были народом, одобряющим и поддерживающим эту власть. Их плохо организованные отряды вскоре были разоружены и распущены. Основную часть партизанщины собрали в заболоченном яру у малой речушки, конным велели спешиться и всем построиться.   
- Ну, орлы! Останемся послужить рабоче-крестьянской нашей власти?   
Уполномоченный по делам армии молодцевато вышагивал перед разношёрстным партизанским строем:

- Желающим вступить в ряды доблестной Красной Армии - шаг вперёд!   
Охотников сыскалось не так много. Уполномоченный, кажется, и не настаивал. Безразлично отвернулся от строя и ушёл, подметая за собой землю длинной полою кавалерийской шинели.

- Иди, Афоня! Тебе личит в армии…

отряде давно подметили за Ерохиным служилую струнку и сейчас незлобно подначивали.  
- Не, мужики. Нам домой надо. Тятька его так ругался за коня, когда мы в отряд уходили, - за Афанасия серьёзно отвечал Костя Тихой. - Вот доберёмся до дому, отосплюсь за всю нашу бродячую, походную жизнь и подамся в город работать в типографию, напишу хорошую книжку о нас и сам напечатаю…  
За Костей значился писательский грех.

- А Афоня у батьки свово в подручных останется землю, стало быть, ковырять? - кто-то из толпы по-доброму язвил.

- Землю пашут, паря. Ковыряют в другом месте…. А что? и на земле работа кормит. Кому-то и с ней, матушкой, судьба…, - ко-то философски недурно рассуждал.   
В течение дня всех молодых партизан ещё раз уже по одиночке вызывали к дощатому столу, сооружённому наскоро тут же у одинокой кучерявой дички-яблони.  
- Фамилия, имя, отчество?

- Ерохин Афанасий Федотович.

- Из крестьян?

- Сельские мы.

- Семья большая?

- Тятька с мамой, да нас четверо. Я старший. Ещё дед есть.

- На Дальнем Востоке семья давно?

- Дед, кажись, в конце веку с Донца сюда перебрался.

- Шахтёр, дед-то?

- Да нет! От земли тож.

- Грамоту знаешь?

- Читать, писать у батюшки нашего местного учился. Ещё у деда тож, он

грамотей…   
- Не от великих жиров, видать, брюхо-то подвело? - спрашивающий намекал на Афонькину худобу, да на драные холщовые штаны.

- Да, стало быть, не баре.

- В партизанах давно?

- Да уж с весны.

- В Бога веришь?

- Как все…, - уклончиво отвечает Афоня.

- А как все?

- Да, так, с середины на половину. А как нодо?

- В нашу власть верить учись.

- Так, я не против, потому и в партизанах…

- Даём тебе, Ерохин, рекомендацию. Пойдёшь на учёбу и станешь ты у нас боевым красным командиром. Характеристика на тебя с лучшей стороны, как говорится. Происхождение подходящее. Пройдёшь науку, получишь назначение.  
- А тяте кто помогать станет? - Афоня по-детски в неподходящий момент вспомнил об отце.

- Будешь служить хорошо, найдётся и отцу чем помогать. Армия у рабоче-крестьянской власти на особом счету. Обмундирование, довольствие - всё серьезно и по первому разряду. Соглашайся. Пока молодой, здоровый…. Ну? Я записываю?

Это последнее о помощи отцу и решило все Афонькины сомнения. Если отцу помогать можно и будучи бойцом Красной Армии, почему бы и не послужить.  
- Коня и оружие поставить на учёт по месту прибытия на курсы военных специалистов. И в добрый путь курсант Ерохин.

Костя, поджидая Афанасия, держал за повод Рыжего.  
- Всё, мужики, записался я. Раз уж случается так…, - кажется, Афоня чуть-чуть сожалел о принятом решении. Он как-то погрустнел, насупился.  
- Во даёт, деревенщина! Договорились ведь домой подаваться. Ну, давай, вояка, воюй дале. А я, уволь уж, домой поспешу. Работать, - Костя тоже стал грустен, помрачнел.

Назавтра судьба развела их.

Желающих записаться в ряды красноармейцев подобралось, немного-немало, человек пятьдесят. Своим ходом добрались в раздольное, неважнецкое, но людное, растянувшееся у реки под Владивостоком, село, где и расквартировалась учебная военная часть. И началась с тех самых пор для Афанасия Ерохина настоящая военная служба. Год учёбы пролетел как день. Красным командиром Афоня стал в аккурат к своему двадцатилетию. Получил назначение. Перед тем как уехать, на три дня всё-таки вырвался к родителям.  
Стоял ноябрь. Отполыхали леса по дальним склонам. Внизу ещё на южаках догорали кленовые метёлки мелколистника, а вершины уже посерели, потеряли цвет. К холодам дело…. По сибирским календарям давно уж запуржило бы, а здесь у дальневосточной окраины, у моря тепло ещё. Сухо было весь октябрь, лишь в начале ноября нахмурилось небушко, нависло над землёю тяжело и серо. В горах снегом легло, а на долину опрокинуло сито нудного зябкого дождя. Афанасий с утра добрался по железной дороге до станции Кангауз. Там с оказией на подводе поднялся на перевал, куда с другой стороны в вагонетках тросами поднимали уголь, и где всегда можно было встретиться с кем нибудь из долины. Здесь рукой подать до шахтёрского городка. Так и есть, повстречал знакомых молчановских мужиков, те помогли с подводою, и к следующему утру он уже был дома, затратив на всё про всё лишь сутки. Родное сельцо встретило сереньким нависающим над вершинами небом, ветерком со стороны моря, невидимого отсюда из распадка, но в любое время года всегда напоминающего о себе.  
Федот словно ждал Афоню. Ещё на околице приметил чужую подводу, вышел к воротам, присел, покуривая дымком из рукава ветхой поддёвы.   
- Здорово, тятя! - Афанасий легко соскочил с телеги, нетерпеливо кинулся к отцу и обнял Федота крепко во весь обхват.

- Ух, чёртушко, заломал совсем. Здорово, здорово, сынок. А я то голову ломаю, что за люди….

- Да вот, Ерофеич молчановский удружил, пособил до дому добраться, - Афанасий кивнул на мужика поправлявшего упряжь. Тот, словно ожидая кивка, шагнул к Федоту, снял картуз и ловко за руку поздоровался.  
- Здорово, земляк! Вот, думаю, дай сродственников проведаю в ваших краях. Заодно и вояку до родины свезу. Как не удружить. Отцы с одной Руси, дык и нам заодно жить….

- Вот удружил, так удружил! Давай во двор. Распрягай меринка…, - Ерохин старший засуетился, смахивая радостную слезу со щеки.  
- Евдокия! Мать! Встречай гостей! Слышь, что ли?…

Из сеней показалась простоволосая, с большим животом Евдокия. Всплеснула руками, ахнула, полетела к сыну в объятия. Уткнулась лицом в суконное плечо и замерла.

- Ну, будя, будя. И без того слякотно. Прими гостей. На стол чего спроворь. А я баню сготовлю скоро. С дороги-то оно ладно будет…

Федот в углу двора распряг приезжего мерина и увёл в сарай. Евдокия, прильнув к сыну, приглашала гостей в избу.

Часа полтора спустя мужики в одном нижнем курили в предбаннике. Тихо потрескивала горячая печь. Пахло сладко сосновым дымком от тёмных бревенчатых стен. Было сумеречно, тесно и жарко.

- Я ведь на сутки, тятя, всего лишь. Завтра же с Ерофеичем и укачу. Трое суток у меня увольнение. Одни ушли уж на дорогу. Стало быть, двое осталось. Одни дома, одни опять на дорогу….

- Значит, по военному делу сын то уходит, - поддерживает разговор Ерофеич.  
- Да, отрывается листок…. Вот и курить всерьез начал, а ведь до того только баловался, как я вот иногда, - как-то грустно подтверждает Федот.  
- Ну, уж, так и отрывается? Всё образуется, тятя. Вот учёба кончилась. Назначение получил. Устроюсь, напишу, - Афанасий задумчиво дымил самосадом.  
- Что, хорош дымок? Табак в этом годе неплохой во всей округе. Скажи? Не то, что городские ваши папироски, - кряхтит Ерофеич.

- Да уж! Душист табак, да не для публичного пользования, как говорят. Такой у костра в ночном хорошо курится. Лошадей-то много в деревнях, а тять?  
- Не много, но кой у кого есть. Мы вот свою Лысуху ныне летом объездили. А Рыжего жаль. Добрый конёк был….

- Рыжий в полковой конюшне. Здоров, ухожен. Что ему станется. Теперь на оборону служит. Вот седло я своё упустил, да случай помог, мне другое досталось….  
- У тебя, Федотка, теперя большая защита у Советской власти - и конь, и сын…  
Ерофеич шутит, лениво попыхивая самокруткой. Жарко.  
- Да уж, большая подмога…. Отца старика, вот, к себе тяну, всё ж руки ещё одни в хозяйстве. Что я с девками да с мальцом? Да сама, вот на сносях. Угораздило ж напослед…, - Федот смущается. - На тебя, Афоня, теперь надёжа невелика. Военный человек сам на довольствии. Чудно у вас получается, своё седло упустил, друго спроворил. Шибко уж просто…. В охоту служба-то, сынок?

- Да, как сказать? Домой тянет. Заозёрье дедово снится. Ландыши там по весне духмяные в лугу. Кедровники вспоминаются часто. Как ехали сегодня, видел орехов нынче урожайно. Тимошку сорванца во сне часто вижу. А девок нет. Лизавету вот и не узнал. И Варька подросла за год-то….  
- А что им станется? - Федоту интересно о самом Афанасии знать и потому он снова спрашивает: - А назначение далеко ль? Или военный секрет?  
- Да какой там секрет. Пока в Омск направляют. Но я думаю, кавалерию не для Сибири учили. Думаю, в Азию. Советскую власть защищать.  
- Н-да! Далёк путь. Угораздило тебя. Ужели по доброй воле идёшь? - теперь Ерофеич повторил вопрос.

- Вышло так как-то…. Теперь чего уж раздумывать, - Афанасий пыхает цигаркой.  
- Теперя тяни лямку свою военную, коли подвязалси. А как думаешь, войну надолго придержите? Мы народ таёжный, новости запоздалые завсегда получаем.  
- Если учимся военному делу, значит, думаю, силу наращиваем. А сильного не трогают. Боятся.

- То-то и оно, что боятся. Надо бы чтобы уважали…, - Федот заглянул в печь, - Ну, мужики, айда в жаркую, - сбросил исподнее на лавку и, ухая, пригнувшись, шагнул в пыхнувшее зноем смолистое банное пекло. Ерофеич с Афоней бросают окурки в печь. Поочереди проскальзывают следом, устраиваются в темноте рядком.

С минуту сидят тихо. Затем Федот, продолжая разговор, спрашивает:  
- Жениться не надумал? Про дочку Семёна Чипайла знаю….

- Откуда?

- Сорока на хвосте носит…. Как звать – величать?

- Галя. У меня уговор с ней. Завтра будет ждать. Узелок в руку и …айда со мной.  
- Как, без родительского слова?

- С отцом её всё обговорено. А у тебя с мамой … спрошу вот сразу после бани.  
- Без свадьбы?

- А нынче, какие свадьбы? Пролетарские, без попа…, - вмешивается, покряхтывая от жары, Ерофеич.

- Посидеть бы всё равно с родичами надо.

- Не получается, тятя. Нету у меня на то ни времени, ни….   
- Да, худо живём…. Ну, ничего. Окрепнешь, заживёшь. Глядь, кучу детишков нам с Евдокией привезёшь. Внуков….

- Видать, это вы, не дождавшись внуков, приплод сообразили…? - язвит Ерофеич.  
- Да вот, угораздило…, - Федот щедро плещет на каменку водой.  
- У-ух! - все трое невольно приседают к самому полу.

…По утру Афоню снова провожали неспешной крестьянской ватагой, увещевая вслед помнить да не забывать отца, мать. Его самого одолевала грусть, набежавшая в сердце неприятной тревогой. Так и запомнил, оставшихся у калитки серой группой, отца с непокрытой головой, маму, присевшую тихонько на лавочке у забора, сестёр, младшего брата, увязавшегося было бегом за подводой, но потом вдруг передумавшего, да соседей, обычным манером собирающихся по случаю вместе.  
- Небось, теперя не скоро дома побывать придётся, служба? - Ерофеич словно угадывал мысли Афанасия.

- Надо полагать не скоро. Боюсь и загадывать, - Афоня покрепче подтолкнул под бок полу шинели, удобнее устраиваясь в телеге, и замолчал. Только стук кованых колёс, да фырканье усердной справной лошадки ещё долго отдавались мягким эхом в проулке….

2.

- …Вы толковый командир, Афанасий Федотович. Рабоче-крестьянской армии нужны свои образованные и достойные кадры. Мы стоим на пороге больших подвижек в рядах командного состава и нужно отчётливо представлять, что значит сегодня армия для нашего общества. Будем ли мы идти в ногу со временем или будем плестись на поводу у прошлого? Будем переводить армию на моторы или останемся в сёдлах? От этого сегодня зависит судьба Родины. Я думаю, вы понимаете о чём речь? Вы отличный кавалерист, я смотрел ваш послужной список. Но вы же один из первых откликнулись на новшества в связи с созданием моторизованных подразделений. Это похвально. Сегодня наступает время другой армии. Происходящее в Европе об этом говорит, хотя многие руководители не находят ничего угрожающего в этом. Люди же призванные защищать наше государство должны многое предвидеть. Нам необходимо понимать друг друга. Нам, пришедшим из народа, надлежит быть впереди. В этом сила, в этом важность. И ваше новое назначение вы должны рассматривать именно в этом ключе. Вы молоды, талантливы, вам, как говорится, и дело делать. Ознакомитесь с документами и в добрый путь. Родные места, родные люди - это же всё что нужно для хорошей результативной работы. Всего хорошего вам, комбриг Ерохин.

- Спасибо, товарищ командующий, - Афанасий был несколько смущён таким приёмом, но виду не подавал, оставался самим собою. Не вытягивался в струнку, как говорят, но и не расслаблялся. Понимал важность момента для существа дела, и не мог не понимать эту же важность лично для себя.   
Он никогда не задумывался здорово над своей карьерой. Часто шёл просто на поводу своей крестьянской интуиции. Делал то, чего требовало дело и только. Не торопился, но и не отставал. Что уж там, в конце концов, получится, представлял себе слабо, как крестьянин, посеявший хлеб, зачастую сомневается в урожае, поскольку хлеба его во всём зависят от природы, от земли-матушки, от дождя, от солнышка. Конечно же, и от труда его, от усердия, но всё ж больше от случайностей, от удачи. Так и на свою командирскую карьеру смотрел он. Слишком уж от многих случайностей зависела служба, чтобы всерьёз ожидать от неё каких-то личных выгод. Но трудился он по-крестьянски увлечённо, увлекая на то и окружающих. И это не могло оставаться незамеченным. Его усердие знали. В определённое время это сказалось. Его заметили, поощряли в образовании, подталкивали к новому. Таким образом, он, так или иначе, вошёл в определённую группу военачальников, связанных одним делом, одним миропониманием, одним духом, так сказать. Это не было осознанной принадлежностью к группе. Это была рождённая временем, жизнью новая составляющая народа. Насколько она была новой, судить было сложно, поскольку сословие военных старо как мир. Но вот людей, подобных ему, пришедших волею случая и революции от сохи в армию, было много. Даже заметно много. Это понимал и он - сын крестьянина. Пятнадцать лет назад, вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, он простодушно полагал, что зовут его добрые люди охранять своё молодое государство-отечество, как молодого, разумного подходящего хлопца. А кто ж ещё то будет делать эту нужную всем работу - блюсти честь и безопасность своего трудового народа? Это уже чуть-чуть потом сообразит он своим наивным пониманием, что военный военному рознь. И что охранять и оберегать от ворога Родину - это одно, а оберегать безопасность государства - это другое. За эти пятнадцать лет нужно было основательно возмужать и подняться так, чтобы научится правильно понимать то, что всегда определяют одним высокопарным словом - государство. В русском языке так прочно слились значения слов: народ, страна, родина, отчизна, что всё это стали заменять словами Родина, Отчизна с большой буквы или для пущей отчуждённости и мнимого возвышения просто - государство. Так языковое несовершенство да прихоть людей важных и тщеславных из тёплого понятного слова родина сотворили великозначащее помпезное слово государство. И совсем позабылось, что этим же словом зовётся всё великое сонмище люда приказного, чиновного, служащего государю. Государя-то не стало с достопамятных времён, а вот служба осталась, и словцо осталось. Служилым человеком считал себя и Афанасий. Только не государю, а народу, Родине. Тем и объяснял родство словес в языке своём. Но с некоторых пор сообразил, что есть ещё служба этакая заковыристая - народ от него же самого оберегать. Мудрёно больно, однако сообразить можно. Тоже форма, тоже устав, тоже бойцы, командиры, да только с важностью этой службы с некоторых пор нужно было считаться особо. Иначе опростоволосишься в лучшем случае, а в худшем угодишь в немилость и будешь нести всяческую ответственность перед этой службой. Как военный, Афанасий это знал точно. Себе, как умел, объяснял это сложным моментом в истории, необходимостью и считал всю эту катавасию явлением временным и преходящим.

…Перед отъездом позвонил Косте. Договорились встретиться вечером в ресторане. День прошёл в какой-то беготне по большим начальникам. Нужно было уладить все дела с новым назначением в одну из приграничных моторизированных частей, получить кое-что по материальной части на базе флота и если удастся, повидаться с приятелем. Последний раз Афанасий встречался с Костей давно, в тридцатом, когда после госпиталя на пару недель удалось побывать у стариков в деревне. Тихого тогда можно было встретить в коридорах краевого комитета партии, среди руководителей и снабженцев Севморпути. Он волею судьбы каким-то образом оказался важным и незаменимым человеком в партии, которая теперь направляла непременно его на самые ответственные участки Советского хозяйства. Начинал он, правда, с чего и хотел: написал в двадцать четвёртом книжицу стихов, потолкался среди пишущей братии, вступил в ряды компартии и с головой ушёл в служение идее построения социализма. Афанасий мало смыслил в этих самых идеях, но Костя Тихой был его дружком с детства, и значит, дело, которым он занимался, было стоящим. И посидеть вечерком в ресторане с дружком, просто так беспричинно, поговорить о стариках, вспомнить кое-что, разве не маленькое событие в чехарде его солдатских забот? Заехать к родителям, по всей видимости, не получится на этот раз. Отец в письме обязательно обидится. Но что поделаешь: служба. Вот и рядом с домом, а не побываешь. До следующей оказии теперь подождём….   
Бывая чрезвычайно редко у отца в деревне, Афанасий не мог не видеть, что уклад жизни на земле мало в чём изменился. Много воды утекло с тех времён, когда он мало - помалу ушёл из этой социальной ниши. Теперь из своего положения ему сложно было судить об отношениях в среде земледельцев. Но, как трудно живётся в низу общественной пирамиды, он не мог не видеть. Отцовский дом ветшал и, казалось, врастал в землю. Труд на селе оставался тяжёлым и малопродуктивным. Последнее время, правда, заговорили о коллективном труде на земле, но опять-таки ему было сложно судить о достоинствах такого труда. После городских улиц в деревне было тягостно уныло и грустно. Хотя жизнь и здесь шла своим чередом, но она с каждым годом становилась для Афанасия чужой. Свою состоятельность он объяснял большей частью удачей, своим старанием, трудом, наверно упорством. Бывали годы, когда он вытягивался в жилу, чтобы достичь каких-то успехов, чтобы быть на виду, быть в курсе дел, касающихся и профессии, и карьеры. Да, да, карьеры! Он не сразу, но понял, что таланта и усердия маловато для того, чтобы чего-то достичь в профессии, в жизни. Так прямо, в лоб он не признавался себе в том, что в его жизненные позиции пришли некоторые принципы, которые, честно говоря, попахивают мещанством, карьеризмом, наверно угодничеством, чинопочитанием. Ему было чем гордится в своей жизни. Он прошёл основательный путь красного командира. Одно ранение в грудь чего стоит…. Рваный рубец под самой ключицей - память о том, что он никогда не прятался за спинами своих бойцов, память о том, что прошёл свой путь с нуля. Хотя как-то не совсем удобно считать начало своё, отчий дом каким-то ничего не значащим нулём. Что-то неправильное чувствовалось в таком понимании вещей. И, тем не менее, он часто оправдывался в неудачах и промахах тем, что вспоминал в этих случаях малограмотную среду своего начала. Ему бывало при этом стыдно и обидно за то, что мало помогал чем-либо родителям, что не умел объяснять себе того социального различия между своей и отцовской состоятельностью. Дед и отец немало работали, но их труд оказывался таким неблагодарным, что его всегда хватало лишь на то чтобы выживать. За века сложившаяся общественная система никогда не срабатывала в пользу работающих и создающих в ней. Эту систему надумали сломать, изменить. С думой о достойной жизни когда-то, может быть, и его провожали на революцию. И ему наверно повезло. Он вырвался в другое сословие, хотя об этом не принято говорить. Но с некоторых пор он понимал это просто и понятно. Только вот из каких это таких доходов это другое сословие живёт лучше, сытнее, достойнее? Этот вопрос его долгое время не трогал. Так надо! Но потом к этому он стал прибавлять ещё и «так было»! И опять не слишком-то спешил утомлять себя поисками ответов на эти непростые вопросы. Тем и прикрывался - сложно, мол, это всё. Что солдату требуется? Служи исправно. Не в своё дело не лезь. Там без тебя разберутся. А кто за тех, кто внизу остался, позаботится? Говорят: партия, правительство, вождь…. Ну и, слава Богу. Об армии, правда, заботы побольше и получше. Это и неискушённому глазу в первую очередь бросается. Отец, вон, и тот, первое , что заметил, была его суконная шинель, сапоги. Отец, правда, умел как-то объяснять себе это, и даже гордился по всему видно тем, что сын его теперь командир. А вот он сам с некоторых пор не умел объяснять себе многого. Почему его труд ценится больше отцовского? Так надо! Сильного противника удержать можно только силой же. Значит, свою силу нужно укреплять. Значит, на какое-то время нужно чем-то пожертвовать обществу? Или кем-то? Конечно же, тем, кто созидает. Ведь с того, кто ничего не делает, и жертвовать нечего. Так надо! Временно, правда, говорят. Но ведь так и было. Всегда! Даже до того, как жизнь втиснула его, тогда молодого и почти безграмотного хлопца в седло отцовского жеребчика и отправила не в ночное, не на пашню, а в безжалостную драку за достойную жизнь, за лучшую жизнь для всех. Для всех! Но пока получилось только то, что в драке этой случайно выиграл только он один. Он только себе отвоевал местечко в лучшей жизни. А отец со всем семейством по-прежнему остался в той не лучшей жизни. Общественная система складывалась опять не в пользу труда. Это почему-то иногда мучило его. Оправдывался тем, что считал себя просто солдатом, достойным, нужным и добросовестным. Не винтиком, не маленьким человеком, а защитником, воином, командиром. Такого оправдания хватало, правда, не на все сложности со своими сомнениями и противоречиями, но было достаточно, чтобы внешне выглядеть образцово и, как полагается красному командиру, браво. Он понимал, сделать что-либо стоящее, возможно только принимая какие-то правила, ограничения и даже несправедливость, будучи целенаправленно жёстким и требовательным. И, если жизнь утверждала именно его делать это стоящее дело, он просто обязан быть таковым, каким требуют того время, дело и жизнь. И он застёгивал по-солдатски на все пуговицы под подбородок все свои сомнения, и… служил. Армии, родине, отцу своему. Служил, как считал правильным и нужным. Всегда выбрит и подтянут, он отлично выглядел в военной форме. Русая, коротко стриженая голова всегда уверенно сидит на крепких плечах. Приятно поскрипывающий ремень портупеи плотно лежит коричневым глянцем у петлицы с «ромбой». Крепкая рука, строгий профиль. Такими штрихами можно было бы описать всего Афанасия Ерохина, но было что-то такое тонкое и всё-таки приметное в его ладной фигуре, что выдавало в нём мягкость, добродушие, какую-то внутреннюю зыбкость, сомнительность. Иногда ему было совсем неприятно, если это примечали в нём и пользовались, но вообще же ему любо было быть добрым и чистым. Это было от природы, от родины, от мамы с тятей, которым он так мало помогает. А они совсем-то и не в обиде на него за это, а наоборот, последнее своё, силушку свою выкладывают беззаветно, не ожидая никаких благодарностей. Жили бы хорошо с миром, и наград иных не надо. Главное, сильна Родина трудом…. И Афанасий всегда помнил о том, как трудятся его родители и младшие сёстры, повыходившие замуж там, в родной деревне, нарожавшие уже своих детишек. Там же братуха Тимоша должно быть в армию собирается, грамотей и непоседа. И самый младший, последыш Ильюша, которого и не знает, как следует, должно быть, гоняет оголец, как бывало и он сам когда-то, табунок лошадей в ночное. Вот потому-то и должна быть сильной армия, в которой ему случилось служить и быть командиром. Потому-то он в ней, чтоб спокойны было те, которых он оставил, жизнь которых оберегать теперь должен от врага коварного, ненасытного. Так его учили, так он думал сам. И чем совершеннее будет армия, тем спокойнее будет труд, тем счастливее будет жизнь. А совершеннее армия будет тогда, когда всё лучшее, всё современное люди отдадут для армии. Построят современные заводы, создадут новое оружие, новые танки. Это же так понятно и ясно, как день. Но, как крестьянин, Ерохин не мог не понимать, что и такой же важностью остаётся растить хлеб, рожать детишек. Так что же важнее? Как военному, была ближе мысль об армии, но как крестьянскому сыну, также была близка дума о земле. «Вот тут-то и будет драка», - думалось часто, натужно и до одури требовательно. Военноначальники, люди служилые, профессионалы, понимающие важность укрепления армии, тянут на себя и людской труд и людское доверие, а вместе с этим и власть. И когда значительность этой власти поднимается высоко, служба таких людей вступает в противоречие со службой других. Это порождает, несомненно, противоборство. Всё то, что зовётся государством, пронизано насквозь таким противоборством. Но побеждает всегда правый, потому что за ним сила правды и справедливости. Так учат наши мудрецы. Афанасий каким-то образом догадывался об абсурдности такого утверждения, но и только. Получая назначение в новую часть, он понимал, что невольно оказывается на стороне тех, кто сегодня призывает крепить армию, реформировать её, не считаясь ни с какими затратами и трудностью, тех, кто вольно или не вольно предвидят близкую войну. А людям так хочется мира и довольства. Только - только позаживали раны гражданской. Жить бы да жить. Эх, жалко народ. Такой народ заслужил мира и спокойствия. И такой народ легко настроить против всех, кто, так или иначе, напоминает о войне, о её неотвратимости, о необходимости вооружаться и быть сильнее врага. Да, в тревожное и смутное время пошёл ты во солдаты, Афоня Ерохин….

3.

Костя опаздывал, и Афанасий, оглядываясь на вход, сидел за столиком один. Заказал по всей форме: на первое щи, картофель под бифштекс, хлеба побольше, сто грамм водки.

- Проголодался, знаете ли, - он словно оправдывался перед официантом за чисто солдатский выбор, но тот безразлично записал всё и через несколько минут подал на стол.

В зале привокзального ресторана было людно. Много военных. Стоял облаком папиросный дым, приглушенный говор, позвякивание посуды. Постоянных завсегдатаев в таких ресторанах мало, больше народ проезжающий, командировочный, потому не задерживающийся, не чревоугодничающий. Афанасию доводится часто бывать в роли проезжающего, но рестораны он не любил. Готовят скверно, дорого, незнакомая публика всегда отрицательно действует на аппетит людей от природы стеснительных и простых. Удовольствия от посещения ресторанов у Ерохина никогда не бывало. Случались и шумные возлияния в кругу офицеров, но в таком случае Афанасий лишь поддерживал компанию, и всегда после чувствовал себя скверно от излишне выпитого и выкуренного. Обедать или ужинать в ресторане военному приходится лишь в дороге или отдавая дань заведенной когда-то очень давно моде. Как же, офицерское сословие завсегда в ресторациях-с при случае…. Ерохин не любил этих случаев. Вот моду на бритую голову отчего-то поддерживал. Ещё любил обедать в части, в солдатской столовой. Зайдёт уже после того как рядовой состав отобедает, сядет тихо в углу, чуть расслабившись и вытянув под столом ноги. «Товарищ командир…. Что же вы?… сказали бы, я бы подал, как положено…», - засуетится дневальный. А он молча подождет, когда солдат подаст на стол и будет с удовольствием уплетать макароны с тушёнкой, прибавляя к ним хороший кусок хлеба. Он любил простой чёрный хлеб в любом виде. Свежий, ещё горячий с лаковой коркой, как у мамы дома прямо из печи, духовитый и хрустящий, или уже черствеющий, твёрдый и тяжёлый. А ещё, сухари из него же: коричневые, с громким хрустом, в меру прокалённые в духовке. Съест подчистую обед и задержится чуть-чуть. Хорошо! Тихо. Рядом шушукаются дневальный с поваром. Прикроет глаза, словно задремлет на минуту- другую. Потом резво встанет, поправит ремни-пряжечки на своей командирской амуниции, скажет простое спасибо дневальному с поваром и так же тихо выйдет.

- …Афоня, друг! Дай я погляжу на тебя. Ну, командир! Маршал чисто. Я так рад, дружище, нашей встрече! - Костя уже был чуточку пьян и развязен. Полез обниматься, но Афанасию было приятно и хорошо от этого. У него защемило сердце, когда он ухватил Костю в дружеские объятия.  
- Здорово, Тихоня! Сколько лет-то не видались. Дай, вспомню…. В тридцатом, кажись. Шесть лет…. Вот время, а? Летит! Тебя и не узнать. В толпе бы, где увидел, не узнал бы, убей, не узнал бы.

- И ты, командир, изменился здорово. Я долго высматриваю тут. Стриженую голову, еле-еле узнал. Вот познакомься…. Вика. Моя… - Костя представил свою спутницу и, подыскивая нужное слово, запнулся, наконец, нашёлся: - …сотрудница. А это, Викуля, мой дружок закадычный и сотоварищ юности Афоня Ерохин. Не за горами, можно сказать, товарищ генерал. Я прав, командир? Ты не в обиде, что я тебя просто Афоней представляю?   
- Да ладно ты…, - Афанасий засмущался и просто предложил садится за его столик.  
Вика подала игриво ладошку, постреливая по сторонам крашеным глазом, поводя жеманно плечами.

- Мальчики, мы сегодня гуляем за вашу встречу. Мне очень приятно знакомство с твоим другом, Костик, - она была тоже навеселе.  
- Именно с моим! А потому и гуляем только мы. Я и Афоня! Остальные свободны, - Костя демонстративно отодвинулся от своей спутницы ближе к Ерохину.   
В углу тихо зазвучал знавший виды ресторанный рояль. В окна из-за тяжёлых портьер заглядывал, опускающийся на город, вечер.  
- Афоня, не обращай на неё внимания, гуляем только мы.   
Заказали солидный ужин, хотя Афанасий и скрывал по этому поводу большую досаду.

- Пить будем водку? - официант обращался к трезвому Ерохину, совершенно игнорируя его выпившего товарища с подружкой.

- Да, да, немного водки, пожалуй.

- Ну, нет! Много водки и… шампанского! Обязательно! - Костя гнул своё.  
- Даме шампанское, нам водки, - Афанасий согласно кивнул официанту.  
Немного погодя подали выпивку, закуски. Костя явно торопил события, полез сам разливать, что-то говорил. Быстро выпил и совсем через минуту охмелел и как-то притих над столом. Закурили. Вика пила шампанское небрежно, маленькими глотками, но выпила весь бокал и болтала всякую чепуху, ни к кому не обращаясь, и вскоре была приглашена танцевать молодцеватым военным из-за соседнего столика. Мельком Афанасий припомнил, что встречал этого командира в штабе округа.   
- Чума ходячая, - Костя проводил её язвительным шепотом.

- Ты чем-то не доволен?

- Да нет, на этот раз очень даже доволен. Посидим минут пять без \*\*\*\*ей….   
- Так это…? А я думал…, - Афанасий выразительно показал большой палец.  
- Это хорошо, что ты тоже не разучился думать. Вот и я иной раз думаю. А вообще больше пью…. Это наверно очень плохо, когда человек меньше думает? Как, Афоня? Ты такой большой теперь, важный….  
- Да и ты, я вижу, не плохо живёшь? Работаешь? Где? Дома давно бывал?  
- Замотался совсем…. На стариков времени нет. Когда уж невмоготу тоска навалит, убегаю иногда в нашу глушь. Помогает, но ненадолго. Горькой, вот, спасаюсь…, - Костя пощёлкал пальцем по водочной бутылке.  
- Не ладится что-то в жизни? - попробовал сочувствовать Афанасий.  
- Какая там жизнь…. Сплошная борьба…. Как там стихами: «…и вечный бой, покой нам только снится…».

Костя пьяно и громко принялся декламировать, но осёкся и замолчал.  
- Что и на гражданке бой?

- На гражданке, дружище, самый, что ни на есть, бой…. Давай за тебя, Афоня, выпьем. За Красную Армию! Ты и я, за красных…. Вздрогнули, командир!  
Пил Костя действительно лихо. Опрокидывал водку в рот одним махом и совсем ничего не ел.

- Ты бы закусывал….

- Тогда зачем пить? Ведь пьют, чтобы добровольно сойти с ума. И чем быстрее, тем лучше….

- Ты так и не сказал, чем сейчас занимаешься?

- На север снабжение…. Организация, навигация. Флот, порт назначения…. Норд-ост сплошной, одним словом. Чёрт бы всё это побрал…. Ты лучше о себе расскажи?

- В армии свои порядки, свои проблемы, как и в каждой системе. Может быть тебе систему надо сменить, Костя? Уйти на другую работу….   
- Ты никак жалеть меня надумал? Ты это брось! Думаешь, система будет заботиться обо всех? Чёрта с два! Ты слышал о голодухе в тридцать втором году? И это где-то там, рядом со столицами…. Что уж говорить о наших краях. Колонии, только советские…. Ты бывал на севере? Не приходилось? Так вот, из тех богатств, что собираемся качать оттуда, самому Северу и сотой части не увидать. Система! Всё улетит во чрево величия и могущества…. Я знаю, об этом нельзя говорить. О многом сейчас нельзя говорить. Я, Афоня, иногда жалею о том, что полез в грамоту, к свету. Видеть стал больше, потому и боли на сердце тоже больше. Мы изобрели систему, и не лучшую, Афоня…. Наша система построена на кровушке, не меньшей, поверь мне, чем её пролилось в царское время. Она сожрёт нас же, с потрохами….

Афанасий хмелел и почему-то начинал злиться. Может быть потому, что в таком людном, пусть даже и шумном месте, о таком не стоило бы так…. Он оглянулся вокруг. Ресторан жил своими заботами. Над столами витал папиросный дым, легко пахло едой и спиртным, приглушённый всеобщий говор сливался в однообразный отупляющий гул. Несколько пар танцевали. Среди них мелькало лицо Костиной подружки.

- Система, говоришь? Пусть даже и система! Я принимаю её такой, какой она состоялась. Эта система вытащила меня, да и тебя, кстати тоже, из забитой таёжной глуши к жизни, к настоящей жизни. Она свела меня с большими людьми, знающими жизнь, она дала мне возможность учиться у этих людей, она показала моё достойное место защищать себя, стариков своих, и, как ты говоришь, систему своих отношений с достойными людьми, - Афанасий тяжело опустил руку на стол, словно ставил печать под сказанным. - И ещё, защищать я буду на смерть. Ибо в другой системе себя не мыслю….  
- То-то и оно, не мыслишь…. Весь круг твоих помышлений ограничен системой. Система тебя вытащила, система свела, система дала, показала тебе твоё место, твой шесток…. А, ты? Что сделал ты сам? Что произвёл к свету твой серый сгусток в черепе? Или он настолько сер, что не понимает собственного убожества, способного только защищать…? Кидаться в драку на любого за шесток, за то лишь, что кто-то когда-то вытащил тебя из глуши? А может быть и не стоило для этого и вытаскивать - то? Кинуться в драку за то, чтобы поровну поделить наработанное предыдущими поколениями, увязнуть по уши в этой чехарде событий, но так и не найти формулы справедливости и, наконец, взяться оголтело защищать состоявшуюся форму вечного дележа - это ли то великое, ради которого стоит так пыжиться и ненавидеть других? Вспомни своего отца, жалеющего лошадь, когда только что нарождающаяся наша система тащила нас в драку…. Он жалел коня, жалел, что не уберёг тебя от соблазна делить чужое. Он был сто крат прав, твой отец, великий святой землероб! Вот он своим умом живёт и служит земле, не системе, вечному служит, навсегда…. Хотя, вру, и его сегодня система в коллективный труд загоняет, под корень рубит. Неплохое казалось бы дело - колхоз? Да вот сомнение, что простому человеку с того? Кто справедливо делить будет? Сумеет ли? Хилому да ледачему может быть и интересно в колхозе. А вот отцу моему общее малоинтересно. Работает он и без того, дай Бог каждому. Наработанное делит без советчиков, сам управляется. Вот у чиновного человека известно, какой интерес в этом деле. Как проще с крестьянина хлеб востребовать - когда войной на него идти или когда тот сам хлебушек в общий амбар снесёт? Понятное дело, когда сам. Для продразверстки, сколько силы надо? Одних винтовок на целую армию требуется. Единоличник - крестьянин непослушный. Мороки с ним много. Упрашивай, уламывай…. Цену свою за хлеб просит. Для чиновника единоличный крестьянин - заноза большая. Вот и придумали колхозы! Сами сеют, сами жнут, сами и в общий котёл свезут. Организация! А из общего кто же первый сунется брать? Стыдливый да совестливый с голоду околеет, не дотронется первый, хоть и работал побольше прочих. Стало быть, уже нет общей пользы в таком хозяйстве. А кому же интерес? Говорят, государству. Значит бесстыжее оно, если первое к общественному приступает…. У него все и научатся. Потихоньку переймут науку из общественного первым тянуть. Велико ли дело…? Я плохо об этом теперь знаю. Стихи вот перестал писать…. Может быть и не стоило из глуши вытаскивать…? Вот уляжется помаленьку драка, поугомонится народ и… развалится система, как всё временное, пролётное. А земля останется! А мы облетим, как пустоцвет…. И служба наша никому ненужной окажется, и защищать тебе некого будет. Другая система придёт, а в ней, как ты только что сам признался, мы себя не мыслим. Придут другие, сомнут к чёртовой бабушке нашу с тобой философию…. Или обособимся в новое сословие «людопасов», кажется, у Герцена такое словечко встречал. Ведь наша система только и даёт нам пока это. Нас кормят за то, что мы пасём их…. Нас вытащили для того, чтобы мы пасли остальных…. Но ведь это быстро понимается там внизу, и разве не против этого была революция? Мы уже забываем, как живут чуть-чуть ниже нас. Нам уже хочется попировать. А как это легко делать на чужом горбу…. Пировать, охранять и вести…. А ты у них… спросил, куда они хотят идти-то? Да что с тобой говорит…. Ты просто солдафон. Ведут другие…. А ты будешь просто цепным псом охранять этот путь. А я враг теперь. Система меня придавит, это факт. Ей не нужны слюнтяи. Ты так мало знаешь, Афоня…. Ты сейчас меня за врага считаешь. А я сам себе, сомневающийся одиночка и враг. Я издержка системы. Таких, как я, нельзя пускать в храм образования. Таким место в глуши, у сохи, при барине, который знает что и как…. Я слабый человечишка. И система уберёт меня. Она побаивается таких. Вот только я ещё не совсем понял, почему это она боится…. И наверно не пойму, не успею сообразить….

Костя был совсем пьян, папироса в руке давно погасла, и он всё пытался прикурить. Афанасий мало понимал из того, что так отчаянно ему втолковывал его прежний дружок. Хмель и ему давно ударил в голову. На время стихла музыка, и вернулись Вика с кавалером. Молодец галантно раскланялся и ушёл к своему столику. Афанасий опять вспомнил, что уже встречал его где-то и собирался заговорить, но зазвучал вальс и Вика потянула за руку танцевать. Она всё хихикала и прижималась ему в плечо. Афанасий хмелел и мало понимал её. В ресторане стало шумно. До него одно лишь явно доходило, что из закадычного дружка, из деревенского сверстника Костя превратился в его врага. И этот враг сейчас что-то правильно говорит, даже слишком правильно, чтобы его можно было понимать. Его слова ослабляли сознание, вносили ядовитое сомнение во всё. А ему, красному командиру, нельзя быть слабаком, слюнтяем. У него приказ главкома, приказ Родины…. А этот психопат хочет всё это унизить, выкрасить в чёрное. В святое дело бросить безверие…. Да он просто больной человек. Пьянь….  
- Ты стал чужим, Костя. Я не понимаю тебя. Знаешь, когда мы уходили из дому в двадцать втором, мне дед говорил вернуться к земле, если туго придётся. Может быть он прав?…

- Нет, Афоня. Это сказать просто - вернись. А вот сделать это как? Теперь уж не откажешь себе в сытном куске. Ты когда бывал дома? Ты видел, как они живут? Они остались всё в том же двадцать втором…. Половина изб курная по-прежнему. А у меня теперь как-никак работа, связи…. Да, да и связи! Ведь я тоже пока в системе. Шлюху, вот, себе позволяю…. И вообще, жизнь сложнее, чем её объясняют нам наши вожди и товарищи. И сам себе не объяснишь. Оттого и муторно, чехарда в душе…. Ты, вероятно, мнишь из себя действительно генерала? Блажь это всё, Афоня. Мы крестьянские дети…. Это только на миг системе понадобились единицы из нас, чтобы использовать на грязной работе. А лишних она все равно оставит внизу сирыми и голодными. И, что хуже всего, недовольными…. Я не из них. Но мне больно, Афоня, все равно….

- А ты думал, что после революционной заварухи всё сразу образуется и наступит рай? За это ещё не раз драться придётся, работать много и служить…. Я так понимаю. По твоему выходит, я зря в тридцатом в Азии под басмаческой пулей… новую жизнь…?

- А такая ли она новая, если силой…?Драться? А теперь-то с кем, позвольте узнать? Уж, не с такими ли как я слабаками? Но так можно дойти до драки с каждым мало-мальски думающим, чуть-чуть иначе видящим мир…. Это глупо и страшно. Вот они своё опять вернут, - Костя кивнул на Вику. - Знаешь, она из местной бывшей знати, что на распыл пошла, под корень…. Кое кто выжил, как она в приюте. Дура и \*\*\*\*ь.… Замуж всё норовит за вояку, как ты вот чтоб с ромбой в петлице был. Сама мне говорила. Это как раз для неё, другого ведь ничего не умеет. Мы вот с тобой от дедов пахать учились, да изменили науке той. Грех…. Её тоже чему-то учили, да мы помешали с революцией. И у неё теперь грех случился. Так-то…, глупо всё, мой грех, её грех…. Я кормлю от случая к случаю её. Цветы, конфеты…. А она меня за недоумка держит. Отец у неё и в прежние времена ходил в чиновниках, и нынешняя власть не без них…. Они вернутся…. За ними история, века, сословие! А мы прах или уже, или ещё? Я пьян…, Афоня, всё….   
  
 …Из ресторана уходили поздно и шумно. Тихого окончательно развезло, и Афанасий с Викой тащили его силком всю дорогу. Тёмная июльская ночь висела над домами, чуть отступая от огней катеров и лодок в бухте, но во всю властвуя над подступившими, казалось прямо к воде, вершинами на другом берегу. В воздухе витал сладкий запах дикой сирени, с моря легко тянуло духом порта. По всему Вика знала, где Костя снимал квартиру, потому как уверенно привела их по прежней Светланской с обратной стороны домов в тихий двор. По-хозяйски распоряжалась, пока они искали ключи в Костиных карманах, пока втаскивали его с трудом на второй этаж. Квартира была настоящей, меблированной и достойной холостяка. Костю, не раздевая, свалили в кресло. Он тут же захрапел. Афанасий заглянул во вторую комнату, присвистнул при виде неубранной постели, беспорядка и кучи, сваленных в углу, книг. Присел на кровать, пьяно повалился и закрыл глаза. «Дерьмо, надо же так упиться…». Следом вошла Вика, хихикая, присела тут же на полу, полезла тёплыми руками ему в галифе.  
- Что же мы тут имеем, солдатик…? Оля-ля! Неплохо, совсем неплохо…, - замурлыкала пьяно и, постанывая, уселась верхом на не соображающего Ерохина.   
«Что это? Зачем…? Чужая женщина…. Чужая квартира…. Там в другой комнате Костя…», - мысли завертелись в голове, с трудом прорываясь сквозь хмель в его сознание. Но вскоре и это выскочило из головы. Маленькая вертлявая женщина на нём всё более и более заводила его. И освобождаясь-таки из-под её окончательной власти, он перевернулся, смял её под себя и овладел, проникая глубоко и резко. Она затихла как-то сразу, так и оставалась до конца с откинутой головой и закрытыми глазами. Заканчивая, он громко дышал, напрягался, а потом, ослабев разом, грубо всем телом повалился на неё. И уже не слышал, как Вика, с трудом высвободившись из-под него, проговорила неприязненно с отвращением:

- Мужлан неотёсанный….

Он уже спал, убитый усталостью и алкоголем.

…Виделось зимнее бело-синее поле, дальние родные места с туманными по горизонту вершинами. Где-то там, вдали на взгорке манила оконцами милая родительская хата, почему-то одинокая, сирая, и пустая, словно единственная в округе. Афанасий напрямки рванулся туда, увяз в сугробе. Барахтался, цеплялся руками за корявую корку снежного наста, а, выбравшись, что было мочи, бежал, спотыкаясь о гулкие каменья озябшего поля. Но отцовский дом всё уходил и уходил за холмы, удаляясь, и не было сил продолжить путь к нему. Казалось, вот последний сугроб и за ним логом побежит дорожка к дому, и мелькнёт у ворот мамино лицо из-под козырька мягкой и тёплой её ладони. Но за холмом был ещё холм, и не было уж сил поднимать отяжелевшие в грубых армейских обмотках ноги. Вдруг взору его открылось нескончаемая долина, залитая невидимым высоким солнцем. Куда-то исчез горизонт с желанным домиком, отступили далеко, далеко зимние вершины, и стало светло и жарко. Повсюду, куда доставал взор, колыхалось жёлтое, словно мягкая шкура неведомого зверя, хлебное поле. Цвет его был так ярок и чуден, что, казалось, и не цвет это вовсе, а что-то ласковое и нежное, проникающее в глаза, под кожу, в голову. Приходило чувство сладкого умиротворения, какой-то беспощадной истомы. Хотелось упасть усталым телом в это жёлтое притягивающее месиво и не дышать, не думать, не шевелиться. Он протянул руку к едва колеблющимся колосьям, но тут же отдёрнул её…. Едва пальцы коснулись стебля, как тут же возник и вырос на глазах большой кроваво-яркий куст с причудливой резной листвою, покрывающей стебли, словно льющимися узорами неведомой пульсирующей влаги. Вид этого растения завораживал, заставил затаить дыхание, принёс невысказанное чувство тревоги. Защемило тонко и противно под сердцем, в голову ворвался туман, пред взором всё стало путаться и перемешиваться. Он бросился бежать. Оглянулся и обомлел…. Там, где он ступал, вырастал, словно взрывался, кровавый кустик и пузырились чудною резьбою листья. Словно брызгами крови покрывалась жёлтая нива. Он онемел. Чувство непонимания и страха заполонили душу. Сердце трепыхалось в рёбрах, и не было сил успокоить его. Это красное на жёлтом было таким противоестественным, таким несопоставимым с тем, что он когда-либо встречал или видел в своей жизни. И он испугался своего неведения, своего непонимания. Мысль беспомощно металась в поисках объяснения невиданной картины, щемило сердце. Невидимое высокое солнце нещадно палило, становилось нестерпимо жарко. И он заплакал навзрыд, громко, беспомощно, как ребёнок.

- Сынок! - слышится голос отца. Афанасий сквозь слёзы пытается увидеть говорившего ему так тепло и заботливо.

- Ладно уж, Афонюшка, чего Рыжего - то жалеть. Ноне же запрягай. Отаву из устья Иванова ключа вывезти треба. Хоть невелика копна, да в зиму всё сгодится. Поспешай сынок, хорошо бы до Покрова поспеть, чтоб по снегам потом не вязнуть.

- Лето ведь, тять…. Какие снега-то? - сквозь слёзы Афанасий разговаривает с отцом.  
- Ты что ж это, неслух, перечишь. Вишь завёл себе таку моду. Что ж я тебе зря сапоги новые справил? Гля как блестят…. Чисто енерал, да и только. Давай, давай солдатик, чего уж сапоги жалеть. Сено-то оно поважней дело будет, - голос отца строг и напряжен.

Афанасий видит его открытое чистое лицо, добрый синий глаз, морщины на лбу с глубокими залысинами. Худой небритый подбородок и вздёрнутый с проседью ржаной ус. Он по-мальчишески пытается тронуть рукой отца за эти усы.  
- Откуда у тебя это, тятя, а? Ты теперь как наш комэска, - слёзы отпускают его, и теперь он улыбается, вглядываясь в лицо напротив. Но вдруг это совсем не отец, а действительно комэска Пряхин.

- Как стоишь, боец Ерохин? Что за ухмылочки в строю. До бригадных командиров тебе ещё далековато, я думаю. А потому попрошу дисциплину блюсти. И давай без пререканиев с родителем.   
Пряхин набирает в грудь много-много воздуха и вдруг резко выдыхает шипяще с посвистом: - Эскадро-он!

Но голоса его уже не слышно, а только какой-то хрип и шелест. Ах, это шелестит кровавый куст, листья на котором вдруг стали тугими и звонкими, словно из жести. Он трогает рукой шелестящий куст. Раздаётся неприятный звук, руку словно обжигает. Он видит снова кровь, кровавый куст и жёлтое поле. Слёзы снова подступают к горлу, давят. Он мечется, хватается за грудь, стонет и просыпается… от какого-то стука. Это падает портсигар с табуретки. Он сам рукою во сне сбрасывает его на пол.

…Утром Костя уходил каким-то специальным рейсом на Камчатку. Афанасий с похмелья побаливал головой, и провожать не вызвался. В глаза его подружке не глядел. Простился сухо и просто. Был нехороший осадок на сердце после вчерашнего пьяного разговора. Но военная закваска всегда помогала Ерохину справляться с собою. Вот и сегодня он запросто отмахнётся от дурных мыслей упоминанием о своём новом назначении и вернётся поскорей в гостиницу. Гладко выскоблит подбородок, ополоснётся холодной водой. Соберёт немудрёный походный свой скарб, по-солдатски всегда готовый в дорогу. Уточнит время и место выезда, и…в путь. Просто и ясно. Чистый подворотничок, свежие портянки в почти зеркальных сапогах, уверенный кивок ясной головы к солидной новенькой «ромбе» в петлице. Что ещё нужно, для того чтобы чувствовать себя человеком? Костя человек гражданский, потому и позволяет себе лишнее. А впрочем, это его дело. Ему же не пристало расслабляться и сомневаться в чём - либо. У него на плечах войсковая часть, Родина…. Высокопарно? Но это ведь так, чёрт возьми! У Кости бухгалтерия какая-то, стишки в партизанской сумке тогда в юности, а теперь какое-то снабжение флота. И чехарда в голове. Хотя…. Нет, нет! Никаких сомнений!

Через два часа Ерохин был уже в пути. Владивосток остался позади как-то сразу, лишь проехали Вторую речку. Шли двумя полуторками. В бригаду, если все будет хорошо, должны были к темноте добраться.  
О гибели Кости он узнает лишь год спустя. Смерть его была несколько загадочной, но чего не случается на море с захудалым ботом, на котором, якобы, Тихой с товарищами с каким-то провиантом вышли в одну из дальних бухт у мыса Провидения. Случилось это вскоре после их встречи…. Узнав об этом, Афанасий почувствует какую-то внутреннюю неловкость перед памятью о своём дружке. И только. Какой либо связи последних настроений Кости и его нелепой гибели Ерохин не видел. Свою пьяную выходку с Викой Афанасий помнил плохо и сваливал всё на хмель…

4.

…На границе участились провокации. Отчасти они несомненно были вызваны беспрестанными учениями в частях Особой Красной Дальневосточной Армии, которую год назад попытались переименовать просто в военный округ, но в связи с обострившейся обстановкой встала необходимость вернуть округу статус особой армии.  
- «Не стоило бы нам так грохотать своими танками. Ну, поставили на вооружение хорошую машину…. Молодцы! Нет, давай побряцаем…», - скверно думалось комбригу, - «А сколько проверок с верху, сколько шуму с показом боевой подготовки…».

Пошёл второй год службы Ерохина в механизированной бригаде. Служилось в охотку. Забот хоть отбавляй. Бригадное хозяйство немаленькое, укомплектовано по всем нормам военной науки. Танковый полк, три мотострелковых батальона, по одному дивизиону артиллеристов и миномётчиков, не считая подразделений обеспечения и тыла бригады.  
Всё это располагалось меж пологих лесистых холмов на склонах широкого распадка, закрытого с севера плоской, почти квадратной вершиной. Зимой над вершиной гуляли ветры, опускаясь временами и сюда вниз, разыгрываясь вьюгой, наметая сугробы. И тогда отдалённость посёлка ещё более подчёркивалась завалами, сбитого под наст, тяжёлого снега. В такие дни всей бригадой выходили на очистку территории. В размеренность и простоту воинских обязанностей приходила непредвиденная активность, заставляющая взбодриться и воспрянуть силами. Так в повседневную и наскучившую обстановку вдруг врывается знакомый, но редкий приятель или подружка и белозубой улыбкой своей, энергией и статью заставляет по-другому почувствовать время, жизнь и работу…. А летом здесь всё было в зелени: и грива леса вдоль вершины, и заросли таволги по отлогим склонам распадка, и убегающая с одной стороны в речную пойму чистая ровная низменность. В кронах весёлых берёз, высаженных при основании гарнизона вдоль деревянных казарм, резвился лёгкий ветерок, прилетающий речной долиной с юга от берегов, чуть ощущаемого здесь, моря. Ровные ухоженные, отбитые белёным кирпичом, дорожки от штаба разбегались по части во все стороны, обрываясь справа непроходимым ухабистым бездорожьем испытательного полигона, а по левому краю упираясь в заграждения и охрану склада боеприпасов, большей частью спрятанного под землёй. И во всём этом никогда не было пустоты, ненужности. Всё было к месту и ко времени. Даже по осени в ярких красках вершины и склонов всегда присутствовала какая-то скромная уверенность, спокойствие, неспешная деловитость. И это было вполне объяснимо – там, в сиреневых туманах за далью холмистого горизонта, была… граница.

…В группе приехавших ранним утром с проверкою командиров Афанасий сразу увидел женщину. Это такая редкость - женщина на ученьях. Что-то знакомое показалось в её фигуре, и пока он козырял, и докладывал по форме старшему командиру из штаба армии, краем глаза всё-таки разглядел её и, ошарашенный, чуть было не сбился с доклада. Это была Вика! Сразу вспомнился вечер в ресторане, Костя и…. Он лихорадочно искал связь между своей службой, военной проверкой и этой женщиной. Здороваясь поочерёдно за руку со всеми из группы проверяющих, Афанасий с несвойственной ему дрожью ожидал встречи с ней. Но в самый последний момент кто-то осторожно увёл женщину из группы военных….

Проверку начали с гарнизона. Ходили по казармам. Интересовались бытом танкистов. Побывали на дивизионной кухне. Заглядывали в баню. Бригада была в этом показательной. Ерохин ценил своего зама «по тылу», знал, что толковый хозяйственник в армии - половина всех успехов, и военных в том числе. Афанасий хорошо помнил своё партизанское начало, когда умываться нужно было у речки, а можно было и не умываться вовсе, когда заедала вошь, а с голоду часто урчал живот….

Несколько раз Ерохин видел Вику, присутствующую здесь же среди гостей, но каким-то образом всегда исчезающую, как только он пытался приблизиться.  
- «Чертовщина какая-то…. Она узнала меня и избегает…», - думалось мимоходом.   
До обеда танковый полк, гордость и слава бригады, снялся на показательные стрельбы. Афанасий на головной машине ушёл вперёд и только на полигоне присоединился к командирам, освоившим уже к этому времени наблюдательный пункт. Среди офицеров Вики не было….

- «Ну, конечно, не хватало бы ещё бабу на НП…», - подумалось зло и неприятно.  
 …К концу дня в бригадном клубе по случаю успешных «смотрин» состоялся большой вечер. После всех официальных речей и докладов - танцы. Традиционно на такие редкие праздники в часть из ближнего посёлка приглашались девчонки, смешливой разноцветной стайкой прилетающие обязательно. Прихорашивалась стриженая ребятня рядового состава. Опыт доводки до глянца кирзачей в такие праздники особенно ценился в казармах. Клубное хозяйство приводилось в полную боевую готовность. Жёны командиров готовили музыку, как-то ухитрялись неплохо украсить к такому случаю стены клуба, в обычные дни служившего местом учёбы и политзанятий.  
-…Неплохо живёшь, комбриг. Клуб, девочки…, - подшучивал кто-то из штабников.  
- Готовится к поощрению по округу….

- Н-да! Самурай им поощреньице вот-вот сготовит….

Ерохин понял, что сказавший это командир наверняка знал больше. Но сейчас под приподнятое настроение в голове была другая мысль.  
- «Где же она…? У кого спросить? Комиссар! Этот должен знать…».  
В разгар танцев отыскал глазами своего заместителя. Подошёл, извинившись, увёл его от жены в сторону.

- Послушай, со штабными была …краля, такая…. Не знаешь?

- Виктория Фёдоровна?

- Ты что, её знаешь…?

- Да нет, сегодня представлен, так сказать.

- Ну, и…?

- Ты ж, командир, первый ручкался с начальством…?

- С ней нет….

- А откуда же ты о ней знаешь?

- Ладно, тебе…, куда, откуда. Где она?

- Да ты что, товарищ командир? Вон она с женщинами. Давно тут.  
Присмотревшись, Афанасий действительно увидел принаряженную Вику среди командирских жён.

- «Наваждение какое-то…. Почему я не видел её?».

Сердце почему-то забилось часто и гулко, когда увидел, что и Виктория смотрит в его сторону.

- Она каким-то секретарём там… у них наверху значится. И ещё по совместительству женой вон того бравого молодца, - громким шёпотом, шутя, докладывал замполит.

- Варенцова?

- Да, одного из замов начштаба.

- Дела-а….

- Командир, ты знаком с ней? - догадался комиссар.

- Кажется…, - неопределённо отмахнулся Афанасий.

И вот она опять пропала из поля зрения. Ерохин обеспокоено вертел головой.  
-…Товарищ командир, а вы что же не танцуете?

Афанасий, как нашкодивший мальчишка, съёжился и обернулся. Она! Смеющийся дерзкий рот, красивые влажные губы и глаза…. Зелёные, близкие, но в глубине своей настороженные.

- Я…, вы, ты? - он, совсем растерявшись, не знал, куда девать глаза.  
Машинально схватил протянутую ему руку, и с силой зажал её в своих ладонях. Тут же наклонился к ней близко ртом в маленькое тёплое ухо и глухо со стоном выдохнул:

- Прости….

Говорил это не ей, а больше себе, и только теперь понимал, что весь этот год бессознательно носил это среди армейской суеты в глубине души, в мозгу. Сказал и почувствовал, как взорвалось в рёбрах сердце, как ударила в голову кровь, как загорелись ладони, сжимавшие её руку. А она в ответ прошептала:

- Больно….

Но руку не отняла, задрожала вся, зарделась, как девчонка.  
- «С чего это я… так? Заскучал должно по теплу, по…. Надо взять себя в руки. Мальчишка!».

Афанасию думалось бессвязно, впустую. Голова кружилась от близости этой женщины, и он, осмелев, всё заглядывал и заглядывал в её глаза.  
Потом они весь вечер танцевали, как во сне, не замечая, что привлекают внимание всего клуба. Танцевали молча, тихо и близко, так и не сказав, друг другу больше ни слова. Только после вечера, когда под покровом теплой летней ночи штабной «арьергард» отъезжал на двух спецмашинах из части, прощаясь, она сказала тихо только для него:

- Костя погиб месяц спустя, как уехал… тогда, помнишь…? - чуть помолчав, добавила: - А у нас сын….

Афанасий не понял о чём это она. Уже туманом заволакивало огни уходящих автомобилей, а он слышал всё её задиристое с укором: «А у нас…».  
   
 …Разлука с семьёй сделала Афанасия бобылём. Со всем своим бытом справлялся сам. А что солдату нужно? Одежду, обувь выдадут, в бане помоют, в столовой покормят, на всякий случай сухим пайком подкрепят. Так и перебивался последние годы. Здесь в бригаде уже второе лето…. Окрепла надежда, что осядет здесь надолго. Весь год в письмах тянул к себе жену. Наконец в конце августа Галина прислала телеграмму, что выезжает с дочерью из Омска. Афанасий, вырвавшись из части, сам встречал её на Угловой. Жену не узнал, когда шарил глазами по окнам подходящего поезда. Со ступенек навстречу шагнула красивая пышная дама. Разве узнаешь в ней Галинку Чипайло, которую он увёз когда-то в двадцать третьем с собою….  
- Здравствуй!

- Здравствуй….

- А где дочь?

- Папа, я здесь…

Разве узнаешь в этой рослой девице, следующей за женою, свою дочь…?

- Валя! Бог мой, как ты выросла, доча…!

Ерохин обнимает сразу обеих большими сильными руками….  
Прямо со станции решено было заехать к тестю. У родителя жены Афанасий бывал чаще, чем у своих. Во-первых, к нему было проще добраться, а во-вторых, чувство какой-то вины всегда заставляло с любой оказией навещать Семёна Карповича. Галина основательно прижилась в Омске, и последний раз была у отца два года назад на похоронах матери. Чипайлиха была ещё не старухой, но приключилась у неё опухоль груди, и не справилась баба с ранней смертушкой…. Чипайло всё винит себя в том, что во время не спохватились, не пошли по знахарям. Ну, недужит временами жена, с кем не бывает? А как совсем свалилась по лету, то уж поздно до лекарей ходить…. Да и где они? В городе Владивостоке только, да и то, поговаривают, с такой болезнью и в городе не справляются. Два месяца только и протянула в муках жена. Завертелся с хозяйством Семён Карпович: огород, скотина, сенокос…. Вот когда понимаешь, что один остаёшься! Дочери отошли от него каждая своим чередом. Гальку, вон, за красного командира отдал. Сам ещё мужик справный. Хозяйство неплохое: корова, тёлка стельная, свинья всегда с приплодом, коня до недавнего времени держал. В колхоз не вступал. Как пошёл слух о принудительном включении единоличников в колхоз, разузнал Чипайло, что да как, и пошёл на шахту в подсобники. Работа тяжёлая, зато посменная, для своего хозяйства удобная. Стал Чипайло крестьянином-шахтёром или шахтёром-крестьянином…. Хитрый хохол, и в колхоз не пошёл и единоличником остался, потому, как в рабочие пошёл. После всех колхозных пертурбаций единоличников больно силовать не стали, но землицу подрезали, покосы поприжали, туда не моги, то не твоё…. Поэтому ежели чего и надо будет, то всё равно к колхозному начальству на поклон пойдёшь. И пошло-поехало: за покос отработай, налог натуроплатой сдай. Коня сам держать не будешь, кормить нечем. На паях держат лошадей мужики: одна кляча на полдеревни. Волей-неволей в рабочие пойдёшь. Дочерям помогать надо….

Ерохин с семейством денёк погостили у тестя, да и честь надо знать. Служба ждёт. Когда собрались уж, Семён Карпович спросил:

- У своих-то був, Фэдотовыч?

- Давно не был. Стыдно….

- А чого так?

- Служба, отец….

- Ото ж так…. Ну, дай Боже усёго вам, диты….

Смахнул слезу хохол, да так и простоял с поднятой рукой, пока не скрылись гости из виду на дороге, что убегала за огороды вдоль речушки на большак.  
  
 …Семья у Ерохина воссоединилась, да ненадолго. С приходом сентября встала проблема школы для Валентины. Детей в гарнизоне было мало, но все по возрасту разные и всех нужно в школу пристроить. Школа только в гражданском посёлке за пятнадцать километров и эти километры нужно было ежедневно, и в дождь, и в снег одолевать по разбитой дороге. Казалось, самой Вале эти трудности больших огорчений не приносили, но жена… запричитала:

- Что это за жизнь? Куда мы забрались?

Афанасий пробовал как-то сгладить проблему:

- Галя, вспомни, как мы жили? У нас и того не было. Ну, ещё пару лет потерпим. Дорогу сделаем. Валю во Владивосток отправим дальше учиться….  
- А я? Ты обо мне подумал? В Омске я окончила курсы, работала, как все люди. Человеком была…. Что ты предлагаешь мне делать здесь? Кальсоны на всю вашу солдатскую ораву шить…?

- Да, здесь с модой не развернёшься. Но работу и здесь можно найти.  
- Работу!? Может быть, ты загонишь меня на подсобное хозяйство свинаркой…?  
- Это тоже работа….

Лучше бы он этого не говорил…. Галина выходила из себя. Размолвка доходила до истерик. И тогда она, мешая русский язык с украинским, чего никогда не делала, будучи спокойной, поднимала такую ругань…. В этом случае Афанасий собирался и уходил в штаб, где порой оставался и на ночь. Жить так в скандалах было невыносимо. В горечах однажды он глупо бросил:  
- Нужно ли было тебе приезжать, чтобы вот так мотать нервы?  
- Ах, Во як…?! Значит у тебя нервы? А у мэнэ? Та я без тебя була спокойной и вэсэлой. А зараз…? Уиду, завтра же уидэмо, доню…

В слезах Галина кидалась к дочери и рыдала. Валя всегда смущённо молчала. Многое понимая, прощала родителям. Ближе она была к матери, но тянулась и к Афанасию. Это было больно всем троим….

Не одолев и трёх месяцев совместной жизни, семья вновь распалась. Чувствовалось, что, уезжая из Омска, Галина не порвала совсем с прежним: она оставила за собой жильё, многие вещи, и наверно, договорилась с работой в пошивочной мастерской. А здесь в военном гарнизоне, в глуши всё это вспоминалось и тянуло назад.

…Ерохин провожал жену и дочь. Сам ехать на железнодорожную станцию не собирался. Отправил с ними попутно одного из командиров. Прощались сухо, словно чужие люди….

- Прощай, - Афанасий поцеловал жену.

- Прощай….

- Прости, если там… что. Может быть служба по другому пойдёт….

- Она у тебя всю жизнь так идёт!

- До свиданья, доча…, - Афанасий обнял Валю.

У девочки в глазах стояли слёзы. Уткнувшись отцу в грудь она просто молчала.  
  
 …В конце ноября уже по холодам его вызвали в штаб армии. Вопрос был явно пустяковый, связанный со снабжением, но начальство почему-то вызывало именно его, рекомендуя на время своего отсутствия, оставить бригаду на своего начштаба. Ещё более удивило то, что день, проведённый в пустой беготне по кабинетам, ничего, кроме усталости, не принёс. Вечером в гостинице, приняв душ, Ерохин собирался завалиться спать, когда раздался звонок администратора:

- Товарищ командир, к вам посетитель….

Афанасий удивлённо бросил в трубку:

- Кто?

На другом конце провода почувствовалась явная заминка.

- …Виктория Фёдоровна….

Она!… Днём среди военных в конференц-зале, где шло какое-то заседание, он видел её мужа. Тот, кажется, тоже заметил Ерохина, но не подал виду, что узнал. Значит и она здесь! В виски натужно ударила кровь….

- Пропустите…. Это ненадолго.

Он ещё не понимал того, что собирался делать. Но хотел этого…. Хотел видеть её, и она пришла. С бухающим во всю грудь сердцем он ждал у двери, когда в неё раздался осторожный стук. Афанасий торопливо открыл. Не помнил, как она вошла, не слышал её первых слов. Не помнил самого себя и той минуты, когда схватил её в свои объятия. Только запах её духов, тепло её дыхания и свой безумный шёпот…

- …Ты?

А в ответ такое же жаркое и близкое:

- …Я!

Знали ли ещё когда-либо стены этого гостиничного номера такие звуки, такие вздохи и стоны…? Знали ли эти стены о такой… любви?  
- …Ты давно замужем?

- …Уже второй год.

- После того…?

- Да…

- Прости…

- Ты уже просил…

- Простила?

- Да.

И снова жаркий шёпот…

- …Ты?

- …Я.

- Моя…?

- Да, …да….

…Ещё не понимая, отчего он проснулся, Афанасий открыл глаза, прислушался. Вика спала у него на руке. В темноте он не видел её лица и лишь мог представлять её спокойную улыбку. Света с улицы не хватало, чтобы видеть, на самом деле верно ли это представление. Показалось, что за дверью номера кто-то ходит…. Ещё через минуту в дверь настойчиво постучали. Вика сразу же проснулась.

- Кто это? - голос выдал волнение.

- Не знаю…

Поднялся, включил свет, накинул прямо на голые плечи китель и, как был в кальсонах, пошёл открывать.

- Ерохин Афанасий Федотович? - в номер входят двое… словно без лиц, третий остаётся у двери, прикрывая её, в коридоре мелькает лицо администратора.  
- Так точно. А в чём дело?

Афанасий начинал вспоминать, где он и кто он, и голос его привычно звякнул металлом.

- Вам надлежит пройти с нами в комендатуру для выяснения некоторых обстоятельств, - вошедший был вкрадчив и безапелляционен.  
- Какие обстоятельства? Который час? - Афанасий оглядывается в номер. На постели, кутаясь в одеяло, сидит Вика. В лице страх и боль…. На его резкое движение двое вошедших отреагировали своеобразно. Они словно по команде, опережая Ерохина, удержали его за руки.

- Вам надлежит…, - один прошипел это ему прямо в лицо.

- Одевайтесь, командир! И без шуток.

Второй, уверенно метнулся в номер, через секунду у него в руках был наган Ерохина. С этой минуты Афанасий стал терять понимание всего происходящего. Он как в бреду одевался, как во сне расплывались лица наблюдавших за ним людей. И странно было то, что в голове его не было ни единой мысли. Голова словно опустела. В то время, пока одевался, никто ничего не говорил. Всё словно окаменело…. И только уже на выходе всех остановил умоляющий просящий стон:

- Ерохин…?

Он оглянулся. Вика стояла посреди номера, в ночной рубашке, с безвольными, вдоль красивых бёдер, руками.

- Я люблю тебя, Ерохин! У нас сын….

Кажется, он уже слышал это. Когда? Где? Какая пустая, до звона пустая голова…. Когда раньше он уже слышал это?

- У нас…!

…Шёл к концу тридцать седьмой год. Ерохин был осуждён. Метла репрессий набрала размах и силу, не щадя ни правых, ни тем более виновных. В вину ему вменялась связь с участниками антисоветской организации. Делалось это быстро, без бюрократических проволочек. Был товарищ командир, стал врагом народа, приговорённым к исправительным работам в специальных местах заключения сроком на десять лет. Так осуждалась только связь с участниками…, само же участие каралось смертным приговором.

Первую весть от Афанасия родственники получат спустя четыре года в декабре сорок первого. Обратным адресом на его тонюсеньком треугольничке значился фронт под Москвой…

…Противоречия между естеством социальных движений и «искусством» так называемой «революционной целесообразности» были не поняты вождями революции. Это непонимание в теории породило упрощённость, замалчивание и пустоту, а на практике складывалось в то, что потом назовут сталинизмом, что потом из несдержанной российской робеспьеровщины разродится до идиотизма тупым и циничным «феноменом бериевщины». Всех, кто, так или иначе, пользовался сам и был причастен к методам «революционной целесообразности», постигала гибель. И чем далее от революции, тем циничнее и беспринципнее свершался суд над самыми ярыми поборниками этой «целесообразности». Воистину - «Сатурн, пожирающий своих детей»…

\*\*\*

**Часть 4. Всё, что было не со мной, помню…**

…Эх, дороги – пути,

горька - думушка…

Сколь же горя нести?

Полна сумушка…

…Дороги, дороги, дороженьки. Сколько слов незабвенных о вас, сколько песен о вас, сколько дум про вас, пыльные и далёкие, по которым уходят волей или неволей, натирая мозоли и стаптывая сапоги, и которые создают собою, сердцем и делами, временем, столь скупо отпущенным и названным… тепло и строго - жизнь…

1.

Зима накатила внезапно. С морозами, вьюжная и колючая она ворвалась в долину откуда-то с горных вершин, опустила насупленное небо прямо на сирые, тоскливые поля, засвистала тоненько в редколесье у реки, разметая по льду скупой не слежавшийся снег. Промёрзшая земля сразу зазвенела под ногою, словно, опустошённая сверху, она опустела и изнутри. Какой день уж пурга за стенами…. Воет, царапаясь в слепое оконце, ветер, как голодный зверь, просящий на неведомом языке у природы пощады и куска пищи, что принесёт ему сил и злобы. Вой ползёт над продрогшей землёю, не в силах подняться выше печной трубы, где превращается в шелестящий свист, расползающийся потом из-за чугунной дверцы печи во все закоулки остывшей хаты. Звуки эти, покалывая, проникли под рёбра, в сердце, в кровь, разнося по телу чувство пустоты и отрешённости.  
…Дверь, со стоном отброшенная ветром, гулко ударилась в мёрзлую стену, раскачиваясь и позвякивая щеколдой. Сноп белой позёмки ворвался в хату, разлёгся колючим дымящимся ковриком на лавке, у порога, метнулся вдоль щелей по полу, и в не топленой избе стало ещё холоднее. Серебряный лучик меж ставнями вдруг потускнел и, убегая назад в узкую щель, унёс за собою запахи зимнего солнца. В отворённую дверь, не таясь, не скрывая лица своего, вошла старуха-смерть. Её костлявая тень, запустив впереди себя леденящий холодок, присела на табурет у кровати, на которой ещё с вечера коченел под лоскутами ветхого одеяла старый Ерёма Ерохин. Старуха глянула провалившимися льдинками глаз в заиндевелый угол на белую недвижную голову Еремея и перекрестилась неловко, чуть вскидывая с коленей костлявую щепоть. Немая чёрная пустота избы слушала настороженно шелест старушечьих рук. Сквозь полузакрытые веки старик видел, как смерть, всматриваясь ему в посиневшее лицо, охала тяжко и по-человечьи.  
-«…Ишь, костляга, пришла таки.… Ну, ну! Совсем и не страшна ты, смертушко…».  
Ещё не совсем застыл дедовский мозг и говорил ещё сам с собою Ерёма без звука, не открывая уже окаменевшего беззубого рта.

-«Припоздала ты, бабушка. Я ведь тебя ещё ввечеру поджидал, как не сумел уже печи разжечь. А ты, эвон, в зорю припожаловала…».

От кого-то в молодости он слышал, что смерть это пробуждение….  
- «Пробуждение? От жизни…?» - вопрос в голове был чужим, несвязным и был скорее уже каким-то спокойным и нужным ответом:  
 - «…Вот и я просыпаюсь…».

С улицы вновь сквозь щели в ставнях просочился свет морозного утра, падая искрами инея на Ерохинские закорюки-ладони, лежавшие безвольно, но исполненные того величия, что природа-мастер готовит для самой вечности.  
- «Гляди-ко, крестится…?!».

Ещё удивляется Еремей старухе-смерти, склонившейся к самому его лицу и осенявшей себя крестом совсем по-мирски.

- «Уходит…. Должно и мне пора. Эх, смертушка - не страшна вроде, а всё ж в тягость ты, старая…».

Эта последняя, ещё по-человечьи тёплая мысль вырвалась сквозь отворённую дверь в свет наступившего утра, на заснеженный простор озябшего поля, покинув навсегда седую голову Ерёмы Ерохина.

…Бабка Ульяна, чуя недоброе сердцем, знавшим немало на долгом веку, поутру зашла на захудалое подворье соседа. Пройдя в тёмных сенях, кое-как отворила тяжёлую дверь Ерохиной избы. Прошла в угол до кровати, присела, поглядывая и крестясь на застывшего покойника. Потом встала, ещё раз близко глянула Еремею в лицо и поспешила с худой вестью на село….   
  
 …В холодной плотницкой трое: Захар Ягодинец - первый умелец на деревне, столяр, и плотник, и вообще, до любой работы охотник, Серёга - сын его, крепыш недоросль, но уже неплохой помощник отцу. В углу на лавке, с непокрытой головой, в зипуне Федот Ерохин, смурной, с ввалившимся взглядом, с тяжёлыми безвольными руками на коленях. Примчался с женой на санях в Мельниковку тут же, как привезли ему весть о смерти отца.

- Эх-хе-хе! Отжил своё Ерёма…. Укатали сивку крутые горки. Слава Богу, семьдесят семь годов одюжил. Нам бы того протянуть, - вколачивая гвоздь в свежеструганную доску, хрипит сквозь табачную затяжку Захар и ворчит на сына:   
- Держи, чертяка, ровнее! Последнее подношение старику делаем, потом и захочешь поднести получше, да не получится ужо….

- Да-а…, - глухо выдыхает Федот и трет глаза. Ему в тягость сейчас, что умер отец, оставшись один-одинёшенек посреди не топленной завалившейся избы, что не уговорил в своё время он Еремея перебраться к нему. Так и доживал своё старик сам на сам.

- Устал, поди, Шагей? На днях до снега ещё встретил я его. Вижу, прибаливает старик. До Рождества дотяну, говорит, значит и до Хрещенья одюжу, а там… с «ёрданя» водицы попью, оживею, - словно угадывая его мысли, сочувствует плотник, - «Ёрданью» он называл ключик с омутком, что под скалой. Не дотянул…. К тебе что же, так и не хотел перебраться?  
- Да вот…, так и не уговорил я его.

- Я смотрю, ты сам с Евдокией, а что же дети?

- Тимоху летом в армию проводили, Илья на хозяйстве дома остался.  
- А дочки?

- Дочки - отрезанный ломоть. Старшая давно в город перебралась: свои заботы. А младшая хоть и рядом, да тож своим двором живут. Сейчас вторым дитём на сносях ходит.

- А к Ивану на шахты старик тож не хотел?

- И там… не мёд. А по-правде сказать, самого Ивана уж с полгода как нету, а сын его в армии. Так что, там одна сноха его с мальцом перебивается.   
- А Ивана как нету?

- Вот так и нету. Кака щас цена человеку? Забрали, говорят, для разбору…. Куда забрали, что разбирать - без ответу всё, - Федот говорил скупо, недоговаривая, намёками и всё комкал в руках треух.  
- Н-да…, дела. У тебя же старшой в больших командирах. Разузнал бы, что к чему, а?

- От Афанасия уж год вестей нету. Не знаем, что и думать с Евдокией. Молчим да ждём, авось что прояснится…

Ерохин нехотя говорит о своём сокровенном. В глазах слёзы, в голосе дрожь.  
- Ну, вот и ладная домовина вышла…, - заканчивает работу Ягодинец.   
- Ну-ка, взяли, сынок, разом! Выноси. Да полегше, ты, чертяка!   
Выходят на большой двор. Федот первым несёт крышку гроба. Во дворе сани. За скобу, что вбита специально в бревенчатую стену плотницкой, привязана лошадь. У неё изо рта при дыхании идёт пар, а ноздри и губы обросли густо иголками седого инея. Плотник с сыном ставят гроб на сани, потом прикрывают его крышкой из Федотовых рук. Скрипит под ногами снег. Морозно. Вокруг всё ярко от чистого, словно мытого, солнца, взобравшегося наискось в середину неба. Над заснеженной деревней белые высокие столбы дыма над трубами, и с одной стороны повисают бело-зелёные вершины сопок с пиками редких и тёмных елей. С другой стороны ровно, и дорога со двора уходит через деревню в заснеженное раздолье на поля, вдоль обрывов по лону застывшей речки дальше и дальше, теряясь в этом ярком белом пространстве.

Старшие усаживаются в сани рядом с гробом. Отъезжают, понукая застоявшуюся лошадь. Ягодинец машет сыну рукой:  
- Скажи матери, я поехал с Федотом. Может помочь чего надо будет…  
  
 …Еремея хоронили назавтра небольшой группой стариков, тут же на маленьком деревенском кладбище, как он того и хотел. Водрузив на свежую могилу большой белый крест, разошлись, тихо переговариваясь. На помин души в его холодной избе мужики распили четверть водки под кутью, сготовленную Евдокией, да под огурцы из чуть промороженной бочки, что отыскалась тут же под полом у Шагея. Федот свернул в узел все отцовские пожитки, собрал по подворью кое-какой инвентарь. Сложил всё в сани, заколотил отцовскую завалюху и попрощался с мужиками.

- На девять, да на сорок дней давайте, мужики, ко мне.

- Ближний свет…, - язвят мужики.

- Доживу до тепла, разберу халупу, ежли не растащите до того….  
И уехал с женою домой, провожаемый серой толпою мужиков.   
К весне от Еремеевой хижины остался лишь неуклюжий остов печи, с возвышающимся огрызком копчёной трубы.

2.

- Илья, слышь, полуночник! Давай просыпайся! Тихоша стадо уже за околицу погнал…

Голос матери чуть слышен, словно приходит сюда под крышу сквозь чащу леса или сквозь подушку. Илья открывает глаза. Ещё темно и видится в чердачное оконце лишь утреннее небо.

- Слышь, али нет!? Сынок…! - Евдокия гремит чем-то внизу и, должно быть, прислушивается.  
- Щас, ма…, - отзывается Илья

- Давай, давай слазь! Говорю, пораньше с вечера ложись…. Так нет! Гулянка одна на уме…

Илья высовывает заспаное лицо из-под ветхой овчиной одёжи, что прижилась здесь на чердаке основательно, с тех пор как Илья приловчился спать летом под крышей. День в поле с колхозным стадом, вечером охота в клуб, а поздно домой неловко шуметь. Потому и лезет на чердак, где мать заботливо пристроит в уголок крыночку молока да горбушку хлеба. Спать на крыше хорошо, хотя с вечера душно, но зато к утру кожушок обязательно на себя потянешь.

- Ты встал?

- Иду уже…

Протирая глаза, Илюха спускается по шаткой лестнице, ступая босыми ногами на землю. Евдокия давно на ногах. Погромыхивает подойником в сенях, слышно, как полощет его водою из деревянной дёжки. Выходит на улицу и выплёскивает воду тут же во двор. Раздаётся шелестящий лёгкий всплеск. Евдокия видит, взъерошенного после сна, Илью и ворчит:  
- Ух, леший…. Ополосни глаза-то!

Уходит в угол двора, где лежит корова. Евдокия разговаривает с ней и суёт обязательно подсоленный кусочек хлеба. Корова тихонько мычит, тянется за лакомством и нехотя шумно поднимается. Мать мостится к вымени на маленький, в засохших кизяках, стульчик. Пришёптывая что-то, обтирает влажной чистой тряпицей сосцы. Звенит в подойник первая струя молока, затем вторая, третья. Ещё через минуту звук меняется и теперь уже не звенит, а журчит струя упруго с коротким шипением, словно режет в ведре густую пенную массу.

Илья умывается тут же во дворе, натягивает латаные холщовые штаны, обувается в неуклюжие большие галоши, подматывая и подвязывая бечёвкой портянки. Такой же бечевой подпоясывает широкую не по росту солдатскую гимнастёрку. Евдокия, управившись с дойкой, в сенях цедит молоко в глиняную крынку, зовёт сына завтракать.

- Не, ма…. Давай, я так молока хлебну, и айда….

Выпивает прямо из крынки молоко, кусок хлеба суёт за пазуху и выгоняет корову за ворота. В конце улицы ещё видно уходящее стадо.   
 …Утренняя прохлада растекается по травам пряною росою, склоняя тяжестью капель узкие стебли пырея, поднимается туманом над говорливым перекатом, набивая его клоками густо под синие высокие кручи. Ещё остатки вчерашней духоты уходят с лугов к отрогам, встающего из предутренних сумерек, Сихотэ-Алиня. Тронутые серебром, лозы у берега купают ветви свои в тихих заводях, грустя и перешёптываясь друг с другом. Долина ещё спит, но тонкая позолота восхода уже высветила дальние вершины. Заискрилась вода необычайно нежно с холодцой, и чувство утра уже наполнило и прибрежный лес, и луга, и дальнее селение у подножия гор. Пройдёт миг, и краешек встающего солнца прольёт на всё это очарование свет свой, обнажая обрывистые берега, окрасив их грязно-красно, заиграет золотом в водах реки, несущейся откуда-то с китайских земель, поднимет из травы туман, разрывая его о большущие одинокие вязы. И новый день, буйный и озорной, придёт на дорогую для Илюхиного сердца землю. Тонкая линия железной дороги, как два зеркальных лучика, побежит вдоль сопок, скрываясь за речной излучиной, позванивая и маня за собою. Желание уйти вдоль этой зовущей полосы столь непреодолимо, что сердце, кажется, вырвется из груди, и освобождённое, вольное улетит само в неведомую даль, куда лишь рельсы льются неудержимые в движении своём. Взвизгнет издалека поезд, нарастая движением и гулом, промчится змеёю вдоль железных струн, обдавая ветром и пылью, неведомым запахом и теплом, и унесётся с глаз как мысль, как тайная мальчишеская мечта. Мелькнёт последний вагон, улетая в точку за горизонт, унося остатки громкого, забравшегося во все закоулки, голоса жизни.

- «…В пу-уть!» - зовуще разольётся в травах, по воде, и, затихая, долго ещё будет жить это дерзкое «в путь» эхом в тенистых илистых берегах, в заводях под вербами. А в ответ ему, вдруг резанув слух наивностью и простотой, прозвучит звонкое мальчишеское - «…Я иду-у!». И, слившись воедино, эти два голоса пролетят ещё долго над водою и угаснут вместе в шелесте дальнего переката за жёлтою излучиной реки…

Свою скотину в отличие от колхозного стада пасли всегда в одном месте, на неудобице в широком полынном логу, что протянулся меж двух речных стариц, давно поросших черёмуховым да ясеневым лесом. Место неважное, земля песчаная, но изрядные полосы илистых наносов подпитывают всегда эту почву, словно навозом, и оттого стоит здесь луговиной с самого начала июня травища зелёная да рослая. Для покосов места здесь непригодные, вокруг топи проток и стариц, а для пастбища самый раз. В пастухи второе лето подрядился, как-то вмиг состарившийся, Егор Тихой. В подпаски снаряжали всегда кого из недорослей. Этим летом вот Илюха вызвался. Оплатой всё лето и тому и другому была очередь столоваться в ужин, да пару кулей картошки ото всех по осени. Работа не пыльная, но и лёгкой не назовёшь. Стадо большое, одних дойных без малого семьдесят голов, да столько же молодняка. День-деньской с темна до темна, шутка ли, всё летечько выбродить за скотиной. Илья надумал на зиму к тётке податься в город, но пока помалкивал и важно нагуливал жирок на пастушьих харчах….  
К полудню поднявшееся солнце мигом накаляло серую в зелёных кочках дорогу и большие щербатые камни по обочинам. Среди разнотравья и кустов шиповника поднималось колыхающееся марево. Земля в логах разомлевала, источая окрест духоту, и ко всему живому тогда приходило желание тени и прохлады. Ясеневый лес из зелёного становился белым, потому как листья выворачивались к солнцу обратной матовой стороной, и время от времени волна меняющегося оттенка пробегала по вершинам и одевала лес в льющееся серебро. Жара заставляла убегать стадо к реке в заросли седой ивы, что в жару никнет длинными ровными прутьями к земле, спасая скотину от оводов и слепней. Сюда же приходили к обеду доить коров хозяйки. Часть стада обязательно выходило прямо к воде на жёлтую косу и располагалось прямо на песке, блаженствуя на ветерке от воды. Самые смелые из нетелей заходили по брюхо в воду, цедили, причмокивая плавную в мелких бурунах воду, а потом подолгу стояли с полузакрытыми глазами в блаженном оцепенении. Со стороны казалось, что они о чём-то размышляют в такие минуты.

- Любомудрствуют, язви их…, - кивает в их сторону всегда Егор и заставляет Илью гнать телят из воды. - Заболеют лешаки, али теченьем снесёт каку глупую….  
А сам опускает с плеч лёгонькую холщовую котомку у подножия большой раскидистой дикой яблони. Это его излюбленное место и об этом знает всё стадо. Ни одна раззява тёлка не осмелится нагадить у яблони, разве только что норовят всегда почесаться боком о корявый шелушащийся ствол, выслушивая затем вслед Егорово чертыханье. Ругается всегда смачно с удовольствием, но без злобы, для порядку и по заведённому испокон веку пастушьему правилу. Потом устраивается спиной к тёплой яблоне, оглядывает притихшее по кустам и у воды стадо и говорит:  
- Ну, кажись, все целы покудова. Полдела на сегодня мы с тобой Илюха сделали. Вались отдыхать…

- Пойду скупаюсь, - говорит Илья и уходит по песку на край косы выше от стада.  
Сбрасывает с себя пастушье облачение, и голышом долго и шумно барахтается в воде, поднимая со дна лёгкую муть. Потом выходит, с размаху кидается на горячий песок животом и на время затихает.  
- Давай-ка, надевай порты…. А то, гля, бабы вона на дойку показались, - кричит ему от яблони Егор.

Приплясывая на одной ноге, чуть стряхнув с боков песок, Илюха резво натягивает штаны и ворчит:

- Бабы, бабы…. Ну и что? У них коровы забота, а не мои драные портки.  
- Не скажи, паря. Это мои шальвары бабам уже без интересу. А ты молодой…. В тебе токи сила нарождается, а значит и интерес…. А прикрытый он ещё интересней. Уж поверь. У людей завсегда так - запретно слаще, прикрыто краще.

Егор развязывает суму, достаёт в чистой тряпице хлеб, пучок зелёных луковых перьев, кусочек жёлтого сала, готовится обедать.  
- Давай, Илька, сюды…. Выкладай чего тебе сегодня Явдоха на обед выделила. О, картоха! Два яйца. Одно, должно быть, моё, а…?

- Твоё. Куда ж от тебя денешься…?

Илья разговаривал со стариком, как с маленьким.

- Ну и лады…. Молочка у матки твоей поклянчим, чтобы с чаем не заводиться.  
- А сёдня не её очередь пастуха кормить.

- Жмот ты, Илюха, несусветный. Очередь, не очередь…. У Евдокии рука лёгкая, молоко в пользу…. А мне старику хорошо, когда в пользу.  
- Тоже мне старик выискался. Ты же тятькин ровесник. Шестьдесят, поди, ещё нету?

- Ошибаешься. Я чуток постарше. Федоту, правда, ещё нету, а мне позапрошлый год уж отмечалось.

- Нашёл тоже разницу - пять годов.

- Не скажи. Пять годов невелика разница, когда нам по сорок было, это верно…. Ты токо глянь: ему сорок, мне чуть боле. В таком возрасте люди как бы все ровня, все взрослые, все робят, суетятся. А погляди кака разница эта в малолетстве: ему токо пять было, а мне уж десять.… Разница? Во! А в старости эта разница ещё боле заметна. Федоту, к примеру, токо пятьдесят семь, а мне-то уже-е шестьдесят два…. Улавливаешь разницу, паря?  
Егор причмокивал беззубым ртом, пытаясь разжевать кусочек сала, придерживая его корявыми пальцами. Было смешно наблюдать за ним, потому Илья рассмеялся:

- Чо ты его мусолишь? Глотал бы уж так, нежёвано.

- Смеёшься, ирод…. Будешь ли смеяться, как до моего доживёшь?  
Подошла Евдокия с подойником, ловко прикрытым чистой холстиной. Налила мужикам молока в небольшой чугунок, что служил им посудиной для любой жидкой пищи. В нём иногда варили уху из синих белобрюхих гольянов или парили раннюю картошку, крепкую, сытно пахнущую, с тонкой прозрачной кожицей. В этом же чугунке часто кипятили травяной чай, заваривая первую попавшуюся вблизи духовитость, будь то цвет чубушника или горький зонтик тысячелистника. Чугунок был таким закопчёным, что молоко в нём казалось ещё белее, чем есть на самом деле.  
- Чугун бы оттёрли песком в реке, - укорила Евдокия.

- Да он же всё одно чёрный будет. Чо зря тереть…? - отмахнулся Илья, прикладываясь к молоку.

- Садись, Евдоша, перекури, - кивает Егор на место под яблоней.

- Да не…. Пойду я потихоньку с бабами. Вон уже кличут.

- Федотке кланяйся. От Афоньки слыхать ли чего?

- Ты же вчерась об этом спрашивал, - с грустью и тревогой говорит Евдокия.  
- Так то ж вчера, а уж половина сегодня пробежала. Щас радиосвязь, знаешь какая? В Москве сказали чего, и сей секунд у нас уже известие получено, да, - плутовски щуриться Егор.

- Ладно тебе, сей секунд…, - Евдокия крепкой загорелой рукой поправляет выбившуюся из-под лёгкого платка седую прядь, легко подхватывает молочное ведёрко и спешит догнать пёструю ватагу женщин.   
- Сдаёт Евдокея. А какая была, а…! Моя завсегда слабее. И детворы мы с ей много не сообразили, а как Костька сгинул, так и она дале не потянула. Царствие небесное им. Э-хе-хе…

Егор украдкой крестится и замолкает.

Молчит и Илья, раскинувшись на траве и прикрывая сонно глаза. Шелестит над головой жёстким листом яблоня. Из-за её кроны солнце норовит достать немилосердным лучом Егорову плешь, но он двигается глубже в тень и прикладывается на бок, поглядывая на сражённое жарою стадо.   
 …Помнится, по осени в тридцать седьмом году провожали в армию Тимофея да ещё двух его сверстников. Торжественную часть правление колхоза организовало в недостроенном клубе, который заложили в тридцать пятом вместе со школою, что красуется ныне глазастыми окнами в светлом чистеньком березняке. А тогда голых два сруба только-только подвели под крышу, но молодёжь мигом освоила помещение, заводя в выходные дни танцы под гармошку. Тимоха году в двадцать восьмом окончил сельскую школу, основанную ещё по типу приходской пришлым грамотеем бывшим священником Никанором Власьевым. Расстрига теперь уж помер, а школа в пору ликвидации безграмотности была начальной. Потом колхоз с помощью власти, конечно, замахнулся на семилетку. Все малые окрестные сёла свою детвору теперь ведут сюда. Вот и Илюха прошлой зимой с горем пополам одолел пятый класс. Ему грамота даётся совсем не так, как Тимофею. Тот ещё мальцом с грамотой дружен. У Власьева много перенял, даром что ль четыре года книжки от него за пазухой всё носил. А Илька не любит учёбу. вот на гармошке враз сообразил…. Своей-то нет, да вот у деда Тихоши старенькую хромку до того ладно таскает за потёртые бока, что вот-вот и выпросит насовсем инструмент. Только старик жалеет гармошку. Сам частенько приладится щекой к ветхому меху и играет что-то близкое, тягучее, тихое, а не поймёшь что. «Из души это…», - поясняет Тихой. - «Вот как сообразишь сам что это, так хромка твоя», - обещает он Илье. Дудки из тальника резать да играть тоже дед научил. Тут Илюха смекалист, это не книжки тебе заумные да хитрые. Тут вот она, штука-то деревянная да звучная, под рукой, перед глазами. Пощупать можно, услышать, даже понюхать…. Эвон как под корой талина пахнет терпко да чудно, на век помнится. А буква в книге пустая, безвкусная и не пахнет ничем, разве только что краской неведомой да пылью с полки. Зато старшего брата прозвали Тимофей-грамотей. Тот после Власьевой науки на селе два лета тоже, как Илья, в подпасах побегал, а потом в район подался на комсомольские курсы. И с той поры, считай, в деревне только числился, а пропадал всё в райцентре либо в городе. В армию, правда, из дома уходил. Всем миром провожали. Илька на гармони народ тешил, а Тимоха плясать мастак. До упаду! Всё ждали старшего брата Афанасия, да так и не дождались. Запропастился где-то красный командир тогда и до сих пор ни слуху, ни духу. Одни штаны вот от него памятные, тятька носил сколь, а теперь Илье впору. Самого Афанасия Илюха припоминает слабо. Раза два заезжал бравый вояка, с тятькой всё толковал, с мужиками. А он исподтишка всё глазел на незнакомца, и гордость его обуревала, что это брат старший, и сомнения скребли, а не чужой ли это знатный дядька…. О том, что этот дядька врагом народа числится теперь, знают мало и то по слухам. Самим Ерохиным мало чего ведомо. «Не там лизнул, видать, кой чего у власти…», - язвит при случае Тихоша. «Разберутся…», - как-то сомнительно при этом размышляет тятька. А мать плачет всё…. Илье и то, и другое не шибко понятно. Видать старшие знают чего-то больше, что позволяет им рассуждать о неведомом и нездешнем. «Вот соберусь по осени на шахты. Работы там завсегда много. К чему-то и сгожусь…», - думается сейчас Илье.  
- Да, на земле-матушке неблагодарно робить…. Завсегда так было, - словно угадывая мысли мальчишки, дремотно гудит дед Тихоша. - Вот колхозов нагородили….  
- А что колхозы? Жизнь-то лучше. Клуб, вона, какой, школа…, - Илья не спорит, а просто размышляет в тон старику.

- Спору нет, и клуб, и школа. А свинарник какой грохают, а…! Сила! И армию, видал, какую снарядили…?

- Ну? В чём же плохо?

Умом я того не осиливаю, а вот нутром худое чую. То, что замахнулся народ на многое, понятно…. В числе сила, а не во власти, как о том думают и говорят нынче. Сбили народ робить в общее, как воевать, вот и сила…. А что народу с того? Тягота одна. У твого тятьки когдась свой конь был, и у меня лошадёнка была, худо-бедно. Куды хотел, туды и поворачивал. Теперь, вона, на конюшне лошадей у него сколь, а не хозяин. К председателю идёшь, усердно просишь. Да и председатель не хозяин, нет. Казённо всё…. Ты вона в портках братовых казённых, свои-то когда ещё спроворишь…  
- Вот подамся в рабочие, заработаю, - уверенно вставляет Илька.  
- Знамо, заработаешь…. Не с голым же задом тебя в шахту опустят. Да только я о другом. Ведь по всему видно, что задарма робит люд, как говорят, добровольно. Такой труд нужно как дар принимать, всячески уважая приносящего силу свою в колхоз. У нас же любой труд обгадят, занизят, для того чтобы забрать его весь без остатка, чтобы упаси Бог, человек пользу и величие своё сам не раскумекал. И улетает труд в бездонье прожорное…. И не понимают, что во второй раз человек добровольно труд свой не понесёт в общее. Опосля обману и уничижения либо только силе подчинится, либо при первой возможности словчит и сам других объегоривать надумает. И то, и другое худо…. Силой давить - народ изведешь, и работать некому будет. А ловчить учнём всем гужом и того хуже…. В жизни-то робить всегда нужно поболе, чем сделанное подсчитывать. Что хорошего, если все только считать кинутся? Или вот, как мы, только коров пасти станем? И в город народ зазря тянется. Его поманили жизнью лёгкою, а он и кинулся. Куда разбегаться будут, как лишних много окажется? И землю забудут, и в городах не нужны станут…. Неправильное что-то в этом, нутром чую.

- Мудро ты, дед, всё кумекаешь. В школе по-другому учат…, - щурится на солнце Илюха и жуёт сладкую стеблину пырея. – Я сон нынче видел, как бесёнок чёрный да лохматый прямо ко мне на чердак вламывается и лезет всё, лезет в лицо…

- Ну, и…?

- Да пихнул я его ногами покрепче и дело с концом. Так и загремел с крыши…  
- А бесёнок злой али так себе?

- Да кто ж его знает? Чёрный весь, но кажись без злобы, мягонький такой…  
- Мягонький, говоришь? Стало быть, не пугать он тебя лез?

- Да вроде нет. А что?

- Тогда и толкать, может, не надо было? В жизни, брат, не всегда всё чёрное страшно. А раз во сне не страшно, так наяву оно и подавно худа не принесёт. Не всяк, кто чёрен да лохмат, бесом зовётся.

- Что ж мне с ним обниматься надо было?

- Обниматься не обниматься, а погладить стоило бы. А ты оттолкнул…. Отчаянный ты изнутри. Худо. По виду простой, а внутри вона какой бесстрашный. И сам про то не знаешь. Теперь он за тобой ходить будет, пока не отомстит.

- Кто?

- Дед Пыхто! Мой тебе совет – себя берегись, где не надо не суйся. Нету у тебя от того изнутри защиты. Это не от матки с тятькой у человека, это должно быть от природы, отцы говорили – от Бога.

- Так нет же его…? Мамка давным-давно иконку спрятала куда-то.  
- Это сегодня нет, а вчера ещё был и завтра, ещё неизвестно, вдруг объявится…. А спрятала, потому что глумленья боиться. Не над собой, над Ним…. По-славянски: что любо – тайком, где срамно – хлыстом, а душу – крестиком…  
- Ну, ты даёшь!

Илька прикрыл совсем от солнца глаза и не видит как Егор, приподнимая чуть руку, быстро крестит его, а потом, откинувшись к яблоне, говорит пространно и с грустью:

- Это не я даю, это жисть…

…Осень припожаловала ранняя и недружелюбная. Числа двенадцатого сентября краем грустного неба потянулась к югу пунктиром ниточка перелётной птицы.

- Иван Предтеча погнал гусей далече, - ворчит вслед Егор и добавляет:   
- Всё, Илька, после Постного Ивана околеешь без кафтана….  
И правда, к концу сентября уже замерзала вода в сенях, запасённая заботливо с вечера Федотом. Одно удовольствие ковшом поколотить в гулкую корку новоявленного за ночь «стекла».

- Опять балуешь, идол…, - ворчит за спиною Ильи мать. - Умывайся скоро, да поняй в город. Что на голову-то надевать будешь? Кепка ухи не согреет, а шапку не на что покупать. И что делать?

У Евдокии привычка разговаривать, обращаясь прежде всего к себе. Так она раскладывала заботы на всех поровну, не забывая между тем большую их часть, взваливать на себя.

- Поняй, сынок, на рынок. Продашь корюшку, глядишь, на ушанку выручишь.  
В кладовой на гвоздях висело ещё с весны пара вязанок сушёной корюшки.  
- А сами, что уже наелись?

Илья знал, что рыбу мать берегла на «чёрный день».

- Зиму одолеем, по весне ещё наловите, - лицо у матери озабоченное и строгое.  
- Ладно, попробую торгануть. Барыжничать что ли заняться? - шутит Илья, смежая в усмешке искру зелёных глаз.

- Давай уж, барыга. Гляди, штаны не потеряй….

…В городе Илюха не долго искал место для своей коммерции. В людном углу большой рыночной площади давно и прочно обосновалась пивная бочка, у которой всегда можно видеть торговлю селёдкой либо копчёной горбушей. Здесь же сбывали кое-когда свой удачный небольшой улов рыбаки из местных заядлых удильщиков, которых всегда увидишь по берегам озёр и стариц в пригороде. Сюда же случаем, когда по реке идёт нерест корюшки или краснопёрки, заскакивают с большим уловом хваткие мужики из приречных сёл. Словом, здесь всегда полно всякого, в том числе и праздного случайного народу, и потому в бочке у краснощёкой продавщицы, кажется, никогда не кончается пиво. За свежей рыбой сюда заглядывают, озабоченные магазинной дороговизной, домохозяйки, а солёную да вяленую тут же у бочки уплетают с пивом, социально уравненные базарной шумихой, мужики.  
Илья прошёлся с мешком в пивном углу, прикинул, кто и чем торгует, кто что пьет, и устроился рядом с мужиком, торгующим постной селёдкой поштучно с пустого перевёрнутого ящика. Мужик был небрит, на костыле и по всему неприветлив. Но не детей же с ним крестить…. Потому, не обращая внимания на хмурое недовольное лицо «соседа», Илья присев на корточки, раскрыл свой мешок.

- Рыбёшка славная, не продешеви…, - тычет костылём в рыбу мужик. – По рублю за пару – с руками оторвут.

«Если у меня в мешке двести пятьдесят штук, значит, получится больше ста рублей. На шапку хватит…», - прикидывал в уме Илья. До этого в потребсоюзовском магазине он приглядел рыжеватую цигейковую ушанку с кожаным верхом за девяносто рублей. «Чтобы побыстрее, продам, что помельче по рублю за три…». И всё бы наверно было, как задумывалось, но как всегда вмешался случай. Только-только пошла торговля и к Илье на запах сушёной корюшки выстраивалась очередь, как из толпы повывернулись двое городских сорванцов. По виду Илюхе в сверстники годятся, лет по шестнадцать. Руки в карманах, в зубах папироски.  
- Так, фраерок…. А за место кто платить будет? – цвиркает слюной сквозь зубы тот, что меньше ростом и понаглей лицом.

- Какое место? – не понимает Илья.

- Ты чо такой непонятный? Говорят тебе, платить надо!– подвигается прямо на мешок с рыбой другой, что порослей и с ухмылкой на губах.  
- За что платить, ребя? – недоуменно обращается Илья к «соседу».  
- Отдай им пару червонцев. А то не отстанут, хуже будет, - как-то в сторону тихо советует тот, прикрываясь костылём.

- Какие червонцы, пацаны? Вы что, взаправду…?

- Так ты неуч? Так сразу бы и говорил…, - сквозь зубы ехидно цедит первый.  
- Будем учить, - делано степенно говорит второй и берётся за мешок.  
Илья поспешил наклониться, чтобы защитить свой «товар», но неожиданно получил резкий тычок в бок, отчего на миг задохнулся и чуть не упал. Он видел, как его «будущая шапка» уходит в чьи-то, подоспевшие тут же в толпе, руки. Беспомощно цепляясь за того, что ближе и всё ещё не понимая происходящего, он просит:

- Вы что, пацаны? Рыба-то моя…

- Какая рыба, сельпо? Вали домой, ещё лови и приноси опять…  
Тот, кого держит Илья, сплёвывает окурок и пытается рывком освободиться. Но к Илюхе пришла упрямая неудержимая злость. Побелели пальцы, удерживающие обидчика, в глазах запрыгали нехорошие огоньки и затрепетали неприязненно крылья у носа.

- Ну, ты, псих! – городской ловко разворачивается от Ильи, одновременно ударив его локтем под дых. Ситуация обострялась. И если бы Илья умел мало-мальски драться, непременно бы сейчас случилась потасовка. Но он одной рукой лишь крепко держал за одёжку, второй просто пытался защищать лицо и бока. Кто-то из толпы заступился за Ильку:  
- Кончай, жиганы, бузить! На одного оравой насели….  
- Да! На нём не шибко поездишь, гля как уцепился, не оторвёшь…  
На шум заглянул милиционер в светлой ладной гимнастёрке с блёстками треугольничков в петлицах.

- В чём дело, граждане?

 Увидев сцепившихся мальчишек, огорчённо проговорил:

- Опять ты, Горшеня? Договорились, кажется, что ты прекращаешь свои выходки, а я забываю твоё прошлое и, может быть, заодно и будущее?  
- Да я, чо…? Деревня сам первый цепляется, - изворачивается тот, кого назвали Горшеней.

Илюха всё ещё крепко держит его. Горькая обида подступила к горлу, перехватила дыхание. Он недоуменно озирается вокруг и готов вот-вот расплакаться.  
- Что за деревня? Ты чей будешь? – милиционер, удерживая Горшеню, расцепил Илюхин кулак.

- Ерохин, - сквозь комок сипит тот.

- Откуда, спрашиваю?

- Приезжий то хлопец, из села…, - вставляет вместо

Ильи мужик на костыле. – Должно Василисы Ерохиной племяш, той, что с десятой шахты.

- Верно? – спрашивает милиционер

- Угу, - кивает Илья.

- Так бы сразу и говорил, - как-то чересчур дружелюбно расплывается в

улыбке Горшеня.

- Ты пока, помолчи, - милиционер по-прежнему к нему строг.

- Да я, чо? Подумаешь, чуть пошутили…

Толпа расслабляется, отовсюду слышатся шуточки и подначки.

- Гляди-ка, и мешок сразу сыскался!

- Правда, уже отполовиненый…

- Отпускай, старшина, пацанов. Тот, деревенский пусть шлёпает домой, ещё рыбу ловит…

- Так рыба-то весной только в речку пойдёт?

- Ему-то свой убыток щас пополнять надо…

- Разговорчики! – милиционер поднимает руку. Шум несколько стихает.  
- Твой мешок? – обращается к Илье.

- Мой.

- Какие претензии?

Тот сквозь слёзы рассматривает рыбу в резко отощавшем мешке и пытается что-то сказать.

- Да нету у него никаких претензий. Делов-то куча, пару рыбёшек одолжили…. Скажи, Ероха? – панибратски хлопает его по плечу Горшеня.  
Илья всё ещё плохо понимает происходящее, но как-то смиряется, видя такое благодушие вокруг, и, утирая выступившую всё-таки слезу, говорит:  
- Ладно уж, чего там…

- Ну и хорошо, что без претензий, - милиционер на глазах добреет и вскоре, козырнув отвлечённо всем, уходит от пивного угла нести далее свою службу.  
За полчаса всю оставшуюся рыбу мальчишки мигом распродали. И хотя в кармане у Ильи нет и трети того, что можно было бы выручить, он почему-то доволен и даже улыбается всем, словно винится и за эту, доставшуюся только ему, треть.… Горшеня с товарищем теперь у него в друзьях, предлагают ему папироску, делано заискивают и божатся в товариществе.  
- Айда к тётке на шахту? – предлагает Горшеня.

- Да я и не думал, - всё ещё осторожничает Илюха.

Но тут же соглашается, и вот втроём они уходят в рыжий листопад, прилегающего к рыночной площади, большого шахтёрского парка.  
 …Тётка Василиса племяннику даже обрадовалась. Её пятилетний несмышлёный Васька днём, пока она на работе, всегда без присмотра, хотя и на виду у всего барачного посёлка. Уговаривать Илюху остаться не надо было, и тётка тут же отгородила ситцевой занавеской в своей комнате для него угол, обязав не бродяжить и помогать с мальцом. Дня три спустя заявился из деревни обеспокоенный Федот. Как следует отругал и тётку, и сына, но вскоре смирился и даже поговорил со знакомым шахтёром, чтобы взяли Илью куда-нибудь к стоящему делу. Зимою к началу сорок первого года Илья уже ходил в подручных у слесаря на вагонетках…

3.

…К вечеру над Круглой сопкой повисло сизое облако, нижним краем зацепившееся за сучья выветренных голых дубов. Необычно и настороженно над логом расползлась тишина, словно подозрительно прощупывая дворы с робкими проблесками керосиновых огней в окнах. В сером бесснежном поле сразу за околицей непривычно затих ветер.

Федот, управившись на конюшне, в сумерках подходил к своему двору, когда в окнах только-только меж ставен замельтешил свет от лучины. «Евдокия должно впотьмах канителится. Керосин бережёт. На кой ляд беречь-то…?», - думалось впустую и бесстрастно. Федот потоптался ещё по двору, поёживаясь да поглядывая на надвигающуюся небом темень, потом зачем-то прищуром заглянул в сарай, дохнувший ему в лицо овечьим теплом. Так и не разглядев ничего в темноте, закрыл обитую ветхой рваниной тяжёлую дверь на деревянный вертлюг, подперев его для верности подвернувшимся под руку суковатым колом.

- Ну, мать, к Рождеству никак со снегом будем! К утру так повернёт…. Висит мёртво, но вот-вот сорвётся.

Проговорил с порога, не глядя на жену. Та, оборотившись на его приход от лучины, при свете которой возилась с куделью, притороченной ловко к деревянной стойке прямо у стола, тихо отозвалась:  
- То-то я рук не чую…. Так и переломило всё в локтях.

- Так брось веретено! Прялка ж вона…. И керосин запали. Чего уж слепнуть?  
Федот ворчит для порядку без злобы и не для ссоры.  
- Веретеном занятнее. И сучит мягше…. Свяжу Варваре, да Сергуне её, да пару Илье.

- Скажешь тоже, занятнее…. На прялке же легче?

Федот кряхтит у порога, снимая валенки. Проходит к столу, зажигает лучиной лампу. В хате заметно светлеет.

- Во, мать! Это же другой коленкор! Кидай в угол своё вертело, да вечерять будем.  
Евдокия подаёт с тёплой печи чугунок со щами, пыхнувшими в потолок жёлтым парком из-под крышки.

- Горячее? Налила бы к приходу, уже остыло бы, - ворчит в седые усы Федот и щербатым от частой заточки ножом режет небольшой кусок чёрной краюхи.  
- Студи, дураче, ветер под носом.

Евдокия деревянной ложкой наливает щи в небольшую алюминиевую миску и подвигает её мужу. Тот ложкой поменьше долго прилаживается к горячему, дует и шумно хлебает. Евдокия садится напротив, выпрямив спину и сложив руки в подол меж колен. Смотрит на мужа и молчит. Федот не глядя, спрашивает:  
- Сама-то, что, поснедала?

- Даве уж. Тебя не дождёшься….

- Я при лошадях, пока не управишься – не уйдёшь. Сама знаешь….  
И опять молчат. Федот быстро управляется со щами, пьёт тёплое молоко тоже с хлебом.

Вскоре гасят лампу, укладываются спать. В хате от печи тепло продержится долго, потому с вечера можно не укрываться и лежать с закинутыми руками, слушая начавшуюся-таки за окнами пургу.

…После ухода Ильи на шахту Федот с Евдокией остались совсем одни. От старшего сына уж два года ни привета, ни весточки. Верить по слухам об осуждении Афанасия не хотели, официального оповещения об этом не получали. Худую весть в начале тридцать восьмого года привезла из Владивостока старшая дочь Елизавета, обосновавшаяся в городе ещё раньше. Ладная да пригожая она на семнадцатом году выскочила дурёха тайком замуж за сельского активиста и бузотёра Митьку Епифанова. Похороводилась Лизка замужем года три да и сбежала с заезжим уполномоченным от Митьки. Да и то сказать, разве это жизнь – неделю с мужем, а месяц у матки с тятькой. Благо ещё детей не случилось народить, а может быть наоборот и горе всё от того…. Митька был сверстником Афанасию, значит тогда в двадцать восьмом ему в аккурат двадцать шесть лет было, а Лизавете, стало быть, двадцать. Митька в сельсовете вроде председателя значился. Как-никак грамотей, расписываться умеет, партизанить здорово не партизанил, но пару раз в отряд мотался. По делу ли, без дела – кто знает? Он всегда тут как тут в любом шумном деле. Пьянка ли где случись или того хуже, драка – Митька хоть и не больно усердно, но присутствовал завсегда. Вот и колхоз не без него. Трезвый-то он хоть и вертлявый, но терпеть можно, а вот чуть запустит за воротник, всё – пропал человек. Одна окаянщина тогда из него прёт валом, удержу нет. Колотить Лизку приноровился, ирод. Та тоже девка не подарок, но так люто жинку свою, пусть и не венчанную, бить, чем попадя, христианину не гоже. Да только сломилось видать времечко над человеком, не поправишь ничем. Федот, как узнал о Лизкином замужестве, взялся, было за вожжи, да Евдокия повисла на руках: «не тронь Федотушка, дитё твоё, в том и наш грех, не доглядели, а битьём не исправишь. Не пугай младшую…». Знает баба, чем усовестить мужа. Варьке тогда одиннадцатый год шёл. Глянул тогда Федот в ясные бирюзовые, как июльское небушко, глаза младшей дочери и поостыл. Простить Лизку не простил, но и не тронул, словно отвернулся. Говорил с ней мало, даже и тогда, когда она подолгу «отдыхала» от муженька в родительском доме. Словно не замечал её. Промолчал и тогда, когда подалась Лизка в город за уполномоченным. Оторвался листок от ветки…. Прижилась в городе, и работа нашлась, и жильё подходящее. Уполномоченный-то её мужик смирный, партейный, при портфеле. Детишков так и не приключается у Лизки, безудалая, стало быть, уродилась. Не зря говорят: посей рожь, а васильки сами вырастут…. К родителям в деревню наведываются редко, за десять лет раза три и были. Вот последний раз два года назад, в тридцать восьмом и накатывали по осени. Погостили дня три, молока деревенского попили вволю, по лужкам за околицей погуляли да и убрались обратно в город. Тогда и младшую Варвару за собой сманывала. Да только у той уже свой местный ухажёр завёлся, потому и не укатила за сестрой в город. Там свой уклад, свои порядки. Чужая Лизка теперь, себе на уме, городская…. Тогда-то и рассказывала про Афанасия, что знала от своего мужа, а тот случаем проведал малость в своих партейных кабинетах. За что, про что угодил лихой красный командир в немилость, Федот не понял. Да только припомнил, какой случай увёл сына из дому и подумал тогда о своей правоте: говорил ведь, не суйся чужо делить. Ох-хо-хо…!  
Гудит за стенкой декабрьская метель, хлещет в окна ветром со снегом, как зверь лютый скребётся в ставни. Гулко и пусто в Ерохинской хате, когда-то ещё и тесной порою для всех. Федот припоминает всё да ворочается беспокойно, кряхтит.

- Спи уж, леший…, - ворчит Евдокия, а по всему видно и сама не спит.  
  
 …За зиму всем миром, призывая на помощь даже власть из города, трижды устраивали облаву на волков. За последние два-три года в лесах окрест случилась неуродица, сухотища. Лес оскудел. Нынешняя зима снегом веси завалила. Зверь взлютовал, повадился по дворам шастать да потраву творить. Когда дошло до колхозной овчарни, где волки подрезали за одну ночь, чуть ли не всю, и без того небольшую отару, сам председатель возглавил мужиков против серых разбойников. Вооружились, кто, чем мог, подняли шум-тарарам по всей окрестной тайге. К весне большую волчью стаю разрознили и почти всю истребили. Не обошлось и без приключений. На последней охоте, загнав остатки стаи в глухое место, чуть было не потеряли Егора Тихого. В самый важный момент кончились у его берданки патроны, а загнанная в угол стая летит прямо на него. Упал мужик бедный в сугроб и конца своего дожидается. Не подоспей тут кто-то из мужиков вовремя, каюк бы Егору пришёл. Но стаю отогнали, волчищу матёрого застрелили, а потом ещё всю весну и лето после того разговоров было….   
  
 …Когда пришли лютые морозы, а земля надёжно скрылась под тяжёлым одеялом снегов, его жестокое сердце, всегда ровное и уверенное, вдруг защемило непонятной беспощадной тревогой. Это чувство овладело каждой мышцей, каждой настороженной жилкой. Его сухое упругое существо переполнилось этим чувством до корней волос. Даже днём хотелось выть, задравши голову в белёсое низкое небо. И он предавался этому с упоением, лишь только ночь подминала в свои зябкие объятия окрестные вершины корявых дубов. Он выходил из мрачного оврага, который служил ему неплохим убежищем уж добрый десяток лет, садился на самом краю, задирал лобастую морду вверх и… выл. Он знал наверняка, что стая слышит его. Он всегда чувствовал это. И знал, что не сегодня - завтра стая придёт к нему. Голод и зима обострят в стае инстинкт подчинения сильному и жестокому, которому природа дала чуть больше, чем остальным, чтобы уметь выжить в самые трудные и голодные времена. Сильный в одиночку мог то, чего не умела вся стая. А он мог! Он знал и мог много! Так много, что иногда сомневался в нужности всего этого для себя самого. Единственное, что усмиряло его сомнение, была мысль о стае, о том, что стая где-то рядом, всегда рядом и всегда может случиться голод. И тогда стая придёт. Тогда он будет нужен стае, которую он никогда не любил, за что стая платила ему всегда тем же. Но какая-то неведомая сила заставляла его всю свою трудную и долгую жизнь накапливать в себе умение самосохранения, год от году упражнять в себе все инстинкты, наверняка зная то, что придёт час и стае понадобится вожак, знающий секрет выживания в год Великого Голода. Так бывало один раз в поколение. Только один раз, но… бывало непременно. Это знали в стае все. Но также знали, что предвидит и остаётся сильным в этот миг - один. В эту зиму стая придёт к нему, к одиночке. И он против своего желания должен будет научить стаю выжить….

…В то далёкое тревожное лето, когда Громыхающая Смерть бродила в здешних трущобах, он остался без матери. Сейчас он почти не помнил её. Она сохранилась в памяти какой-то серою тёплой тенью на входе их сухого укромного обиталища. Только запах матери всегда жил в нём и, казалось, оживи сегодня этот запах за пять-шесть километров от его оврага, он сразу узнал бы его. Но такого запаха он больше никогда не встречал. Вот запах убитой матери он, потом не единожды, вдыхал чутким носом, лишь только Смерть объявлялась в окрестности. Громкая и беспощадная она находила добычу в любом самом дальнем и глухом месте. После того, как она делала выбор, уже недвижимая добыча её распространяла далеко окрест запахи убитой вот так же когда-то его матери. Это был запах самой Смерти, останавливающий дыхание, заставляющий колотиться сердце и мчаться прочь сквозь любую непролазную чащу…. Но в то лето он ещё не умел так резво бегать. Самый слабый из семерых сестёр и братьев он замешкался тогда у недвижной, с излишне вытянувшимися ногами, матери. Всё остальное серое семейство бросилось врассыпную, а он скулил и тыкался носом в ещё тёплую материнскую шкуру. Какая-то неведомая сила ухватила его за загривок и подняла высоко от земли. Он напрасно пытался вырваться. Сила, его державшая, была велика и непостижима. В чём-то пыльном и тесном его долго тащили, потом та же сила вытряхнула его в душистый ворох соломы, а огромная голая лапа вновь трясла его за загривок. Он изловчился тогда огрызнуться и укусил эту лапу. Та оставила его в покое…. С тех времён чувство неизбывной тоски и одиночества поселилось в его настороженном теле навсегда. Это чувство тогда даже пересиливало голод, и он долго отказывался от заботливо подаваемой ему тёплой, белой, сытно пахнущей жидкости. Умение голодать он освоил самым первым из всего, что потом нужно будет одиночке…. И, наверно бы, подох тогда так и не дотронувшись до пищи, если бы всё та же сильная, белая лапа не разжала его слабеющих челюстей и не заставила насильно глотать живительное тепло. После этого он сам стал осторожно притрагиваться к еде. Но ел ровно столько, чтобы почувствовать лишь, что жизнь не уйдёт из него. С того самого времени умение побеждать голод он всегда совершенствовал в себе. Теперь он умел оставаться достаточно сильным неделями, смиренно соглашаясь с недостатком пищи. Но как бы там ни было, чувство благодарности к той лапе, что кормила его, волей неволей зародилось тогда в его костлявой груди. Он по прежнему огрызался и не подпускал лапу к своему загривку, но что-то уже удерживало его от возможности намертво вцепиться в мягкую податливую плоть. Ему стал приятен и запах долговязого существа, заботящегося о нём и пытающегося своей безволосой лапой всегда заигрывать с ним. Эта лапа всегда приносила с собою сладкий запах тумана, густо исходившего из небольшого сучка, что сжимала лапа в своих толстых и тупых когтях. Такой, только слабый, запах иногда приносила его тощая серая мать. После своих отлучек из их уютного убежища она возвращалась усталой и чуть-чуть чужой, потому что всегда вместе с нею в нору приходили незнакомые запахи. Она пахла ветром, сырою листвою, пихтовой смолкой, луговым цветом и ещё каким-то чудным дымом или туманом. Потом он часто вдыхал такой запах в тех случаях, когда оказывался вблизи селений, у овчарни или конюшни, куда в суровые зимы голод приводил его за добычей. Это был запах людей и их жилья. Но даже среди всего многообразия людских запахов он всегда мог определить запах той благодетельной прокуренной лапы, что заботилась о нём в его беспомощном начале.   
От человека он ушёл в первую же весну, лишь дохнули проталины на косогорах прелью прошлогодней травы, лишь брызнула в небо верба серебром своих барашков. Безволосая лапа больно поколотила его за придушенную в углу двора курицу и привязала его в сараюшке на короткую грубую верёвку. Так было часто с тех пор, как его, долговязого и неуклюжего, пытались приучить ко двору и отпускали с привязи. Он не любил верёвку и тогда, когда его ею били, и тогда, когда его ею привязывали. Курица была последней его проказой в этом дворе. За ночь он стянул через уши ошейник и, взобравшись на пустую перевёрнутую бочку, ушёл через крышу, прорвав меж редкими досками рубероид. Ушёл сразу и бесповоротно в лес, оставив позади, увязавшихся было с лаем, собак….   
Первый год одиночества он вынес удачно легко. Поводырём и учителем ему в незнакомом месте были голод и страх. Голод заставлял искать пищу, не брезговать любой подвернувшейся мышью. Голод научил его распознавать даже съедобные корни и растения, что часто спасало его потом, во времена неудач и промахов на охоте, и сделало его выносливым. А страх уберегал от неведомого и учил терпению. И то, и другое тренировали тело. Ноги его окрепли и не знали устали в многодневных походах за пищей. Вторым летом он возмужал, и к осени принял обличие крепкого молодого зверя с осанкою опасного и сильного гордеца, которая обычно приличествует одиночкам. Только к зиме непонятное, непреодолимое чувство тоски заставило его искать себе подобных. Ещё летом он приметил нору, где ютилась волчица с потомством. Но осторожность не позволила ему даже обнаружить себя, и он лишь издали несколько дней наблюдал за беспокойным выводком, а потом убрался подальше, выбирая глушь и чащобу. К зиме одиночество обострило инстинкты, природа требовала продолжения рода, и он, движимый лишь неодолимым чувством накатившей невесть откуда любви к той заботливой волчице, сорвался со своего обжитого места и ушёл в стаю. Долго шёл на далёкий вой в ночи, ошалевал от дикой ярости к своему неумению противостоять зову великого таинства любви. Останавливался, поворачивал назад, опять останавливался, кружил по чаще, обдираясь в буреломе о когтистые лапы павших елей, и все-таки возвращался на жуткие, режущие морозный воздух звуки ночной волчьей песни. Долго кружил уже рядом со стаей, петлял, отходил в сторону, принюхивался и, вскидывая гордую голову на каждый шорох, жадно втягивал в себя воздух близкого звериного сборища. Только основательно изведав окрестности, он приблизился к стае, чтобы ещё издали долго наблюдать за сородичами.

Стая была немногочисленной, сытой и неосторожной. Любовные игры сделали зверя шумным и общительным, хотя грудились в кучу на большой площади лишь молодые самцы, а самки и кто постарше предпочитали несколько обособленные места вокруг. Его они увидели лишь тогда, когда он сам проявил себя издали, поднявшись из своего укрытия в овражке за большим ореховым кустом. И тут, кажется, не оправдались ни его страхи, ни излишняя осторожность. Стая осталась как будто равнодушной к чужаку. Но это было чуткое, настороженное равнодушие. Осмелев, он сделал несколько шагов в сторону молодых резвых самцов. В первый миг его приняли на равных. Но вторым мигом ему пришлось сделать угрожающий выпад с клацаньем зубов по отношению к одному из молодых, пытавшемуся, кажется, заигрывать с ним. После этого молодые оставили его, разочарованные угрюмостью и недружелюбием чужака. Они не увидели в нём силу, но не нашли и ровню. Этого было достаточно, чтобы не состояться и намёку на дружбу. Равнодушие сразу же отделило его от молодых. Зато он вмиг заметил, как насторожился сильный самец, что поодаль наблюдал за стаей. Это был явно вожак. Вот его расположение и требовалось, чтобы стая приняла чужого.

Одиночество многому учит, но оно нисколько не даёт умения общаться с себе подобными. Он не знал законов стаи, не знал запретов и ограничений, не знал коварства и обмана. Всему этому нужно было научиться раньше. Но теперь ему предстояло только полагаться на случай, который даст либо шанс сблизиться с сородичами, либо что-то помешает этому. Этим «что-то» оказались его собственная гордость и никогда не обманывающее чутьё, встреченного им, вожака. Опытный волк увидел в нём своего соперника. Он умел видеть далеко и прозорливо, этот серый матёрый хищник. Драка завязалась просто и без прелюдий. Вожак знал свою силу, и её нужно было показывать сразу же. Он также не знал противника, и поэтому знакомиться решил без промедления.

Схватка была короткой и безжалостной. Вожак резко метнулся к чужому, сделал обманное движение, сшибая грудью и намереваясь вцепиться зубами в крепкую шею молодого новичка. И все-таки он промахнулся. Пришлый соперник оказался более увёртлив, чем это показалось сначала. Уже на излёте прыжка вожак понял, что это его последняя схватка. Мелькнувший колючий взор противника красноречиво говорил ему об этом. Смыкая зубы он не почувствовал привычного хруста хрящей. Рывок, нацеленный к глотке, пришёлся только по боку чужаку. На зубах заскрипела шерсть, клыком он все-таки полоснул податливую шкуру. Она без особого сопротивления тут же засочилась теплом в его сомкнутые намертво челюсти. Молодой зверь, уйдя от прямого удара, лишь взвизгнул от боли в боку и на извороте вцепился вожаку в шею там, где бьётся струёй в голову кровь, где под шкурой всегда напряжены верёвки сильных мышц. Боль и тому и другому ворвалась в мозг, спутала движения, но инстинкт самосохранения довершал всё сам. Вонзая клыки в горячую глотку и разрывая её резким движением в сторону, чужак вдруг затих словно мёртвый. Кровь противника хлынула ему в ослабевшую пасть, но он не ощутил её вкуса. Силы оставили его на миг. Капкан сомкнутых челюстей вожака в боку, тяжесть ещё подёргивающихся мышц давили к земле. Снег, обагрённый кровью, заискрился арбузным нутром. Вожак был мёртв, а чужой, последним усилием разрывая себе окончательно пах, освободился от его зубов и надолго затих тут же. Стая отшатнулась от поверженных и оцепенела.

…Как он выжил в ту зиму, знает лишь глухой потаённый угол распадка меж двух крутых лесистых вершин. В самом низу, в мшистых валунах здесь всегда булькает ручей. Говорок его слышен даже студёною зимой из-под белого сала метровой наледи, остатки которой ещё и в июне можно встретить под комьями корней вековых лип, повисающих густо ко мхам. И опять с самого начала ему везло. Уползая с места схватки, инстинктивно не оставляя за собою следа, он часто подолгу слизывал кровь с раны, мешая её с повалившими вдруг с неба мохнатыми снежинками. В распадок он скатился кубарем, барахтаясь в глубоком снегу, ошалевая от боли и бессилия. И взыгравшая к ночи пурга скрыла его. Ему повезло и с логовом. На южной прогалине в таволге он свалился в овражек, да так и остался в нём, занесённый снегом, до окончания вьюги. Потом он мало помалу выгреб снег до земли, где толстый слой палой листвы послужил ему постелью до весны. Здесь было безветренно и сухо. Лишь постанывал по соседству в морозы голубой, с витой прозеленью по всему стволу, клён. Кормился он случайной мышью. Грыз мёрзлый берег ключа, отыскивая сладковатые корни колючей аралии, да к концу зимы удавил-таки давно примеченного колонка. Растянул его с тупым отвращением недели на две, прикапывая вонючую тушку среди камней снегом. И только когда с вершин ушёл снег, зашелестела поверх наледи в овраге весёлая вода, когда в его убежище стало заглядывать ласково и призывно солнышко, он, с трудом волоча ногу, спустился километра на четыре к железной дороге, звуки и запахи которой всю зиму тревожили его даже в его глухомани. За этой дорогой у зелёной подковы большого озера жили люди…. Это был его последний шанс. Обессиливший, с гноящейся раной, он только рядом с человеком мог надеяться на лучшее. Чутьё и здесь не подвело его. Всё лето он осторожно кормился у посёлка, воруя живность со дворов, обманывая собак и охотников. Но как только силы вернулись к нему, он ушёл тотчас в глушь.

…Этот год, казалось, ничем не отличался от предыдущих, но ещё прошлой осенью после отлёта птиц лес затих и насторожился. В такой же настороженности сбросил листву и совсем вымер, лишь только первая пороша легла пухом на землю. Зима простояла малоснежная, ветреная. Даже синиц из лесу словно выдуло. Всё живое подвинулось ближе к человеку. И стая, нарушая законы, всю зиму бродила вокруг, разоряя подворья, доставляя людям серьёзное беспокойство. Но он продержался зиму в своём урочище стойко, даже не подумывая пойти на поводу у безрассудной стаи, не поддаваясь искушению податься к жилью. Весна наскоро пробежала по опушкам леса, словно забывая заглянуть в чащу. И потому лес распустил листву как-то враз, торопливо, словно побаиваясь, что не успеет этого сделать вовремя, да так и остался с мелким листом до осени. Перелёт птиц прошёл где-то стороной, и озёра, обычно шумные в эту пору, свинцово хмурились, отражая лишь пики светлых, не набравших нужной зелени ёлок. Пустынно шумел в логах камыш. Так и не набрала силу трава. И во всём присутствовала какая-то тупо гнетущая тревога, потаённое напряжение. А летом тайгу спалило невиданным зноем. Сушь добралась во все закоулки леса, накаляя в пустых ключах камни, превращая в пепельную кору мхи по берегам, выветривая светлые, измельчавшие листья на деревьях. В воздухе стоял горький дым близких пожаров, а случавшиеся ветры не приносили долгожданной прохлады и лишь будоражили и без того тревожным звоном сухостоя окрестную чащобу. И осень не принесла облегчения. Нагрянула резко, без задержек. Пронеслась опустошающим тайфуном, сшибая шквальным ветром всё, что и без того плохо держалось, унося всё к океану безжалостной, ненужной водою, скатывающейся быстро и бесполезно. В тайгу бесповоротно пришёл год Великого Голода. Оцепенение и безмолвие сошли с небес вместе с первым большим снегом, и грянувшие следом трескучие морозы сковали больно и безжалостно всё поднебесное пространство….  
Ещё с прошлой зимы стая перешла из глухого урочища ближе к людным местам. Несмотря на бескормицу, численность лесного серого населения была как никогда велика. Потому-то даже летом стая не распадалась совсем и бесчинствовала в округе. Матёрого одиночку стая долгое время словно не замечала, но никто из серых разбойников никогда не осмеливался встречаться с ним. И когда его долгая жуткая песнь резала вязкий студень ночного воздуха, стая затихала в оцепенении и сбивалась в кучу. Казалось, она боится пропустить даже малейший перелив этого всепроникающего зова силы и власти. И с каждым днём, с каждой всё более и более морозной ночью стая ближе и ближе подвигалась к его обиталищу. И однажды, когда студёное утро, окунув колючее серебро ёлочных макушек в олово светлеющего неба, пришло в его потаённый овражек, он точно знал, что стая рядом. Тут, невдалеке, на более пологом спуске к заиндевелому ключу, было ровное место. Несколько лет назад люди вырубили здесь большие деревья, и теперь лишь осинник топорщился из-под толщи снега. Только здесь стае можно было быть вместе на виду друг у друга. В это утро он знал, что стая ночевала в осиннике. И с этого самого утра он обязан будет теперь водить стаю в поисках пищи туда, где кормился все эти годы сам. Он покажет им оленьи солонцы там, под самым небом, откуда лишь сочится тот ключик, что рядом сейчас стонет под глыбою застывшего потока. На солонцах они продержатся некоторое время, отбив от маленького стада двух - трёх изюбрей. Стаей это можно будет сделать, хотя при этом и стая потеряет двух-трёх удальцов, самых азартных и неутомимых, первыми кидающихся на добычу. Потом он научит неделями караулить небольшой шумный кабаний гурт, чтобы выхватить, в конце концов, зазевавшегося подсвинка. Он знает, что после двух- трёх встреч кабаны уйдут отсюда. А искать их, значит потратить впустую и время и силы. Он вместе с голодом научит сородичей не брезговать мышами, любым мёрзлым клубнем или корешком и только в самом последнем случае поведёт стаю в селение к людям. Он знает, как люди могут оберегать свой скот и живность, как будут устраивать западни и ловушки, как будут выходить всем миром в лес, призвав в помощницы Громыхающую Смерть. И будут посылать шумную гигантскую птицу в небо, чтобы и оттуда разогнать и уничтожить стаю. Но он обязан будет провести через всё это хоть маленькую часть стаи, хоть две-три особи должны выжить в этом вихре безжалостного времени Великого Голода. И стая беспрекословно будет следовать за ним, будет верить ему, бояться и трепетать пред силой его натуры. В нём лишь стае обещано сейчас продолжение….  
Февраль в полудни уже дохнул нечаянным теплом. Оконца льда на ключе, вылизанные ветром, побурели, стали шершавыми, а кромка южных сугробов оплыла вдруг скользко вниз ножами звонких сосулек. Уже можно было погреться боком где-нибудь в ложке у валежины. Посинело небо и приподнялось заметно над вершинами. И серые мари, и коричневатые дубняки ближних сопок, и мрачный каменный берег ключа - всё настороженно прислушивалось к дуновению свежих ветров, прилетавших с теплом откуда-то из долины. Тайга ждала весну.

От большой волчьей стаи после зимы осталось только семь исхудавших голодных особей, включая и матёрого одиночку. Люди преследовали теперь их каждый день, не давая передыху, загоняя в глухой угол оврага. Оттуда выхода стае не было. Одиночка это знал. Последним правильным решением было бы идти прямо на людей. Но он всё уходил и уходил со стаей, надеясь на то, что люди выбьются из сил и отстанут. Или же в самый последний момент он сумеет вырваться, воспользовавшись каким-либо промахом преследователей. Так бывало не раз, когда удавалось и уйти, и ещё прихватить с собою нерасторопную уставшую собаку. Спастись кому-то можно было, только презирая смерть, поборов страх перед человеком….  
Солнце скользило затухающим красным лучом по вершинам, когда совсем выбившаяся из сил стая остановилась у серой каменной осыпи. Вперёд дороги не было. Сзади в глубоком снегу вязли уставшие, охрипшие собаки. Следом виднелись цепью люди, полукольцом перекрывшие всё небольшое пространство глубокого заснеженного распадка, которым только и можно было уйти из-под крутой, почти отвесной осыпи. Нервно скулил чудом ещё выживший, совсем обессилевший однолеток, уткнувшись мордой в ещё тёплый от солнца камень. Вожак немигающим белым глазом искал брешь в охотничьей цепи. И едва он заметил, что справа метрах в двухстах чуть приотстал большой грузный человек в рыжем треухе, а собаки сбились левее туда, где помельче снег, метнул своё сухое гибкое тело в ту сторону, словно полетел, чуть касаясь кровоточащими лапами ледяной корки сугроба. Стая бросилась следом. Загремели выстрелы. Взвизгнул прощально однолеток и остался лежать под осыпью в снегу серым недвижным пятном. Остальные стремительно приближались к усталому человеку, намереваясь сшибить его с ног, разорвать его в клочья, захлёбываясь злобой и безысходностью…. Человек дважды, торопясь, безрезультатно выстрелил, потом почему-то отбросил в сторону ружьё и попытался бежать. Но вскоре увяз в глубоком снегу и упал. Расстояние между ним и стаей с каждой минутой сокращалось. Судьба сама готовила хищникам жертву. Вожак принял самый последний вариант спасения, который ему предлагала природа. Морозный воздух раздирал ему ноздри и лёгкие, сердце клокотало в сухой жилистой груди. Ещё несколько прыжков, и он достигнет обессилевшего человека. Но что-то ворвалось в его лобастую голову, растеклось оцепенением по всем мышцам, и он, недоумевающий и сникший, замедлил бег, замешкался, сбился с дыхания и наконец остановился, как вкопанный в двух прыжках от недвижного тела. Втянул в себя запахи и застыл, оскалив пасть. Сзади слышится шуршанье снега. Это надвигается с угрожающим сопеньем чуть отставшая, стая. Несколько мгновений, и она будет рядом. Ещё не сознавая своей медлительности и причин её, вожак делает осторожное движение к человеку. Опять вдыхает его тепло и запахи, на мгновение расслабляется и почти тыкается носом в тёплую, безвольно откинутую в снег, ладонь. И тут запахи детства врываются в память, будоражат мозг, заставляют напружиниться. Он отскакивает от человека, оборачивается навстречу стае и, ощетинив холку, выдавливает из себя свирепый и долгий рык. Первое мгновение стая не слышит его и продолжает одолевать последние метры глубокого снега. Но это лишь мгновение, а в следующий миг стая останавливается, словно упирается в неведомую стену. Голодные, жадно дышащие звери пытаются обойти со стороны. Но вожак делает два коротких прыжка вправо - влево и застывает с грозным оскалом, готовый вцепиться в любого, сделавшего малейший шаг к человеку. Стая недоумевает, расслабляется, пробует окружить. Но потеряно время, и рядом слышен уж лай собак. На взгорке мгновенно, словно из снежного заноса, вырастает фигура другого охотника. На весь лес скрипит под его ногами снег, доносится его шумное дыхание, похожее на свист. Вожак видит, как охотник вскидывает свою громкую суковатую палку, которой всегда указывает Смерти её выбор. Палка чуть колышется и выпускает из себя маленькое белёсое облачко. После этого должен будет трескуче расколоться воздух, осыпая снег с ближних ветвей. Но вожак почему-то не слышит этого. Что-то неодолимо тяжкое вдруг налегает ему на грудь, безжалостно толкает, сбивает с ног и отбрасывает в глубокий белый сугроб. Он пытается приподняться, но тело уже бесчувственно и неподвластно ему. Он видит свои вытягивающиеся лапы, кровь на снегу…. Последним усилием поднимает голову и провожает затухающим взором уходящую из-под обстрела стаю. Что-то розовое врывается в голову, застит глаза, и уже сквозь почти непроглядную пелену он встречается взглядом с глазами лежащего рядом человека. В них страх и недоумение, жалость и бессилие, в них кровавый снег и закатное небо, в них боль утраты и радость спасения, в них продолжение и торжество жизни….

4.

…За пару недель Евдокия собрала крынку сметаны, ежедневно снимая вершок с молока, что отстаивала в небольшом погребке под полом. Из простокваши отжала с килограмм творогу. Сложила молочное в лёгкую ивовую корзину, прикрыла платком. Вечером в субботу надёргала с грядки пучок зелёного лука, пучок чеснока, только-только набирающего силу в твёрдых пахучих головках, тут же свалила горкой ещё молодую, с яркой кустистой ботвою, мелкую морковь. Всё это почистила, выполоскала холодной водой, высушила и дополнила корзину. Завершила всю снедь небольшим подрумяненным караваем из тех семи, что выпекает сама раз в две недели. Накрыла корзину чистой холстиной, оставила на полке в сенях. Рано утром в воскресенье, чуть посерело в окнах, засобиралась в город к детям.  
- Ну, всполошилась, - язвит с постели Федот. – Ты бы ещё затемно и

подавалась, а лучше бы ещё вчерась пошлёпала…

Ему совестно, что не выпросил в правлении лошадь и что уходит жена пешком. Потому серьёзно и заботливо добавляет:

- Сапоги мои надевай, свои оставь, починю…

- Ладно, уж. Спи ещё. Я по холодку до духоты доберусь к Варваре, а там кто подсобит, глядишь, и Василису навещу до темна. У них заночую, а завтра домой жди. Пошла я…

Федот сквозь дремоту слышит, как Евдокия шумит ещё на кого-то во дворе. «Где она там ночевать будет? Дурёха. Там и места нету. Там Илья…», - сон одолевает, и он бессвязно думает ещё что-то. В доме сладко пахнет сухим кленовым цветом, что развешен веточками по углам с Троицы. Евдокия любит к Духову дню, что сразу в понедельник за этим праздником, устилать полы свежескощенной травою, а углы украсить медоточивым цветом клёна мелколистника. «Траву дня через три убрала, а вот цвет подсох, хоть чай заваривай…», - мысли убегают совсем и он вскоре засыпает.  
Евдокия не зря торопилась ещё по сумеркам выйти в дорогу. Путь в пять вёрст и так неблизок, а если ещё и солнце в голову, то вдвое дальше покажется. Потому и выскочила до свету, чуть посерело небо. Ночь уходила в тень садов, под крыши изб, ложилась дорожками вдоль заборов, увитых колючими хвостами резучки, скрывалась в сырой овраг, в ивовые заросли у реки, над которой молочным тяжёлым валом висел недвижно туман. На сером небе бесцветным пятном виднелась половинка луны. Мягкая прохлада ложилась росою вокруг, и её прикосновение ощущалось на лице и на руках. Евдокии вспомнилось, что по старому стилю нынче Кирилин день, с которого по настоящему и начинается лето. «Пришёл Кирилл, жару пролил…». Потому в логах по траве и под кронами тяжелеющих листвою деревьев стоит зачаровывающая пряная тишь.

Евдокия прошла вдоль улицы мимо сонных домов до проулка. Потом свернула на тропку, уходящую вверх от деревни просекой с рыжими столбами радиосвязи, что года три как исправно действует и приносит в деревню все большие и малые новости. Тропу набили сразу же, поскольку она срезала наполовину дорогу, уходящую околесьем по увалу, выискивая места посуше да поровнее. А тропка круто взбегала на плоскогорье, ровной нитью резала его вдоль и только потом встречалась с дорогой наверху, откуда уже соединившись, сбегали обе к виднеющемуся на склонах сопок городку.  
В оставшейся позади деревне громыхнула телега. «Кто-то раненько выехал…? Знать кто, договорилась бы ещё с вечера в попутчицы…», - перекладывая с руки на руку тяжёлую корзину, думала Евдокия. – «Теперь-то что жалеть…? Теперь шагай баба до перекрёстка, авось встретишься с подводой, ежели они не обгонят…». И заторопилась, подбирая свободной рукой подол тяжёлой не по сезону тёмной юбки.

Вспоминала, как ходила Илюшкой на сороковом году. От людей стыдно, потому как поздно считается в таком-то возрасте…. А подумать, так, что постыдного в том? Знать в силе состоит ещё баба и делает то, что и надлежит ей делать на Земле. Так, поди ты, стыдно…. И что ни выделывала с собою, каким снадобьем ни пользовалась, не смогла обмануть Божий промысел. Цепко оказалось позднее семя Федотово, и до положенного срока так и не пожелало выходить на свет бесполезно да безобразно. Так и проходила своё. Легко, не замечая словно своей тяжести, загоревшись изнутри тихим ласковым светом. Спала – улыбалась, вставала пёрышком, ходила, как порхала и всё с улыбкой. Сколько работы по двору да в избе переделает за день, а не устанет. То ли от Бога это, то ли не девка сама давно уж, то ли от заботливости Федотовой, а только и не заметила, как отходила мальчишкой и в аккурат на Ильин день опросталась легко, по-домашнему. И не звала никого, сама управилась с мужней небольшой помощью….

«…Лёгок поскрёбыш был, да нынче вот как тяжко…», - Евдокия перебрасывает корзину с руки на руку и поглядывает на всходящее солнце. – «Сколько пришлось Федоту походить в сельсовет, чтобы документ какой на Илью у председателя выпросить. Без документа человека нигде не признают. Сельского человека и того хуже…. В городе хоть начальства много, один да найдётся добрый и понимающий, а на селе на всё про всё один начальник – председатель. Все справки у него, а он никому их не даёт: ежели всех от земли распустить, кто же тогда пахать-сеять будет? И то верно! Да только не всех справками удержишь…. Афонюшка вон ещё когда оторвался от дома. Где, в каких местах нынче…?».

Затрепыхало сердце материнское при воспоминании о старшем сыне. Заныло чуткое и заботливое надрывно, до боли. Подкатило той болью в дыхание, вступило в глаза поволокой слёзною. Остановилась Евдокия, перевела дух.  
«…Лизавета тож уплыла, словно улетела ветерком попутным. Вот кем ещё легко в беременности ходила. А вот Варю в девятьсот четырнадцатом трудно, хлопотно рожала. А чуть следом Тимошку впопыхах…. Словно война подстёгивала, всё грозилась мужиков позабирать. Вот и спешили должно быть след после себя оставить. Но тогда как-то обошлось. Не понадобился для войны Федот, толи очередь не подоспела. Брата его, Ивана, чуть было не увела тогда война из дома, да тоже какая-то оказия помешала. Счастливые должно быть Ерохины старшие. Младшие вот другие…. Варвара прошлым летом за мужем на шахту перебралась. Живут ладно, ничего не скажешь. Зять человек с заботиной, семейственный. В колхозе с отцом одни из первых, с самого основания. Но, поглядывая на свою нелёгкую работу, надумал потихоньку в город перебраться. Оно-то и там не рай, да только с виду покрепче народ живёт. Зарплату деньгами получают, детишки явно поопрятнее, как вроде при деле все. И пограмотнее народ городской, чего уж там говорить. Нынче осенью Варвара и Сергуню в школу собирать будет. Моё вязанье к холодам в пору будет…», - тепло думает о внуке Евдокия.  
Солнце уже поднялось над вершинами гор, что теснятся бахромчатой каймою по горизонту, оттеняя открывшуюся зелёную долину от бирюзы неба. Отсюда с плоской возвышенности видна внизу река, поблёскивающая сталисто на открытых стремнинах, на перекатах, и отдающая вязким золотом в заводях и тенистых старицах. Вдоль реки по обоим берегам заросли, неровными полосами отрезающие реку от окрестных лугов с колыханием, набирающих силу, трав. Плоскогорье сбегает полого к реке клетками возделанных полей, оканчиваясь растянувшейся улицей тихих, словно безжизненных дворов. Лёгким сухим ветром начинает потягивать верхом вдоль увала, поднимая от земли духоту и сладкие запахи полынного горчака.  
Тропинка проворно выскакивает к наезженной пыльной дороге, словно вырывается облегчённо из плена, быстро насытившихся солнцем, трав. Евдокия ступает на дорогу, останавливается, примостив корзину на зелёную кочку у обочины. Переводит дух. Сзади слышится колёсный скрип, размеренный конский топот и говор, сидящих в телеге мужиков. В одном, что правит подводой, Евдокия сразу же узнала Епифанова Митрия, как никак одно время в зятьях числился. Второй сидел боком и его не сразу разглядишь издалека. «Всёравно свои мужики. Авось подвезут, не откажут…», - спокойно подумалось.

- Тпр-р! – Митька зычно прикрикнул на лошадь, соскочил с телеги. Повернулся и второй мужик, стрельнув тёмным глазом.  
«Сам председатель…», - совсем успокоилась Евдокия.

- А мы-то кумекаем, что за ранняя птица чешет напрямки? А это, как есть разлюбезная наша тёща! – недобро хохотнул Митька.

- Да вот надумала к детям по холодку сбегать, - просто, и ни в чём не винясь, говорит Евдокия. – Подвезли бы? Спасибо скажу…

- На твоём спасибе сама поняй…, мы уж как нибудь на лошадке. А ну, кажи чево в корзине?

- А ты что же уполномоченный какой по чужим корзинам шнырять? – Евдокия поняла, что Митрий с утра уже выпил и потому придирается.  
- Ну, может быть и не совсем чужой? Одно время навроде родственников были, а…?  
- То-то и оно что были. Некогда мне, мужики, задерживаться.  
Евдокия засуетилась. К ней пришло вдруг неприятное утробное беспокойство. Недобрые соловелые глаза Митьки, угрюмая молчаливая фигура председателя в телеге и пустынная дорога: всё складывалось в тревожную картину.

- Ты ещё пойдёшь…, куды надо пойдёшь, - гонористо подступает к корзине Митька. – Сначала ответь, почему не спросясь никого по городам шмыгаешь? А сейчас мы посмотрим, чего несёшь в сидоре…, - он небрежно сдёрнул с корзины холстину.

- Ух, ты! Да тут полный закусон! А пол-литра нету? Угостила бы щас по старой памяти…

- Нет у меня на тебя памяти. И не бузи! Я не больно пугливая, - Евдокия подбодряла себя словом, а на самом деле не на шутку испугалась.  
- А вот мы щас и посмотрим, - Митька достаёт кисет с махоркой, предлагает председателю закуривать, но тот без слов мрачно отворачивается. В это время Евдокия наклоняется, чтобы закрыть свою поклажу, но мужик грубо толкает её.

- Ты, что жа, думаешь, с тобой шутки шутят?

Затем Митька открывает крынку со сливками и Евдокия, не успев ещё оправиться от толчка, видит, как он заскорузлым пальцем, зачерпнув вершок, отправляет в рот.

- Ты что ж это, пакостник, делаешь? Стыда в тебе нет или хмелем давно вытравил? – кидается на защиту корзины Евдокия.

Но Епифанов ногой опрокидывает нехитрый крестьянский гостинец на дорогу и пьяно хохочет. Затем запускает руку в сметану ещё и облизывает, издевательски чмокая.

- Ирод, ты, бессовестный! И чего тебе надо? Какую такую обиду перед тобой я искупить должна? – слёзы выступили на глазах у бабы. Она, причитая, кинулась собирать в корзину снедь.

- Хлеб в грязищу кинул, ирод! Грех это, грех…

- А что жа твой наблюдатель за грехами не накажет меня? – Митька кривляется и верит пьяно по-шутовски руками над головой.  
- Да ты уж крепко наказан, да не понимаешь умом петушинным…  
- Чем же это?

- А бесом, что сидит в тебе. Ты бы и рад сдержать его, да не дано. Другим дано, а тебя обошли…, потому и беснуешься.

Сипло кашлянул с телеги председатель:

- Кончай балаган! Поехали…

- Дай с тёщей договорить, Леонтьич. Родственникам кое-чего передать надо…, - Митька высыпает прямо из кисета в сметану с пол-горсти махорки. – Вот передай гостинчик. Не жалко…. Им в городе, поди, голодно живётся, пусть пользуются добротой Митькиной.

Председатель зло дёргает вожжи, погоняя лошадь грубым матерным окриком. Телега срывается с места. Митька суёт крынку Евдокии в руки и кидается следом.

Женщина с причитаниями собирает в корзину свои нехитрые гостинцы, затем присаживается у края дороги прямо на землю, вытирает слёзы холстиной из корзины и сидит некоторое время недвижно, остановив взгляд на какой-то былине, устремившей в небо пику зацветающего колоска. Глядя на ласково колышущиеся стебли, успокаивается, зачем-то срывает колосок, мнёт его между пальцев, бессмысленно разглядывает, что-то шепчет, а потом решительно встаёт, стряхивает с ладони остатки травы, поправляет юбку и оглядывается. Над землёю вовсю уже стоит чистый ведренный день, шелестит под лёгким ветром в канаве у дороги осока, пёстрые барашки облаков высыпались наискосок к горизонту. Благодать…! Евдокия подхватывает корзину и торопится наверстать время, так глупо потраченное на пустую случайную ругань. Скоро одолевает с полверсты, как за поворотом видит остановившуюся ту же подводу. В нерешительности останавливается и сама. «Не доконали, идолы…», - думается тревожно до противной тянущей боли под ложечкой. – «И не обойдёшь никак. Не домой же возвращаться…», - отыскивает глазами возможность обойти мужиков стороной. Но те уже увидели её и поджидают. Машут руками, зовут. Евдокия набирается смелости и подходит. Митька, понурившись, сидит в телеге. Председатель ходит вокруг лошади, поправляя упряжь. Евдокия, не глядя в лица мужикам, намерена пройти мимо, но председатель делает навстречу ей шаг и говорит виновато:  
- Ты, это…, не серчай шибко. Всяко бывает…. Садись, раз уж по пути.

Подвезём.  
И Евдокия присаживается сзади на самый краешек телеги, и затихает, прижимая к бедру свою корзину. Председатель трогает поводья, легко понукает лошадь и тоже садится. Всю дорогу молчат. Молчат и когда въезжают на ухабистую улицу с дощатыми тротуарами, что вдоль серых с сиреневыми окнами бараков, и когда за подводой увязывается ватага мальчишек.  
Первой заговаривает Евдокия:

- Сойду я…, - просит смиренно с прощеньем в голосе.

- Ну гляди, тебе, как говорится, виднее…

Председатель чуть придерживает лошадь и тут же трогается, лишь только Евдокия подхватывает корзину с подводы. Митька, насуплено приподнимает в её сторону взгляд и что-то говорит. Но его уже не услышать в гомоне ребятни, что в миг окружила приезжую. И пока она добиралась к дочери проулками, весть о приезде опережает её. И потому Варвара с Сергуней, оказываются как нельзя к стати в своей маленькой комнатке в глубине барака. Зять на работе, несмотря на воскресенье. Евдокию не ждали, но искренне рады и привечают исключительно все, кто не занят и кто охоч до гостей, кто не ленится невзначай заглянуть к Варваре в комнату. После приёма и обязательного нехитрого обеда Евдокия засобиралась к Илье.  
- Да не торопитесь, мама. Я провожу, тут недалеко…

- Это недалеко, когда знакомо всё, а я прошлый раз так заблудилась тут в ваших… палатах, - и всё поторапливает: - Поспеть бы к вечеру.  
Наконец выбираются втроём на улицу. Впереди Сергуня босиком, в одной рубашонке с потрёпанным подолом, поблёскивает голой задницей.  
- Нешто не стыдно без порток? – спрашивает Евдокия.

- Да что ему, мал ещё…, - отмахивается дочь, а Сергуня и не слышит бабкиных укоров.

- Так уж мал? В школу нынче…

- Вот к той поре и справим штаны. А пока так походит. Тут не зазорно…. Бедуем все, потому большого порока в том не видим.  
К Василисе Ерохиной пришли нежданно. У той стирка в корыте прямо посреди комнаты. Всплеснула мокрыми руками, засуетилась. Тут же Илья помогает тётке. Тут и Васька, одногодок Сергуне, но серьёзен и совсем не ровня своему беспортошному троюродному родственнику.  
Во второй половине дня всем гуртом закончили со стиркой, и расселись с тёплой стороны барака на использованных железнодорожных шпалах, припасённых кем-то из соседей для дров. Июньский день ласкал теплом серую барачную стену, выдавливая из толи на крыше, из растрескавшихся шпал дрянной запах битума. Евдокия всё охала на Илюхину худобу, а тот по взрослому сердился на излишнюю опёку, но по-всему было видно, что матери он рад и что по-мальчишески скучает по дому…  
- Война!

В окно по пояс высунулся подвыпивший сосед и повторил с нескрываемым сарказмом:  
- Война! Ну, бабы, готовь слезу, немца валить пойдём…

- Тебя щас аккурат только до койки дойти хватит, - смеётся над ним Василиса.  
- Правду говорю. Радио слушай, простота…. Эх, кудрит-куда, новая беда! – сосед на минуту скрывается, затем выставляет впереди себя бумажный колокол репродуктора.

- «…Нарушив договор…, вероломно…, Германия…, Война!…».

Вмиг затихли, раскрыв рты, мальчишки, посерели лицами бабы. Слова врезались в сознание бессвязно, вразнобой, но вместе с ними в сердца приходила тревога и предчувствие грядущих неминуемых утрат…  
  
 …К Рождеству в самый трескучий мороз Илье Ерохину в барак почтальонша принесла письмо.

«…Здравствуй, Илья Федотович.

Пишет тебе брат твой старший Афанасий, и винится пред тобою за малое наше знакомство по причине большой разницы в возрасте и сложившихся жизненных обстоятельств. Пишу тебе, поскольку случаем встретил здесь Ивана Ивановича Ерохина и узнал от него, что ты проживаешь временно у них, что у тебя броня и что работаешь с тридцать девятого года на шахте. Пишу тебе, брат, с большой надеждой на то, что письмо к тебе попадёт вернее, хотя сразу же отправляю письмо и тяте с мамой. Так сложилась моя судьба, что долго не давал о себе знать. Но теперь, полагаю, после того, как я вновь служу и воюю, судьба моя просветлеет и всё ещё может статься, и может быть суждено будет нам свидеться. Дорогой мой брат, сердечно прошу тебя отыскать во Владивостоке мне хорошо знакомую Викторию Фёдоровну, по мужу Варенцова. Назовись ей моим братом, передай привет и мой адрес. Просьба моя убедительная, найди её, Илюша. Для меня это очень важно. Другого пути, найти её, у меня пока нет. А ты молодой и проворный. И даже если со мной что-то случится, найди её. Это важно. Ты поймёшь это, когда найдёшь её. Обо мне не беспокойтесь. Пока воюю упорно и доблестно, как и подобает нашему русскому человеку. Здоровье среднее, но, думаю, всё выправится. Не получаю вестей о жене своей Галине из Омска…. Может быть ты знаешь, как у неё сложилась жизнь. Напиши мне, брат. Целуй за меня маму, тятю и всех…. Обнимаю тебя и остаюсь в великой надежде на то, что ты получишь это письмо и ответишь.

Брат твой Афанасий. Декабрь, одна тысяча девятьсот сорок первый год…»  
  
Получали в это же время письмо от сына и Федот с Евдокией. В нём Афоня так же мало писал о себе, всё больше вспоминал дом, да интересовался житьём-бытьём односельчан, передавал приветы да высказывал надежду на скорую победу. Но письмо это оказалось единственной и последней весточкой за многие годы. В январе сорок второго Ерохины получили на Афанасия похоронку. Тогда словно пришла вечная зима, и остановилось время, и, кажется, колесо его вдруг застыло мертвенно, не в силах провернуться, скрипучее и промёрзлое. Федот совсем забросил своё подворье и пропадал на колхозной конюшне, спасаясь тем от кручины, оставляя жену часто в одиночестве.

5.

…Спустя чуть менее года у Федота над хатой чуть веселее закурился дым. Казалось, посветлело в запечаленных и вечно тёмных окнах. В деревне уже знали: воротился домой младший Ерохин Илья. На фронте не был, а до дому добрался калекой…. Вот, говорят, не остерёгся: толи зашибло чем, толи газом грудь отравил на угольке, а может быть, и то, и другое. Так это или иначе, но все знали, что больной дюже хлопец. За геройство своё имеет орден, но по всему видно, помирать думает вскоре. Слух слухом, но Евдокия заметно подняла платок от глаз, а Федот перестал ночевать в конюшне и теперь к вечеру всегда спешил домой. Действительно, младший Ерохин прибыл на полный пенсион к родителям, был серьёзно болен, и сухая фигура его с утра маячила на отцовском подворье.

Был конец ноября. Зима ещё кралась где-то сторонкой на подступах к селу, навещая околицы зябким посвистывающим ветром. Но меж домов ещё было тихо, ещё заглядывало на всполохе дня в окна мягкое усталое солнце.   
С утра Илья был в сельсовете, просился на работу:

- …Ты что, председатель, шутишь? Меня из шахты освободили, не для курорта. Что полагалось, я уже отлежал в больнице. Теперь должен приступить к работе, а ты меня отдыхать спроваживаешь….  
- Работа, как работа. Учёт на лесоповале, брат ты мой, тоже ответственность…. И вообще в отношении тебя, Илья, имею чёткую инструкцию. Всё! Хочешь работать, пожалуйста…. Принимай лес на верхний склад и все дела. И давай без этих, мне…, - председатель выразительно покрутил у себя над головой.

- Не маленький, кое-чего умею…

Илья по мальчишески обижался, но совсем по взрослому принимал направление на работу.

- Вот отойду чуть, Леонтьич, тогда я с тобою по-другому поговорю. Тогда по специальности предоставь мне работу. Моё дело молотки-железки, а ты мне бумажки промокашки….

- Ладно, ладно, хлопче. Гуляй пока…. Дома бы отлежался? Евдоха, глядишь, отпоит чем, а?

 - Нет, председатель. Сейчас никто не отлёживается, как я понимаю…. Эх, бумажки, значит бумажки, - Илья тяжко вздыхает, хрипя совсем не по молодецки тощей грудью.

Хмурый председатель слушает Илью и болезненно морщится, подёргивая нелепо длинным вороным усом. Ему на вид за сорок, но что-то в его фигуре есть такое, что удерживает от такой оценки. То ли это длиннющие руки с тонкими подвижными пальцами, то ли грустные чистые глаза человека, которому должно быть всего чуть за тридцать.

- А ты, Ерохин, не похож на своего старшего брата Афанасия. Совсем не похож….  
- Я сам по себе, председатель. Понял? А брат сам по себе. Что покойника поминать…?  
- Да я так, к слову пришлось.… Знавал я вашего Афоню. Давние, правда, дела…, - председатель морщится, налегая грудью на край стола. - Изжога одолела проклятая…

- Тятька чагу от изжоги всегда заваривает…

- Берёза это хорошо. Да только в моё дырявое пузо без пользы всё.  
Илья ушёл. А председатель встал и долго смотрел ему вслед через окно. Вспоминал, как вот таким же пацаном партизанил, как угодил под казачью пулю. Тогда он уцелел благодаря молодости да ещё, пожалуй, лазарету у тех же казаков, где тамошний сутулый доктор заштопал ему худое нутро. «…Где этот доктор теперь? Должно ушёл тогда с казаками на Харбин. А может быть и помер уж…. Ему тогда, кажись, лет пятьдесят было. Значит сейчас под семьдесят. Живой, поди, ещё? Доктора долго живут…». Вспоминал председатель, как после ранения и болезни он вернулся по осени в двадцать втором на шахты, а ещё лет через пять по партийной рекомендации был отправлен на село, организовывать колхоз. И ещё вспомнил председатель, что с тех самых пор его никто не окликал Черешней…

 От сельсовета Илья не дотянул до отцовского подворья. Чувствуя, как подпирает к горлу истошный кашель, прислонился к чужой калитке, давая передохнуть вдруг ослабевшим ногам. Из дома выскочила молодица без платка, в наспех накинутой на плечи фуфайке. Поддерживая безвольного мужика, девица увела его в хату.

- Лестно тебе, небось, Маня, молодёжь к себе зазывать, а? - присаживаясь к столу, Илья пытался шутить и улыбался бескровными губами: - Да я, девица ты моя, состарился, вишь, нутром рановато….

Илья вздохнул тяжко и забился в безудержном утробном кашле. Потом затих, опустив голову на стол, будто уснул. Маня Кожемякина - девица, считай, не семейная, похоронившая недавно стариков родителей, мужа год назад отправившая на войну, жила нынче одна с малым сынишкой, работала в колхозе куда председатель пошлёт, а то всё больше в коровнике - то подай, то принеси. Что ни грязней работа - оставьте Мане, она сделает. Молчунья девка, всё стерпит, но не злобливая. А на кого злиться? Всем тяжко, а тащить надо….   
- «Этот вот, мальчишечка ещё, а уж сгинул. Хилость осталась одна бесформенная…», - думалось Мане, глядя в ссутулившуюся спину Ильи. Тот вдруг резко попытался подняться, но, покачнувшись, потерял равновесие и упал всей своей худобою тут же у стола.

- Эх-ма! Горюшко ты горькое…, - Маня осторожно подтолкнула ему под голову ветхое пальтишко, сдёрнув его тут же с гвоздя. Потом присела напротив на выскобленную ножом до желта лавку, подпёрла худющий подбородок руками и заплакала.

- Ты что, Маня? Живой я ещё…. Не реви. Худо мне, но ещё не помер. Попить бы, а…?

Маня погремела в углу деревянным ковшом, подала воду, присев на корточках у изголовья мальчишки, которому жизнь так и не дала вырасти из своих восемнадцати лет, и которому опалила сердце ранней болью, а лёгкие сожгла в забое угольной пылью и чадом шахтного газа…

Недели через две после этого Илью похоронили, и Евдоха Ерохина опять натянула на самые глаза тёмный и, казалось, невыносимо тяжёлый платок…   
  
6.

…Плакала летним пряным утром над озером верба. Плакала, роняя серебро лучистых капель в зелень мягкой сонной волны. Солнце давно уж перецеловалось с вершинами заозёрных черёмух, давно выпарило росы с пьяного луга, поднимая их чуть приметными тучками хмельного туманца. И только здесь под самою кручею подвосточного берега не побывало ещё его тёплого щедрого лучика. И стоит вот верба, купая нижние ветви свои в озере, словно заждавшись солнца, кручинится и плачет нежная, плачет…. А пройдёт совсем немного времени, заискрится в каплях свет, согреет узколистую красавицу, и зашелестит на лёгком надводном ветерке она. Повеселеет. И словно не бывало печального и росного утра….   
Вдоль озера раскинулся небольшой посёлок, разделённый пополам железной дорогою. Одна половина, что ближе к озеру, так и названа нижней улицей, а та половина, что за насыпью, прозывается станционной, поскольку здесь в самом центре посёлка живёт размеренной трудовой жизнью маленькая железнодорожная станция. Чуть на возвышенности крепкое станционное зданьице из красного кирпича, деревянные зашарканные ступени сходят прямо к рельсам на плотно утоптанную полосу перрона. Рядом служебное здание блокпоста с балкончиком и большими окнами. На балкончике красная фуражка дежурного. Издали гудит на подходе к станции паровоз, оглашая всё поселковое пространство своим прибытием. У блокпоста начинает останавливаться и потому скрежещет тормозами, дёргается, словно живое недовольное существо дышит сипло с хрипом. Наконец звякнув сцепками, застывает ненадолго, чтобы выпустить из себя пассажиров. Сошло четверо. Три женщины, по одежде да по кастрюлям в них можно угадать без труда местных хозяек, возвращающихся с городского рынка. С торговли молоком да нехитрой снедью с огорода и живут пригородные деревеньки. Четвёртым сошёл прихрамывающий военный в линялой, почти белой гимнастёрке со следами недавних погон на плечах. Женщины, судача на ходу, заспешили в посёлок, а военный, придеживаясь, пока поезд отходил, привычно поправлял ремень да прилаживал к лёгкому солдатскому мешку ладно скатанный флотский бушлатик. Затем пощурился на весёлое предполуденное солнце и болезненно поволакивая ногу, перебрался через железную дорогу, спустился по торёной дорожке с насыпи. Тропа убегала мимо посёлка полем к поблёскивающей вдали реке. По тому, как уверенно и ходко удалялся военный, можно было определиль, что он из местных. Вслед ему ещё долго смотрел из-под ладони с балкончика блокпоста дежурный, силясь угадать в уходящем знакомого…

Подойдя к обрывистому берегу, приезжий без труда находит спуск. Останавливается у воды, вглядываясь на противоположный берег, машет энергично рукой и кричит…

- Ого-го-го-о! - несётся над жёлтым водоворотом реки, улетает в синь неба над густым дубовым яром и разбивается где-то о кручу на излучине, возвращаясь протяжным, охрипшим: - Хо-о-о!

На другом берегу его услышали. Виден неспешный человек, копошащийся у чёрной небольшой лодки. Слышится его бурчанье, позвякивание лодочной цепи. Лодку сразу же подхватывает течением, но сильные взмахи вёсел направляют её в нужное положение и чёрное смолёное тело её мягко приближается, подымая небольшие буруны по носу.  
Солдат, поджидая перевозчика, укладывает на узкую полоску песка у самой воды свои скромные пожитки. Поглядывая на реку, расстёгивает гимнастёрку. Потом, оголив белое мускулистое тело, выхватывает из реки пригоршней воду и плещет себе в лицо, на спину, покряхтывая при этом смачно и самозабвенно. Тут же шуршит о песок днищем лодка, чуть разворачиваясь, останавливается.

- Что, браток, жарковато?

Бородатое лицо перевозчика искрится в морщинах добротой светло-синих глаз и тут же загорается удивлением:

- Тимоха! Никак Ерохин? А?

Солдат смеётся, отряхивая воду с груди.

- Я. До дома подбросишь, Егор Иваныч? Страсть как скучаю….  
- Ай, Тимоха, ай, солдат! Федотка с Евдохой и не ждут, небось? Поспешай, поспешай!  
Солдат подхватил с песка своё имущество, пробрался к вёслам.  
- Ты посиди. Дай я за капитана? Дозволяешь?

- Давай, поняй, чего уж...

Старик уселся на корме, вытащил кисет и закурил. Лодка, развернувшись, озорно устремилась по течению на большую воду.  
- Ладно гребёшь…, - дед пыхтел дымом махорки, густым и терпким,

- А хромота-то у тебя фронтовая или как?

- Глазастый ты, Егор Ваныч. Вот откормлюсь на домашних харчах, пройдёт. Доктор в госпитале обещал…

- И это, надо полагать, тоже с фронту? – старик кивнул на рваный шрам у предплечья солдата.

Тот, смутившись чуть, поспешил надеть гимнастёрку. Лодку в это время круто стало разворачивать, относя в сторону. Солдат, крепко налегая на вёсла, вновь выровнял её в нужном направлении.

- Э, сынок, не надобно воину совеститься ранениев своих. Они-то, шрамы, солдату вроде орденов положены, и порой подороже иных медалей ценются. Ты что же запоздал с войны? Уж год как миром живём. Аль в госпиталях…?  
- Разное бывало. А задержался на учёбе. Ты лучше расскажи как вы тут…? Я в армию уходил, ты вроде в пастухах значился? Или на повышение пошёл? – Тимофей смеётся.

- Мы-то что…, кукуем помаленьку. Я вот за скотиной бегать уже не могу, потому к переправе представлен председателем. Тут и живу лето в балаганчике, - старик кивнул в сторону берега, - Да и скотины ныне немного. Бабы сами управляются. Молодых мужиков на селе мало, кормить, стало быть, некого, потому и малым обходимся. А ты, говоришь, на учёбе попридержался? Ты же и до войны в больших грамотеях уже ходил…. Чему же ещё учился? Никак на место нашего председателя метишь?  
- Куда мне, тягаться с Леонтьичем. Я в районе думаю прижиться, работать пока туда направили. Кстати, а как председатель? Или уже другой кто у вас?  
- Как есть он! Бессменный наш командир и предводитель. В других колхозах уж поскольку раз председателей сменяли, а наша Черешня стоит…  
- Какая черешня? – не понял Тимофей.

- Так то прозвище у председателя такое было, как малым в городце у шахтёров озоровал. Теперь о том мало кто знает…. Правда, прошлой осенью чуть было не полетел председатель. План по налогам сдали, а что осталось то наскоро поделили по душам. Война кончилась, захотелось посытней отпразновать…. Да найдётся завсегда обиженный, кому меньше при дележе досталось. Кто-то донёс…. Поначалу председателя под белы ручки увели, да потом всем колхозом вызволили кой как. Снесли обратно в амбар, что поделили. Так-то…

Минуту молчали. Слышится шорох воды под смоляными бортами да повизгивание уключин. Захрустела по днищу галька. Лодка резко остановилась и стала разворачиваться вдоль берега. Тимофей соскочил, чуть ступив одним сапогом в воду, ухватил рукою за цепь и подтащил нос лодки на сушу. Потом выпрямился и, заглядывая старику в лицо, настороженно, словно только для этого и пришёл к реке солдат, спросил:  
- А мои… как?

- А что твоим станется, - как-то неопределённо протянул перевозчик. – Девки ваши в город перебрались, другое местожительства себе обрели. При месте, стало быть…. И старики при месте, и Илья…. Словом, при месте все.   
Старик, покряхтывая, выбрался из лодки, по-хозяйски закрепил её цепью за торчащий поодаль от воды толстый отшлифованный деревянный кол. Не глядя Тимофею в глаза, заговорил о другом:

- Ты не забывай, приходь…. Когда уху заварим. Гольяшки в реке, во какие! А намедни верхогляда хорошего вытащил. Чебаки попадаются. Приходь, Тимоша…  
- Приду непременно, отец. А пока спешу, бывай здоров…, - солдат подал старику руку, кинул за плечо вещмешок и захромал к деревне, рассыпавшейся избами чуть выше от реки вдоль овражистых сопок.   
А старик, провожая затуманившимся взглядом выгоревшую гимнастёрку, протянул себе под нос со вздохом: «Из троих один…. Федоту с Евдокией и то в радость…».

…День занимался яркий, с чистым небом, с духотою в седой лебеде, что закустилась лихо вдоль старых, скосившихся прясел. А с улицы под тенью забора тень, сквознячок. Тут ли не присесть…? Федот свернул цигарку, закашлялся и задымил сквозь рыжие прокуренные усы. «До войны-то только всё баловался махоркой, а вот уж пятый год курю без продыху. Привязалось-таки занятье дьяволово. Не отвыкнешь, поди, теперь…?» Скрипнула, скосившаяся в проёме, калитка. Вернулась из сельмага Евдокия.  
- Всё смалишь, дьявол? Калитку обещал починить…, или соседа попросить? - проворчала, шаркая истрёпанными туфлями, ушла в хату.  
-«Всё ей не так, - про себя ругнулся в ответ Федот. – Калитку, вишь, наладь ей…. А для кого? Чёрт бы ей в ляд, той калитке…»,-и он снова запыхтел табаком.  
«Сосед вон затеялся со стройкою, и она туда же…. Так у соседа сын должно по осени оженится, ему надо…. А наши где? Нету-ти! На Афанасия бумажка благодарственная от власти под образком припрятана, Илюха вон за околицей на взгорке почивает, шельмец. Комсомолия сопливая…. Тимоха где-то валандается. Соседский парень домой сразу вернулся, а наши….».  
Федот придавил каблуком окурок, кряхтя, поднялся. «Калитку надо бы конечно починить. Срамота ведь с улицы…», - заковылял в сарай за инструментом. Минут пять громыхал чем-то, чертыхаясь в темноте, потом вышел с плотницким ящиком к калитке. Долго возился с коваными проржавевшими навесами, бурчал что-то в усы, стучал молотком. И только когда калитка обрела маломальский вид, разогнулся, оглядел свою работу, повёл калиткой туда сюда несколько раз и удовлетворённый вышел со двора на улицу. Сощурясь, пристально вгляделся в далёкую прихрамывающую фигуру, что поспешала полем к деревне.

«Солдат, видать, и должно свой ктой-то. Знающе вышагивает…», - Федот, вдруг что-то сообразив, резко оборачивается во двор и кричит в открытую дверь:   
- Евдокия! Тьфу, колода старая…. Глянь ты, а то я никак не узнаю, похоже Тимошка шкандыбает….

На его дрогнувший голос торопливо показалась Евдокия, глянула из-под ладони в сирень полуденного поля, охнула и присела на ветхую скамью у ворот.  
- Тимоша, сынок…, - на щёку ей скатывается тяжёлая слеза, которую она утирает дрожащей рукой и всё смотрит и смотрит, теперь уже ничего не видя, в поле. Федот присаживается рядом и лезет в карман за махоркой.  
  
…С неделю Тимофей просто отдыхал. В отцовском доме спится дольше, спокойнее, как в детстве. Мама неугомонно суетится по хозяйству с самого раннего утра. Топит летнюю печь, что во дворе под навесом. Потому в хате прохладно и можно часок-другой поваляться, сонно внемля маминой суете, её тихому говору за стеной. Потом Тимофей встаёт, долго топчется голый по пояс тут же возле Евдокии, норовя, словно мальчишка, стащить из-под рук у неё что-нибудь вкусненькое. Мать, шутя, ворчит на него, обязательно гонит умываться. И он долго плещется здесь же во дворе из липового корытца, что служило отцу для пчелиных нужд, но сейчас уже треснуло сбоку и потому из него можно только умываться.

Вчера, когда Тимофей так же вот плескал на себя воду, заскочила во двор соседка. Стрельнула карим оком, поздоровалась и прошла к Евдокии по своим женским делам. Тимофей, исподтишка разглядывая ладную фигуру соседки, грешно думал: «Такая красота и простаивает…. Эх!», - и ловил себя на безудержном желании обладать этим крепким, в лёгком сарафане телом. «Вон, как глазом сверлит…. Тоже живая. Зайти бы вечером…», - думалось навязчиво, упорно, и Тимофей не гнал эти мысли, объясняя их себе тем, что ему-то ещё только тридцать. И если честно признаться, то за все свои эти годочки с женщиной близко бывал только дважды. Давным давно ещё до армии на курсах агрономов, кажется в тридцать пятом году, он по уши влюбился в русую статную девчонку из дальнего северного района, что на Имане-реке. Целый год ухаживал. Как до главного дошло сейчас и не помнит. «Долго и упорно выпрашивал…», - не лестно думает о себе сейчас Тимофей. Может и женился бы тогда, но как-то разошлись пути после курсов, а там вскоре и армия позвала в ряды. Грустно и стыдно подумалось, что он почти не помнит лица своей первой зазнобы, не помнит цвет глаз. Только губы… жаркие и желанные. Руки помнит, девчоночьи пальцы с короткими ногтями. Это юность говорит в его памяти, та неповторимая пора, когда начинаешь чувствовать в себе силу, и что-то новое удивляет и полонит собою суть и душу. Второй его женщиной была старшая медсестра в горьковском госпитале, где зиму сорок третьего он провалялся с ранением. Вот её он помнит. Всю…. Красивую, о таких всегда говорят роскошную, с мягкими тёплыми руками, с гладкоубранной в тугой узел косою, с крапинами ранней седины у висков. Первая его женщина, поддавшись на его уговоры, наверно, жалела в нём здорового сильного мальчишку, обременённого природой: в нём тогда просыпался мужчина. Медсестра же в сорок третьем жалела в нём больного мужика, которому ещё нужно жить да жить. Она помогала всем, чем могла. А могла многое…. Она была старше лет на десять, и у неё были серые усталые глаза….

Уходя, соседка опять стрельнула глазами.

- Дров бы, когда зашёл наколол? Бабе одной без мужика с дровами тяжко…. Баню стопить и то сил не хватает. Не откажи уж, Тимофей Федотович, женщине слабой, вдовой…

Он проводил Маню до калитки.

- Так уж и слабой…? У тебя сорванец, глянь, какой на подмогу растёт.  
- Этот сорванец как сорвётся с утра, до темна не могу докликаться. Неслух. Постращал бы мальчишку по-мужски, а то некому…

- Что ж я пугало какое, чтобы детвору стращать…? Вот если сама напугаешься…?  
- Ух, напугал мышь копною…

- Ну, тогда если помочь что во дворе надо, так я зайду. Вот завтра и зайду. Суббота, аккурат для бани день подходящий….

Когда соседка ушла, спросил у матери:

- Маня давно бедует?

- С самого начала войны, почитай, одна с малым. А похоронку в сорок третьем получила, - Евдокия говорила просто, словно и не на интерес сына отвечала, но во взгляде у неё вдруг мелькнула тихая потаённая грусть. Тимофей увернулся от этого взгляда.

Назавтра он с самого утра ушёл на станцию, оттуда пригородным поездом укатил в город. Уладив часть дел со своим назначением в редакцию городской газеты, вернулся далеко за полдень уставшим, но, как и обещал зашёл к Мане на подворье. Поздоровался с засуетившейся хозяйкой, степенно обошёл немудрёный запущенный двор, нашёл в углу колоду с торчащим из неё топором, взялся за топорище. Легко выдернул топор, провёл мастеровито по лезвию пальцем.

- Да! Начнём с топора…, - только и проговорил.

Потом молча долго искал, обо что наточить топор, заглядывая в баню, в сарай. Маня ушла в хату, но изредка внимательные глаза её мелькали сквозь окна. Мальчишки, по всему, дома не было. Потому Тимофей распоряжался во дворе сам. Завалящий огрызок точильного камня он всё-таки у сарая нашёл и, пристроившись на колоде, долго и аккуратно точил, наклоняясь низко, словно прислушиваясь к скрипучему звуку лезвия на наждаке. Старик Кожемякин в своё время был неплохим хозяином, семьи большой после себя не оставил, потому и захолустье такое во дворе. Потом Тимофей собрал всё подходящее во дворе для печи, свалил в кучу у дровосеки и ловко с вдохновением перерубил в белобокие щепастые поленья. Собрался, было перенести часть дров в баню, но вышла Маня и, опережая его, проговорила:  
- Давай я…

Тимофей ушёл к сараю. Слышно было, как он поругивается на кого-то, как скребёт лопатой усердно дощатый загаженный пол и бросает через малое заднее оконце на кучу коровье дерьмо. Прошло верных четыре часа. Вечерело. Всё это время Тимофей что-то делал, подправлял, подвязывал, искал…. Давно уж вернулся с гулянки Манин малец, с час вертелся всё около, что-то спрашивал, что-то бойко рассказывал, а увлечённый нехитрой работою Тимофей, отвечал ему, тоже что-то спрашивал и беззаботно вместе с мальчишкой смеялся. Потом сорванца позвала мать, а Тимофей всё топал и топал по двору.

- …Тимофей Федотович!

Манин окрик застал его в самом дальнем углу Кожемякинского надела, где повалились колья в изгороди, где сопрели наполовину жерди, и порвалась, проржавевшая напрочь, проволока. Оторвавшись от работы, понял, что провозился долго.

- Всё, шабаш…

- Уморился? – заботливо спрашивает молодица. – Давай в баню, ополоснись. Саньку я уже отскоблила. Спасибо за помощь. А то нам вдвоём бывает не осилить баню, так с ковша в хате управляемся. А сегодня праздничек….  
- Баня значит баня, - в тон ей говорит Тимофей и уходит, стягивая на ходу гимнастёрку.  
- Там корытце под лавкой, рубаху брось, я замочу….

- Управлюсь.

Баня была чудо, как чиста и просторна. В предбаннике сухо и пахнет пихтовой лапкой. Сумеречно. Ещё догорают, потрескивая, последние угли. Сквозь щелку неприкрытой дверцы нет-нет выстреливает лучик жёлтого света и пляшет весело в сумраке на тёплой бревенчатой стене. Тимофей присел на небольшую деревянную лавку, опустил на колени уставшие, вдруг разом отяжелевшие ладони. Раздеваться было лень. Усталость вступила в спину. Захотелось просто посидеть у горячей печки, уставив взор в золотистые побеги огня на угольях, не думая ни о чём, отстранившись от всех дневных забот.

Из забытья его вывел задиристый Манин говорок:

- Устал, работничек? Может помочь раздеться-то…? - подтрунивала, стреляя тёмными глазами, молодица.

- Управлюсь, - не очень смущаясь, говорит в ответ Тимофей и начинает стаскивать видавшие виды галифе.

- А то, гляди, коли помочь где надо…, - Маня заглядывает в печь, словно за тем и заходила в предбанник.

- Управлюсь, - повторяет Тимоха и добавляет: - Вдвоём-то оно, конечно, сподручней спину тереть…

- Спину, так спину, - серьёзно соглашается Маня и уходит скоро, будто и не заходила невзначай.

Тимоха разделся, оглядел в сумерках свои волосатые руки, похлопал легко себя по худым ляжкам и осторожно приоткрыл дверь в баню. Горячий, настоянный древесной смолою воздух приятно ворвался в глотку, заставил затаить дыхание.

- Ух, ты…!

Тимофей в присядку перекатился через порог в банное пекло и закрыл за собою дверь. В бане было сумеречнее. Ещё засветло он приметил на малом подоконнике плошку с фитильком в масле и спички. Но зажигать свет не хотелось и, присмотревшись, он без света нашёл всё, что нужно. На лавке стояло небольшое деревянное корытце с запаренным берёзовым веником. Выше лавки полок пошире, там жару больше. Пахло простым хозяйственным мылом и ещё чем-то, что никак не угадывалось.

«Как мёдом вроде пошибает», - подумалось вяло и отстранёно.  
Мылся, не спеша, намыливая сначала голову. Тёр мочалкой уставшие руки, долго возился, надраивая промежность.

- Спину-то будем тереть? - опять смешливая молодица заглянула в банные сумерки и напугала Тимофея. Он резво отвернулся от двери, застеснялся и промычал что-то, словно был важно занят и боялся оторваться от дела.  
А Маня действительно уже заходила в баню нагишом, чуть наклонившись в двери и скоро прикрывая её, чтобы не упустить лишнего тепла. Её белое тело сейчас в сумерках показалось ещё белее. Ничего другого Тимофей не видел. Ни её широкого, с глубокой потаиной зада, ни полных, колыхавшихся грудей. Только белое тело и глаза: жгучие, притягивающие и обещающие. Он вдруг испугался, неловко опустив безвольные руки.

- Не дрейфь, солдат! Ложись на полати, силушку твою править буду…

- На полке жарко дюже, давай здесь…

Тогда Маня ласково потянула его на лавку. Он поддался, лёг вниз животом, чуть расслабился, ощутив на спине её горячие ладони. Она плеснула в каменку ковш воды. Пар, казалось, тяжёлым горячим облаком вот-вот расплющит спину снаружи или, проникая в лёгкие, разорвёт грудь изнутри.  
 «Мёдом опять пахнет…» - думалось так же лениво и отрешённо.  
Маня хлестала его тёмную загорелую спину, что-то приговаривала, но он не ощущал прикосновения берёзовых прутьев, не слышал шлепков и её голоса. Только тепло её ладоней по всему телу и горячий медовый воздух в лёгких, в голове….   
- Ну, а теперь ты мне…

Тимофей выдохнул шумно и сел. Напротив только близкое белое тело и глаза…. Желание близости приходило медленно, пробиваясь сквозь гулкие толчки в висках. Маня взобралась на полок, поблёскивая округлостями, и распласталась, став вдруг необъятно большой. Тимоха чуть коснулся мягкого, дрогнувшего от прикосновения, заднего места. Взялся за веник, окунул его в горячую воду и ударил сильно и безжалостно. Она лишь шумно вздохнула, не жалуясь и не противясь. Он ударил слабее, ещё и ещё. Горячий воздух из-под веника растекался нестерпимой обжигающей волной.  
- Ух, не могу! - Тимофей от жара присел к полу и, чуть запнувшись, позвал: - Иди сюда… ко мне.

Она поняла. Соскочила на пол, села к нему в колени, мягко опершись руками на плечи. Тимофей чувствовал, как кровь ушла из головы вниз, как застучала в промежности упрямо и призывно. Он отложил в сторону веник, взял её за бёдра и чуть коснулся жаром своим её ждущего, потаённого в мягких волосах места. Она нетерпеливо подалась к нему, ожидая его последующих движений…  
С последними толчками Тимофей отдавал всё своё мужское начало в её, ставшее близким и дорогим, красивое, горячее тело. Маня сдержано стонала, отдаваясь до истомы, до дрожи во всём теле. Под конец упала мокрой грудью на его лицо. А он, ловя губами шары её грудей, задыхаясь от избытка чувств, расслабился, не удержал её, и они свалились прямо на пол. Через мгновение ему стало смешно, и он громко захохотал, обнимая её, целуя всю, сжимая в объятиях. А она, ещё ослабевшая и размякшая в его руках, лишь что-то шептала тихо, не уворачиваясь и принимая его ласки….  
Потом она признается ему, что никогда, таким образом у неё ничего подобного не было. Но в тот миг всё оказалось естественным и не стыдным: и поза, и звуки, и место. Такое бывает в жизни. Редко, но бывает…. Наутро Тимофей не прятал глаз, и винился внутренне лишь в своей поспешности. Но, размышляя, и этому находил прощение. Всё меньше времени у него оставалось на такие дела, потому и не мог не спешить, не мог растрачиваться на долгие ухаживания, на свидания. Ушло его времечко длинно женихаться, война отобрала. Понимала это и Маня, потому и приняла Тимофея таким вот поспешным, чуть грубым, но желанным и ловким…

Два месяца спустя он, освоившись в редакции, перевёз Маню с сыном в маленькую комнатушку, выделенную тут же при райисполкоме. На землю приходила осень сорок шестого года…

Малый городок. Праздничная демонстрация. Многоликая улица. Шум. Весенние краски. Кумач. Много военных в гражданской толпе. Заметно много военных. Близко вскользь лица на небольшой трибуне. Стереотип лиц, но не казённо, тепло. Из рядов демонстрации близко бегло лица. Два-три, задержка, поворот, повтор. Задержка - белобрысый, зелёные глаза. Смеётся. Гимнастёрка, недавние следы погон. Рядом у плеча русая красавица. Зачарованный детский взгляд. Рука в руке. Красные флаги, флажки. Шум площади. Песни. Дикторские поздравления. Оторвавшийся красный шарик. Поднимается над демонстрацией. Вверх, вверх.. Картинки провинции. Улица в тополях. В пригород, к реке. Проселочная дорога. Пыль, легко. К парому. Окрест луг. Зелень. Ярко. По траве бегут двое. Босые ноги. Рука в руке. Косынка на ветру. Платье пузырём. Выгоревшая гимнастёрка без погон. Белые зубы. Искры в зелени глаз. Близко река. Рыжая вода. Бурлит у деревянного борта парома. Он и она. Рядом чумазое лицо сельского тракториста. Тут же трактор. Плавно. Повторы. Мягко, не назойливо. Глаза солдата. Усталость. Боль в глубине. Приседает, вздох. Прикрытые глаза. Чуть откинутая голова. Уходящая картинка - паром на середине реки.  
Резкая смена. Грохот боя. Серая масса земли в воздухе. Взрыв. Засыпанный солдат в окопе. Ничком. Недвижим. Мёртв. Рядом зеленоглазый. Лицо. Пустые глаза. Боль. Пыль. Приподнимается. Вращение. Хаос. Смешение лиц - политиков, военных, известных, неизвестных, детей, женщин…. Шум боя, вокзалов, стадионов, площадей, парадов, демонстраций…. Чередование чёрно-белых и цветных картин. Обрывки негатива. Фигура присевшего в окопе контуженого солдата. Картинка уходит. Расплывается. Серое переходит в зелёное. Весеннее поле. Открытая дорога. Яркий день. Небо. Спокойно, плавно. Он и она на дороге. Рука в руке. Камера сзади. Склонившиеся друг к другу. Плавный обход. Впереди взгорок. Малое сельцо. Весенняя картинка. Плавный переход к теме вечера. Сельский клуб. Танцы. Вальс. Разгорячённые лица. Молодежь. Пляска. Он идёт в присядку по кругу. Лица, улыбки, дешёвый убор клуба. Он любит и умеет широко плясать. Кружится её счастливое лицо.

Резкая смена картинки. Повторы. Суета. Маленькая редакция газеты. Бумага. Беготня. Неизменная гимнастёрка без погон. Усталый взгляд. Присел у стола. Откинутая голова. Упавший карандаш. Безвольная рука. В дверях лица. Испуг. Всё в цветной абстрактный шар….

Солнечный взгорок. Тихое кладбище. Птицы. Июль. Новенькая звёздочка над свежим холмом могилы. Как капля крови. Синее небо. Даль. Дорога. Из-за горизонта. Гудок дальнего паровоза. Девичья фигура. В чёрном. Беременна. Рядом за руку мальчишка. Остаются в дали….

\*\*\*

**Часть 5. Василий**

«…Кому мне открыться сегодня?

В сердцах воцарилась корысть,

Что толку – искать в них опоры…»

( «Спор разочарованного со своей душой»

из поэзии древнего Египта 3- тысячелетие до н.э.)

…Солидный внедорожник « ерн » резко тормознул, взрывая широкими колёсами подсыхающие дорожные рытвины. Автомобиль, не доезжая метров триста до паромной переправы, приостановился, словно раздумывая, потом осторожно съехал по слякоти глинистого откоса на крутой, подмытый в этом месте, берег. Чуть вправо сельский небольшой паром жил своей будничной жизнью. Грязный, в комьях глины с соломой, «Беларусь», лихо тормознув на самом краю настила, остановился, подмигивая пыльными стёклами. Пара подвод, мотоциклист, стайка бойких девчонок. Всё это двигалось мерно и незначительно под куполом весеннего неба. Внизу под обрывом шумела недобрая жёлтая вода. Река недавно встала из-подо льда и теперь набирала силу от взбугрившихся пахотою окрестных полей, из прибрежных маленьких озёр, в которые, как бы с опаской, зябко заглядывало солнце.   
Машина, постояв минуту-другую, дрогнула и медленно покатилась к обрыву. Двухсотсильный двигатель работал чисто и ровно. Но на самом краю, когда передние колёса почти повисли в воздухе, двигатель нервно захлебнулся, на секунду умолк, а потом вдруг взвыл натужно, и автомобиль, рванув колёсами вязкий, ещё не укрепившийся травою грунт, словно отпрыгнул от обрыва и, набирая скорость, задом выскочил на дорогу. Берег реки застонал глухо с надрывом. Маленькая трещина весело пробежала вдоль его сырой спины, похрустывая и разрезая землю вглубь. И потом огромная глыба шумно обрушилась в воду. Грязные брызги веером разлетелись во все стороны, образуя в центре тошнотный зев водоворота…

1

Виктор садился обедать, когда шумно залаял, звякая цепью, Дружок. К калитке бесшумно подъехал иностранный, как сейчас говорят «крутой», внедорожник. Цвет его, из-за сплошных разводов грязи вдоль бортов, определить было невозможно. Одно лишь угадывалось без труда: автомобиль нездешний, хотя за последние два – три года такой техникой обзавелись многие.  
- Кого бы это занесло в нашу тьму-таракань? Не нашенская машина. Нина, выйди-ка, глянь.

Виктор отвернулся от окна, шумно уселся за стол, потянулся за хлебом. Сквозь плохо прикрытую женой дверь расслышал своё имя. До боли знакомый с хрипотцой баритон заставил напрячься и вслушаться. Гость, несомненно, говорил знакомым голосом.

- «Кто-то из родственничков. Ерохинский говорок, явно», - подумалось не то чтобы в радость, но приятно.

А со двора уже доносилось женино, словно виноватое, скороговоркой:  
- Проходите, проходите. Дома…, где ж ему по-полудню быть. Обедает вот….  
На Виктора с порога глянули усталые с зелёной поволокою глаза. «Чисто мама покойница глядит», - мелькнула скорая мысль. Он встал. Неловко поводя плечом, вытер о колени, почему-то в миг вспотевшие, руки.  
Гость, протягивая руку, улыбался:

- Здравствуй, братушка.

Виктор въявь слышит почти забытый отцовский голос, а в ладони ощущает не рабочую, но твёрдую и большую руку вошедшего.

- Брат, Вася! – в это восклицание слилось воедино нелепым образом удивление, радость, восхищение и какой-то мальчишеский восторг. Братья крепко обнялись, долго задерживая друг друга в объятиях.  
- Вот, Нина, брательник мой… старший. Василий, значит…, - Виктор смешно шмыгает носом, держит брата за руку и всё пожимает и пожимает её.  
Нина смущённо протягивает гостю руку:

- Нина…, - и добавляет: - Ивановна.

- Василий и тоже Иванович. Вот только не Чапаев, а просто Ерохин.  
Фамилия была произнесена шутя, но прозвучала сейчас здесь под крышей Ерохинского домика несколько непривычно.

Виктор не знал куда подевать свои длинные руки, всё суетился, двигал зачем-то беспрестанно стул и заглядывал брату в лицо. Было видно, как он по-детски рад встрече. Доброе лицо светилось, выгоревшие брови смешно топорщились, и всё выдавало в нём счастье столь неожиданной встречи. Старший брат был сдержаннее, лицо его не выражало восторга, но всё ж виделась и в его ладной осанке, в побелевших сжатых пальцах, в дрогнувших жёстких губах потаённая скупая радость.

- Братуха…. Это ж надо, а! Сколько лет, а? Каким чудом?

- Вот, выкроил время…. Примешь ли гостя?

Василий не прятал глаза, но зелёная тень вины и беспокойства невольно проступала в них.

- Что ж вы стоите. Обед на столе. Рукомойник в коридоре, - Нина суетилась, собирая наскоро немудрёный обед. Борщ, аккуратные кусочки сала, хлеб в большой чашке, наспех нарезанный неровными кусками.  
Через пару минут братья подвигаются к столу, гремят стульями. Нина ставит поллитровку.  
- Чем богаты…. Раз такое дело…. Виктору, оно конечно, не совсем к месту…, - заглядывает в лицо мужу и виновато опускает глаза под его укоризненным взглядом.

- Ладно, чего уж там. По одной пойдёт…. Я же не в городе за рулём.  
Виктор разливает водку в небольшие граненые стаканчики.  
- Ну, взяли, что ли…? За встречу.

- Со свиданьицем, - Нина втиснула свою рюмочку меж братьями.  
- За встречу и со свиданьем, - повторил Василий и медленно поднёс водку к губам. Чувственно дрогнули ноздри. Выпил одним махом, не дыша.   
Ели молча, словно знали, что говорить ещё будет время, а сейчас только изредка бросали друг на друга пытливые взгляды.

- Ну, вот и добро! Ты уж извини, брат. Работа у меня…. Трактор видал у ворот…. Нина, тож… того… уходит. Весна на дворе, дела. К вечеру жди. Хозяйничай сам…, - Виктор вставал из-за стола, вытирая пятернёй рот.  
Василий тоже встал, неловко переминался, молчал, винясь глазами.  
- Да уж, хозяйствуйте без нас пока. Скоро Настька из школы заявится. Посуду она уберёт…, - Нина поспешила за мужем.

Виктор ещё гремел в коридоре ковшом у ведра с водой. Потом затарахтел за ветхим штакетником трактор и вскоре, удаляясь, затих в проулке.  
Василий тихо опустился на стул, повёл по комнате взглядом, потом беспомощно уронил голову в ладони и заплакал, тихо поскуливая, как на погоду старая, отжившая свой век, собака…

…Он почти с фотографической точностью помнит, как их познакомили. Только что закончилось совещание. Народ расходился из кабинета шумно после нелицеприятного разговора о недопоставках управлением лесоматериалов в некоторые регионы. Ругань была изрядной, как и причина его. Многим перепало здесь. Оттого много курили. И воздух был нехорош, несмотря на то, что во всю работал кондиционер.

Секретарь партбюро Ефремов, худой, болезненного вида человечишко, подвёл к нему темноглазую статную для своих явных сорока лет красавицу.  
- Вот, Василий Иванович, наш городской, пока второй, партийный секретарь, Мария Павловна….

Сделано это было так, будто надо думать, что ему подвели самого всевышнего, только в юбке.

- Славская, - отрекомендовалась «богиня», поблёскивая лукаво глазами.  
- Ерохин, - Он быстро пожал протянутую ему мягкую ладонь, чуть глянул ей в глаза и показал, что занят какими-то бумагами на столе:  
- Знакомитесь с лесом? – говорил строго, но без напыщенности и кривляния. Его действительно мало интересовал новый второй секретарь горкома.   
- Принимаю дела. Решила познакомиться… с людьми.

Славская чувствовала холодность начальника лесоуправления, и потому так официально прозвучало её последнее «с людьми».

- С нужными или просто с хорошими людьми?

Ерохин почти не смотрел на женщину, но заметил через стол, как дрогнула её красивая рука, державшая у бедра тонюсенькую папку.  
- Я была наслышана о вашем сарказме, но не полагала оказаться посвящённой в него так сразу, без прелюдий.

Он поднял глаза. Славская смотрела колким, но в глубине весьма располагающим взглядом и, кажется, чуть-чуть улыбалась. Было видно, что ей интересен этот красивый седеющий собеседник. Ефремов, чуть отойдя в сторону, что-то неудачно высматривал в своих бумагах, делая вид, что его совсем не касается начинающееся знакомство.

- Извините, Мария… э-э… Павловна. Дьявольски занят…,

- Ерохин совсем не играл озабоченности. Она была давно приобретённым штрихом его лица, глаз, спокойных больших рук. Только действительно занятые люди могут выражать озабоченность простым спокойствием рук.  
- Ну, что ж, не буду вам мешать.

Славская протянула руку, и он опять ощутил мягкость её ладони.   
- До свидания, всего хорошего, Василий… э-э… Иванович.

Она уходила, твёрдо ступая полными красивыми ногами. У самой двери обернулась, показала, что хотела увидеть его смотрящим ей вслед и проговорила примирительно:

- А знаете, ведь хорошие люди всегда и всем нужны.

И вышла, уверенная в себе, большая и строгая.

- Послушай, Ефремов, что нужно было ей от меня? – Ерохин, искренне удивлённый, повёл бровью.

- Секретарь…! – Ефремов многозначительно развёл руками.  
  
 …Он вспоминал, как увёз после какого-то совещания Славскую на Томь. Их знакомство продолжалось мимолётными встречами в исполкоме, на сессиях горсовета, но в тот раз он осмелился предложить поезку за город. Вечерело. Летнее небо, словно перегораживающее по горизонту реку, загорелось уж красками заката. В такие минуты время словно приостанавливается или замедляется подобно спокойному току воды. Они сидели на траве рядом, касаясь друг друга.

- Вы часто бываете здесь? – они всё ещё были на «вы».

- Нет, - Василий действительно забыл, когда бывал вот так без забот один, сидя на земле в расшнурованных ботинках.

- Вы сделали мне приятное. Почему? – Славская спросила просто так, не придавая словам большого смысла.

- Просто… ты мне нравишься, - этот переход на «ты» был естественен, но пройти незамеченным не мог.

- Вы мне тоже…, но….

- А вот у меня безо всяких там но….

Он вдруг почему-то разозлился, завязал ботинки и сел за руль.   
 В ту ночь он спал у неё. Она, казалось, была спокойна и ничему не удивлялась, лукаво поглядывала на него пока он мылся, ел. И лишь в постели призналась в желании страстным облегчённым вздохом. Утром он, притворившись спящим, долго наблюдал за нею, тайно надеясь подсмотреть нечто делающее её слабой. Но она была прежним секретарём горкома, только менее сосредоточенной, в простеньком халате, и ещё более красивая. Потом она как-то скажет ему:

- Силён ты мужик, Ерохин. Чёрного в тебе много, не от земли только…. Но я люблю тебя.

- …Почему я сразу не догадался, что ты детдомовская?  
Василий брился у большого зеркала в ванной, и вопрос его прозвучал невнятно. Она вышла из кухни, как всегда, уже подтянутая, собранная, в неизменном строгом костюме, переспросила, уловив только наполовину его вопрос.  
- Я говорю, мне бы следовало сразу догадаться, что ты из детдома….  
Он брился старательно, дочиста и охотно.

- А почему ты всё-таки догадался об этом?

Мария, ерн ной ще легко к дверному косяку, ласково смотрела на него в зеркало.  
Он выключил электробритву, стряхнул волосы под струю воды и взялся за одеколон.  
- Ну, сейчас это не составляет для меня труда. Во первых, у тебя завидное пренебрежение к собственности на личные вещи.

- Ты тоже заметно не дорожишь таковыми. В прошлом месяце кому-то одолжил или где-то оставил плащ, прямо скажем – вещь с иголочки и тю-тю….  
Они смотрели друг на друга через зеркало. Он старательно много лил на лицо одеколон.  
- Ну, я это другой вариант. У меня просто куча денег. А во вторых, - он повернулся к ней лицом, - И это самое главное в моих логических построениях версии….

Он видел её мягкий серьёзный взгляд, чуть улыбающиеся губы.  
- Как называется тот заштатный городишко в нашей области, что ещё с военной поры знаменит большим детским домом? – он сделал вопросительную мину и продолжал, - Итак я нахожу прямое созвучие в названии того городка и твоей фамилии.  
Она почему-то перестала улыбаться.

- Пошли завтракать.

- Значит я прав…

 Он поцеловал её в шею.

- Да. Наших добрая половина носит эту фамилию. Славск в те годы многим давал приют и… фамилию

Она подала завтрак, села сама. Потом укоризненно продолжила:  
- А вот насчёт твоей кучи денег…. В этой квартире никому не выпадало, к счастью, иметь кучу денег, а вещи, которые иногда появляются здесь вместе с тобою, просто кричат деньгами. Зачем у Ромки появился этот магнитофон? Я против этого…. У тебя же свои дети….

На последней фразе она как-то смутилась и замолчала.  
Василий помрачнел и смотрел куда-то мимо. Глаза его ни о чём не говорили, всё лицо как-то отрешённо заострилось. Потом он поднялся прошёл в комнату её сына и включил магнитофон. Послышался нудный голос, бубнивший что-то о связи времён, об алогичности мироздания. Он щёлкнул выключателем.  
- Слышала? Кассета целиком с обеих сторон будет гнусить мало понятную нам обоим, я думаю, чертовщину одного великого, древнего, но не забытого до сих пор, еретика. Лекция по философии, во!

Василий стал одеваться.

- А завтрак?

- Прости, я уже сыт…. А у моей Светки из такого же импортного ящика тоже гнусят, только гурьбой и под вой электропаросиловых установок…. До свидания!  
Ерохин уходит, не смея глянуть в её тёплые виноватые глаза.  
Теперь неделю – две его не будет в этой квартире. Она будет скучать и ждать. Похоронив десять лет назад мужа, погибшего в автомобильной аварии, Мария надолго замкнулась в себе, на люди горе не понесла. Спасалась работой, заботой о сыне, да крепилась, как умела. И время помогало. Мало-помалу притупилось горе, душа оттаяла. Другого мужа не искала и не задумывалась шибко над этим. Да вот только природа своё взяла. Ерохина встретила и влюбилась, как девчонка, если не хуже. Скучает теперь и ждёт…. Благо, сын забегает из общежития и часто остаётся ночевать. У него много работы на последнем курсе филологического факультета, потому сидит допоздна у себя в комнате. И она уже привыкла к этому. Это длится вот уже третий год. С тех пор как она познакомилась с Василием. Она понимала странную неопределённость их связи, теперь, конечно же, известную в городе. Семья у Ерохина держалась на честном слове, и это тоже было известно. Дети у Василия тоже были почти взрослые. Сын заканчивал какой-то столичный ВУЗ. Дочь, девица на выданье, получив музыкальное образование, всё никак не найдёт себе работу по душе. Всё это Славская знала со слов самого Василия. Жену его видела однажды по случаю торжеств во дворце химиков и поняла, что как соперница она много проигрывает этой избалованной красавице. Но влюблённая женщина всегда знает свою силу, знает свои возможности. Она просто любит, а остальное приходит само собой. Разобраться в своих отношениях с Ерохиным у неё не находилось нужного времени. И она просто любила, бесхитростно, не таясь своих чувств и не утаивая их от людей. Она видела, что любимый ею мужчина нуждается в ней. Этот сильный, крепкий мужик почему-то всегда смотрит на неё своим зелёным требовательным взглядом, безмолвно взывающим к участию. Какая-то сумятица души, скрытая и зажатая волей, проступала наружу в этих зелёных глазах. Иногда Василий бывал спокоен и ровен. Надолго поселялся у неё. Добросовестно утром отбывал на работу на поджидающей у подъезда «Волге». Вечером, как все добропорядочные люди, рано возвращался. В такие дни они часто вечером выходили в маленький скверик, зажатый коробками домов, и «дышали свежим воздухом». Ерохин много шутил и любил, когда она называла его Васей. Но вдруг надолго пропадал. Звонил лишь о каких-то командировках, о работе, о встречах. Месяцами ночевал в кабинете на комбинате. Как руководитель он был на хорошем счету. В главке поговаривали о его повышении, но сам он наедине с ней всегда как-то саркастически относился и работе, и к повышению. И этот его сарказм лишь выдавал в нём какую-то незащищённость, скрытость. Понять его в этом она не могла, но как женщина принимала это в чувствах и любила, быть может, за это же. Как знать, не за скрытую ли муку души любят люди друг друга?…   
  
 - …Почему ты не в партии? Мне кажется, руководителю с твоей должностью необходимо работать, опираясь на идейные позиции. Знаешь, партия многим помогает, - Славская собиралась сказать ещё что-то, но Ерохин почему-то резко оборвал её.

- Ты желала бы видеть меня просто членом партии или же коммунистом?  
Она попробовала тоже спросить его и лишь начала с «а…», как он, словно зная её вопрос, продолжил:

- Да, для меня это совершенно два разных понятия. И для тебя, я думаю, тоже…. А вот что касается помощи, то я, будучи лишь членом вашей партии использовал бы её в своих карьеристских устремлениях, в корыстных целях, давно бы наверно сидел в кресле, о котором лишь ещё подумываю.  
Василий многозначительно показал пальцем вверх. И сложно было понять то ли он шутит, то ли говорит серьёзно. Лицом, казалось, он усмехался, а в глазах настороженность.

Они сидели в её кабинете. Она на своём рабочем месте, а он через стол напротив. И если бы можно было случайно войти и подслушать их разговор, подумалось бы: «что свело вместе двух совершенно разных по духу людей?». Но было понятно, что они ведут неприятный, но, так нужный обоим, разговор.   
- Мне кажется, ты просто чего-то не договариваешь, и потому твоя точка зрения в начале красивая логикой своей под конец просто страдает безосновательностью. Во первых, тебе никто не помогал бы в твоих карьеристских устремлениях, а во вторых…, - она глянула на Василия строго и ерн ной щее: - Как ты работаешь с людьми, усматривая в них лишь плохое? Тебе не трудно?

- А тебе легко? – в свою очередь спросил Ерохин и потом задумчиво, уходя от разговора, подумал вслух: - Может быть, людям с добрым началом духа своего действительно легче живётся?…

- Ты это о чём?

Славская во время всего разговора продолжала что-то искать в бумагах, чиркать карандашом. Его это вдруг разозлило.

- О жизни, дорогой ты мой партийный секретарь, - Ерохин явно язвил, шумно со вздохом встал, показывая, что собрался уходить.

- О жизни…. О том, что во мне всегда живут два начала, - он как-то грустно хмыкнул и добавил: - Вот то, которое из них будет концом, я знаю наверняка….  
- Ты не просто самоед, а ты кусаешь сначала всех ближних, прежде чем приступаешь к себе.

Славская умно смотрела на него снизу вверх. Но Василий знал, это чисто профессиональное умение умным открытым лицом показывать понимание собеседника, и потому видел в глубине глаз её отчаянно мятущийся вопль вопроса.  
- Я ухожу. Не смею отрывать вашего бесценного времени от борьбы за души с добрым началом….

Ерохин ушёл, ссутулившись, словно унося из её кабинета непосильную тяжесть, которую она обязана была оставить у себя….

…Ночью ему позвонили. «Свой» человек сообщил о его назначении. В девять утра он разговаривал по прямому телефону с начальником Главлеса.   
- Василий Федотович, жду тебя в наших рядах…. Три дня тебе на сборы и на отпуск, не более. Будем тянуть лямку теперь плечо в плечо. Будь здоров…   
Ерохин, не опуская трубки, некоторое время сидел в раздумии. Далёкий гудок беспристрастно повторял своё тупое «пи-пи-пи…». За окном низко и тяжело висело серое мартовское небо. За дверью у секретарши слышался зуммер телекса. Положив трубку прямого, Василий набрал номер местной связи. На другом конце провода почти тот час ответили:  
- Да, Славская…

Ерохин молчал, сдерживая дыхание. Дождался, пока она повторила:  
- Я слушаю вас…

Откинувшись на спинку, свободной рукою машинально поглаживая по столу, он медленно проговорил:

- Я уезжаю…

Несколько мгновений трубка неловко молчала, потом коротко и мягко спросила:  
- Когда?

- Три дня ещё мои…

- Я тебе нужна? – вопрос был прост, и именно тот, которого он ждал.  
- Да. Мы могли бы на пару дней удрать в твой прославленный Славск, - и, не дожидаясь ответа, он добавил: - Завтра в тринадцать я заеду за тобой…  
Он ещё чуть задержал трубку, чувствуя что на другом конце её тоже не кладут. Затем осторожно, словно его могли видеть и слышать, протянул её на место…  
  
 Назавтра прямо с утра свалилась работа по организации внеочередного пленума. По всему, что происходило в стране, что так беспорядочно и бессвязно рекомендовал ЦК, можно было наблюдать приближение перемен. В партии творилось непонятно что. Одни бросились укреплять связи с рабочим классом, создавая на предприятиях советы трудовых коллективов. Но на местах обретали силу так называемые неформалы, и партийные секретари попросту теряли свои позиции на собраниях, уступая в движении новым доселе неизвестным людям. Народ забродил желанием перемен. Партия ничем новым не владела. Ей нужно было разбираться со своим старым хламом ошибок и противоречий. Отслоившийся давно партийный верх никаких теорий на сей счёт не имел и продолжал нелепо спускать всё происходящее на тормозах. Противоречия между партийной бюрократией и исполнителями на местах достигали состояния коллапса. Рушилась привычная система отношений. Отчасти это как-то воодушевляло, будоражило, заставляло вникать в происходящее сознательно, полагаясь только на своё понимание людей. Никакие инструкции и рекомендации ЦК в таких условиях не помогают. Партия, как сложный социальный механизм, рушилась. Не понимать этого мог только последний идиот. Но по инерции вертелось колесо бюрократической необходимости, и вот ей-то и нужно было ещё служить. Иначе вылетишь из разваливающейся системы раньше времени, впереди всех, и следующие за тобой уже в хаотическом беспорядке обязательно тебя затопчут. Славская была невеликим, но прагматиком. Её ещё рабочая закваска подсказывала не торопиться и тащить свою ношу уже не ради каких-то больших перспектив, но ради себя самой, своих пусть незначительных, но принципов. Ради того чтобы оставаться просто человеком разумным, хотя бы просто ради этого. А с другой стороны приходило какое-то отчаяние. Непонятность времени делала её беззащитной и никому ненужной. В кабинетах бродила безрассудность и какая-то отупляющая бессмыслица. Возбуждение, поиск, напористая ищущая мысль ушли из кабинетов на улицу в толпу, на митинги, в рабочие собрания на заводах. Внеочередной пленум уже не пересилит это расплескавшееся влияние улицы. Это пустое занятие: загонять в тесные партийные собрания людское неспокойное море. Но она будет тащить свой секретарский долг до конца, а там что уж получится…

Точно в тринадцать зашёл Василий.

- Бросай ты своё пустое дело. Светопреставление грядёт, а ты какую-то бодягу прежнюю разводишь…

 Ерохин был каким-то излишне развязным, и она сначала подумала, что он под хмельком. Но, глянув ему в глаза, тут же поняла, что это не так.   
- Какой такой праздник ты надумал устраивать сегодня для себя? У меня действительно много работы, Вася.

- Почему для себя? Ведь это твой Славск, там твой дом… детский…

- последнее слово было как-то чуть выделено. Он был серьёзен, но в голосе угадывались и нотки какой-то тихой иронии.

- И вообще мне нужно тебе о многом сказать…

- Говори…

- Понимаешь, это не та тема, о которой говорят в партийных кабинетах. Я настаиваю на своём предложении и баста. Машина внизу. Я жду тебя, Маша…,

-Ерохин уверенно развернулся и вышел.

За всё время их знакомства имя Маша прозвучало раза три не более. Она не могла устоять против этого. Чуть позже, усаживаясь на зад в машину, она усмехнётся:  
- Что ж, Маша… ваша…

На что Ерохин открыто и чисто рассмеялся. Но, выруливая с горкомовской стоянки на дорогу, быстро сосредоточился, и потом всю дорогу хмуро молчал. Славская, прислонившись к мягкому подлокотнику, молчала тоже. В лобовое стекло сильной и красивой машины весна швыряла ещё прохладным ветром, окрест проносились ещё серые пейзажи, а под колёса плавно с лёгким шуршанием убегала рукотворная река асфальта…

В гостинице Василий о чем-то поговорил с администратором, а спустя несколько минут они поднялись в номер, как здесь называют, «люкс».   
- Ты здесь неплохо ориентируешься…

- Я иногда бываю здесь… по работе.

Василий ответил просто, но прозвучало это как: это ещё цветочки…  
- Тут в соседнем номере проживает человечек такой… плюгавенький. Если приглашать нас будет к себе, ты уж не откажи.

Ерохин раздевался и хозяйничал в номере со знанием дела. Чувствовалось, он действительно не раз бывал здесь.

- Ты привёз меня сюда, чтобы представить этому человечку?  
Славская осматривалась. Знатные покои: ванна, телефон, видик, отдельно спальня.  
- Однако…! Никогда бы не подумала, что в нашем Славске такое могло быть. Это что сюрприз?

- Принимай, как тебе хочется.

Ерохин думал о чём-то о своём, и был рассеян. Спустя час, приведя себя в порядок с дороги, они ушли из гостиницы. Немного ездили по тихим скромным улицам, долго стояли у городского ещё серого, но уже пахнущего весною парка. Ходили в детский дом, где Славской были рады, долго таскали их по кабинетам, что-то показывали, хвастались, что-то просили…. Всё это время Василий был хмур, жёсткое лицо его было непроницаемым и, вообще, выглядел он усталым. К вечеру они вернулись в номер. Славская была возбуждена, досадовала на позднее время, а то бы она… утащила его в какое-то чудное место, которое кроме неё никто не знает. День закончился тем, что из соседнего номера их действительно пригласили к себе «уютненько посидеть вечерком»….

«Посидеть» подобралась довольно странная компания. Кроме «плюгавенького человечка» в соседнем номере уже были две подвыпившие девицы с наглыми глазищами и дородного вида верзила с тупой подслеповатой физиономией. Детина, опрокинув стул, пьяно полез целовать Славской руку. Это был действительно сюрприз…. Это чем-то было похоже на розыгрыш. Но Славская видела, как был предельно серьёзен Василий, и как он внимательно наблюдал за ней. Это был своеобразный вызов, понять до конца который можно было, лишь принимая в обязаьельном порядке. И она приняла этот вызов. Уверенно села к столу, ломящемуся от явств, кричащему своей дороговизной, взяла в рот сигарету из пачки, лежащей тут же на столе. Прикурила от зажигалки, услужливо поданной верзилой. Ерохин молчал. Хозяин номера предложил тост. Пили дорогой коньяк. Девицы были вольны и смешливы. После тоста «человечек» с Василием отошли к окну, неслышно о чём-то разговаривая. Верзила заигрывал с девицами. Словно кто-то невидимый расставлял фигуры в неприличной игре. В углу мерцало сине-зелёное окно телевизора. Его звуки настойчиво проникали, казалось, не только в уши, но и в, затаившуюся вдруг, душу. Славская видела, как Ерохин, приняв от «человечка» несколько пачек денег, небрежно, словно показывая их для неё, положил в карман. «Человечек» улыбался, что-то гнусил. Ерохин, искоса поглядывая на Славскую, отвечал ему, лишь кивая головой. Он ждал дальнейших действий от неё. Нужно было… уходить. Она озабоченно поднялась, показывая лицом безразличие и усталость.  
- Мне нездоровится…. Я думаю, что не нарушу своим уходом столь приятного торжества, - она обращалась и к хозяину номера и к Ерохину одновременно.  
- Да, да, конечно…, - «человечек» обеспокоено забегал глазами, вопросительно поглядывая на Василия.

- …Да, мы, пожалуй, пойдём.

Пропуская вперёд Славскую, он выходил следом, совершенно не прощаясь и ничем не потревожив, ни девиц, ни верзилы. Уходили молча. В своём номере, не зажигая свет, они ещё некоторое время молчали. Какое-то тягостное напряжение упругой, жёстко натянутой, струной протянулось сейчас между ними, и должно было вот-вот лопнуть….  
- Что это за люди?

Она первая тронула эту струну. Спросила без упрёка, искренне удивлённая.  
Ерохин начал говорить. Сначала медленно, спокойно, иногда спрашивая и тут же сам отвечая. Затем всё быстрее и запальчивее, накаляя свою речь безысходной горечью, злобой, не глядя ей в глаза, словно разговаривал сам с собою….  
- Ты всегда чувствуешь свою зависимость от окружающих тебя людей? Всегда до конца осознаёшь мысль о том, что все входящие в твой кабинет видят прежде твоё место, а вовсе не тебя? Уважают именно это место, должность твою, потому что это нужно делать, потому что это принято сознанием людей…? А ты лишь то, что может говорить и шевелить руками на этом самом месте…? Я осязаю это всегда даже кончиками волос на вот этой седой голове! Я ненавидел себя тогда, когда в далёком отсюда местечке умирала мама, а я, уже зависимый, уже прикованный невидимой, но крепкой цепью к своему …месту, не бросился в первый же поезд, чтобы в последний раз глянуть на ту, что выносила меня, с которой я выжил в великой заварухе войны, которая любила меня, как никто больше не сможет этого делать…. Я поступился этой любовью, поступился ради призрачного благополучия, выше которого так и не смог подняться над собою…. Прозябание в детстве, тяжёлый труд после ремеслухи, вечерняя учёба – не сделали меня выносливым и сильным, как пишут об этом в книжках. Невежда, я, всё своё сознание вложил в скверную мысль вырваться, уйти из среды вскормившей меня…. Уйти, чтобы не работать! Да, да! Я только теперь до конца понимаю, что это так. Я не виноват, что в обществе именно так поставлено – снизу рвёшься и учишься для того, чтобы работали на тебя. И вот эти руки знали немало труда, но к этому я часто забывал прикладывать благородство цели этого труда. Я просто шёл к благополучию и безо всяких там высоких побуждений…. Шёл, правда, по возможности честно, не пихаясь локтями…. И работал, как вол, выкладываясь до капли…. И за это я хотел внимания к себе! Понимаешь, не к месту, которое занимал, а именно к себе. Вот к этим глазам, губам, туловищу, чёрт возьми…! Но близким я был нужен, как источник неплохих доходов, а остальным, как говорящее чучело моей должности…. И мне захотелось унизить, оскорбить всех. Самому себе доказать в конце концов свою значимость…. Первая фальшивая бумажка, подписанная мной сознательно, принесла мне не только приличную сумму взятки, но и чувство превосходства над окружающими. Я, не прилагая… особых усилий, обвёл вокруг пальца всё человечество! А оно продолжало уважать моё место…. Я злорадно торжествовал, я был всемогущ! Человечество со своим чинопочитанием было ничтожно….  
Василий на какой-то миг смолк. Осунувшееся лицо его было усталым и старым.  
- Но я, глупец, не знал безмерной силы всего бытия человеческого…. Оно отомстило мне, поразив всё моё гнусное существо вдрызг, легко и совершенно. Я встретил тебя…. Ты оказалась единственной, кто от меня ничего не хотел. Ты дала мне самую малость – достойное ощущение самого себя…. И всё! Я долго боялся коснуться тебя, боялся замарать…. А ты, ты просто сердцем не знала грязи…. Никакие мои прикосновения не оставили ни пятнышка…. Ты просто так устроена. Ты другая….

Он стоял у окна. Огни вечернего города бликами проникали в неосвещённый номер и ещё больше подчёркивали напряжённость их разговора.   
 - …Я подозревала, что этим всё и кончится.

- Что кончится? Наши отношения или деятельность «синдиката»? Первое – зыбкая и относительная случайность, как и вообще любые встречи и близость людей…. А вот, второе…? Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что, разоблачая такую деятельность, общество чего-либо достигает в плане справедливости и целесообразности. Справедливость и равенство – красивая, может быть даже и нужная, сказка…. Но вот целесообразность такой деятельности ни сегодня-завтра будет признана в обществе, и обществу, так или иначе, придётся смириться с легальным появлением состоятельных людей, способных в частном порядке владеть производством, если только такое производство оказывается более совершенным, более экономичным. Не подумай, что я говорю о себе…. Я маленький, может быть и не совсем глупый человечишка, и только. Идея вернуться к собственности приходит сверху, как и все наши нововведения и резолюции. Но, заметь, этой идее сегодня в обществе нет сопротивления. Все аристократии порождены демократиями. Это ещё древние знали. И наша аристократия вот-вот потребует своей легальности. Мы с тобой внизу аристократической пирамиды, но, как ты понимаешь, у пирамиды есть и верх. И он давно живёт принципами собственности, вот только ждёт удобного случая узаконить всё это. Это будет некрасивое зрелище – явление постсоветского капитала. А что хорошего ожидать от случайного сборища недоумков и прохиндеев, вырвавшихся из-под социальной глыбы нищего, изнасилованного крестьянства и оболваненного пролетариата? Их звали в красивую жизнь, но её то и можно было увидеть, только взобравшись наверх. Вот и лезли все, лицемеря, толкаясь, сексотничая…. Я не был на похоронах у своей мамы только потому, что в тот момент решалась судьба начала моего продвижения. Мне светила тогда маленькая кормушечка, и я домогался её, упорно попирая в себе всё достойное и святое. И поверь, я не так уж одинок в своей корысти. Не из этой ли корысти и ты в своё время подалась в партийные секретари из фабричной малосемейки?….

- Это не трогай! Меня рекомендовали люди….

- Это ты этим людям скажи…. Они, может быть, и поверят. Твоё продвижение на каком-то этапе становится абсолютным соизволением сверху. Только твой собственный сознательный и категоричный отказ двигаться и только, пожалуй, в самом начале, может каким-то образом сказаться. Тогда тебя просто вышвырнут из рядов и забудут…. Но ты же не отказалась! Конечно, ты шла служить идее, людям, ты жертвовала собой…! Как бы не так! Это те, первые…, ввязались в гражданскую резню от великой наивности и веры в свершающуюся справедливость…. Да и те засомневались в идеях. Есть в нашей фамилии дядька Афанасий из таких…. А мы то уже с самого начала шли, лицемеря, таща за собою корысть и ложь. Мы шли уже не за идеей, а за сытным куском. Квартиру ты ведь получила не за ударный труд у станка, а чуть попозже, когда согласилась занимать местечко секретарское в цепочке прохиндеев.

- Квартиры и рабочие получают, между прочим, за труд тоже….  
- То-то и оно, что получают, не зарабатывают…. Опять прохиндейство.… Теперь вот, торопим время, чтоб помогло признаться в прохиндействе своём. Вроде от этого проще будет понимать несовершенство общежития нашего. Мы торопим время признать это несовершенство, вроде от этого ложь наша и лицемерие меньшими станут. Мне тоже этого хочется…. Кстати, монолит ваших партийных рядов вот-вот рухнет. Не видят этого лишь наивные люди, вроде тебя. Последние годы вы только и занимались тем, что закрывали глаза на всё происходящее и в обществе, и в партии. Потому что вы никогда не знали куда идёте, чего вам надо. Как говорят среди блатных, всегда «брали на арапа». Это очень легко делать – строить из себя грамотея, когда на тебя работает уймища народу, или чистоплюйничать, затащив эту уймищу в грязное дело. Вы всегда хотели оставаться чистыми в грязных делах. А так не бывает! Потому-то ваша теория сегодня ни на один серьёзный вопрос не может находить ответа, тем более предлагать что-либо стоящее и дельное. Иногда кажется, что мои сомнения в вашей состоятельности уберегли меня от вступления в партию когда-то, хотя мне всегда думалось, что сомневаюсь я в себе и только. Вы сегодня паразитируете больше, чем кто – либо в обществе. Завтра вас запретят, и вы все огулом согласитесь с таким решением беспрекословно и, как всегда, единодушно. Вы сами понимаете свою бесполезность сегодня. А я по уши в деле. Изворотливостью и сознательно я впрягся в теневую систему. Она более эффективна. Её прибыли приходят быстрее и прямее. Она вознаграждает за предприимчивость и труд. В конце концов, её принципы овладеют обществом. Я не знаю, хорошо ли это будет или плохо, но это случится. Общество оголтело идёт к этому. И когда придёт время дележа, многое уже будет поделено….

- И ты злорадно будешь посмеиваться над этим, смакуя уже давно предусмотрительно отломленный кусок? – Славская была спокойна, и, кажется, всё то, о чём он так яростно говорил, её не касается.   
- Не знаю…. Может быть, меня раздавят в этой жути дележа или уже раздавили…, - Василий сразу сник, замкнулся и замолчал.  
Славская сидела молча. Казалось, строгое лицо её было безучастным, но в глазах стояли обыкновенные женские слёзы. Она так и уснула в кресле, долго не закрывая глаз даже после того, как Ерохин ушёл в другую комнату и включил там свет. Всю оставшуюся ночь он шелестел бумагой на спальной тумбочке и дважды ходил в ванную ополоснуть лицо….  
Домой уехали рано утром. Всю дорогу молчали. Славская отрешённая, с потухшим взглядом сидела по-прежнему сзади. Ерохин после бессонной ночи плохо выглядел, но вёл машину уверенно и быстро, словно опаздывал к срочному делу. У первого попавшегося по пути почтового ящика он остановился и опустил в него, чуть придерживая за уголок, тяжёлое объёмное письмо.

Только уже выходя из машины, Славская тихо и устало спросила:  
- Ты уезжаешь?

- Да.

Он ответил спокойно и твёрдо, не поднимая глаз, не отнимая рук от руля. Она не спросила только – куда….

2

 …В главное управление БХСС МВД пришло анонимное письмо. Автор его именовал себя просто служащим одного из главных территориальных управлений Госснаба. В письме подробно описывались действия преступной группы дельцов поставлявших в безлесные регионы страны дефицитную древесину. Лес сбывался по спекулятивным ценам в розницу через потребительскую кооперацию. Сверхфондовый дефицит обеспечивался взятками, на которые не скупились «деловые люди», и которые шли в руки тем, от кого зависело распределение фондов и поставки леса.  
По почтовой отметке на конверте нетрудно было установить место, откуда пришло письмо. Отсюда предположительно был сделан выбор управления снаба, куда и был направлен сотрудник отдела по борьбе с хищениями. Письмо было отправлено неделю назад. Точно такой же срок отсутствовал начальник этого управления Ерохин Василий Иванович, буквально перед этим назначенный замом в главк. Сотрудником, после несложных сопоставлений почерка анонима и бумаг в столе Ерохина, было сделано заключение об идентичности почерка. Расследованием подтвердилось наличие преступной деятельности лиц поимённо названных в письме, среди которых «анонимщик» не забыл написать и своё…. На Ерохина по отделам УВД был дан розыск. Прилагались его приметы, марка и номерной знак автомобиля, места возможного обнаружения…. Служба розыска ответила в двухнедельный срок. Было получено сообщение из далёкого Приморья. В нём говорилось о том, что автомобиль японского производства « ерн » зарегистрирован без номерных знаков на автостоянке в аэропорту Владивостока. Служащему стоянки вместе с ключом оставлена записка с просьбой перегнать автомобиль владельцу по прилагаемому адресу. Служащий, что-то заподозрив, неделю спустя обратился в милицию. При осмотре автомобиля обнаружены новые государственные номера и документы, подтверждающие права нового владельца. Каких либо нарушений или незаконных действий при оформлении упомянутых документов не обнаружено. Автомобиль принадлежал одному из управлений ерн ной и теперь законно принадлежит Ерохину Виктору Ивановичу, действительно проживающему в Приморье. Точный адрес прилагался. Следствие по делу продолжается….

…Весна пришла сразу, лишь большущее мартовское солнце, проходя небосклон наискось, вылизало из-под заборов грязный лежалый снег. Сухая ветреная зима оставила после себя малое наследство, и потому безводны малые ручьи да канавы. Лишь глубокие овраги на крутых изгибах хранят в глубине своей влагу тяжёлой грязно-коричневой глины. Гол и непригляден мир в такие ранние вёсны. Зима уже ушла безвозвратно, но тепло долго ещё будет подкрадываться по голубой седине утреннего инея, согревая дыханием своим лужицы под тонюсенькой кожицей льда. Сначала попробует старая раскидистая верба у самого берега выбросить брызгами серебра в весеннюю сирень небес хлопья мягоньких пахучих барашек. Потом почернеет искорявится речной лёд, покрывшись буграми подтаявшего кизяка вдоль коровьей тропы к давно заброшенной проруби, из которой ещё в начале зимы поили скотину. В полдни по низинам в зарослях ивняка зачавкает под сапогами оттаявшая тина, перевитая кореньями. Неуклюжие горбатые кочки в заозёрье выпустят в небо ярко-изумрудные колючки, приметные на чёрной, выгоревшей ещё по осени, луговине. А потом в одну из предапрельских ночей дрогнет на реке лёд и клокочущая, освободившаяся вода огласит окрест приход настоящей весны и очистит к утру от хлама заждавшиеся берега. И так каждый год. Весенние паводки по здешним местам редкость, но все ж полна река и норовиста. Вон как гудёт под голыми сухожилиями узловатых кореньев старого, склонившегося к самой воде, вяза. В колючих кронах низкорослых яблонь-дичек просвечиваются по-сиротски неуютно серенькие полуразрушенные птичьи гнёзда. Их довольно много по здешним низменным местам. Этакие крохотные комочки из сухих веточек и соломы с остатками выцветших пёрышек. Они чудом цепляются за голые выветренные за зиму ветви. Многие из этих гнёзд ещё по осени обычно страдают от жестоких здешних дождей с ветром, называемых по-китайски загадочно тайфунами. Другие растащит окрест по кустарнику декабрьская завируха, и лишь самые крепкие дотягивают до весны, когда закучерявятся клейкою листвою яблоньки, а болотистая земля в приречье запахнет вдруг лесным луком и покроется нежными кустиками щавля. Тогда не найти уж будет сирых гнёздышек средь буйства и пестроты весенней. Одни станут обязательно добротным ухоженным домиком для сорокопуда, а другие так и останутся забытыми. Обветшав совсем, рассыпятся по земле, оставив одну-две соломины на ветвях. И трудно будет угадать по ним птичьи гнёзда….  
  
Неудобная кабина «беларуся» плохо вмещала Виктора с женою, благо той недалече. Трактор бойко юркнул в проулок и побежал вниз на приречную луговину к серым строениям свинарника. Пролетев юзом добрых пять метров по грязище, остановился.

- Дует здесь у тебя. А потом говоришь, что простываешь где-то… Стекло бы вставил.  
Нина заговорила совсем не о том, о чём не терпелось спросить мужа. Знала, что сам первый скажет о госте. И только думала просто и бесхитростно:   
- «Нежданный гостинёк. Как снег на голову…. На «джипе» прикатил. Богатый, чай…. Костюм эвон дорогущий, грязью брюки загадил. Не жалко…. И не разговорчивый. Поди, больной какой. Годами-то лишь на десяток от Виктора старее. А глаза холоднющие, как вода в Черёмуховом омуте. Седой, как лунь, но красив ещё…»

Нина искоса сравнивала мужа с приезжим.

- Ладно тебе со стеклом…. Зиму отъездил, а к теплу и вставлять уж не к чему.  
Виктор говорил о злополучном стекле тоже отвлечённо, а сам думал о своём:  
 «Брательник-то всё ж объявился. Сам…, поди ж, ты. Это сколь же лет…. Ух ты, уже тридцать годков. А я его пацаном только и помню. Никогда бы не узнал, столкнись так, где нос к носу. Если бы не отцовский голос…. Да глаза ещё мамины…»

Виктор посмотрел в глаза жены.

- Ты уж отпросись пораньше. Приготовь чего…. Брат всё-таки. Надо бы позвать кого…. И вообще… посидим вечером. Поговорим….

Она понимающе просто погладила своей шершавой ладошкой по его жилистой обветренной руке. Соскочила с подножки, помахала рукой.   
Трактор вновь весело заурчал вниз вдоль реки, погромыхивая прицепом. У самого брода остановился, косо поморгав стоп-сигналом. Виктор спрыгнул, оставляя открытой дверцу. Спустился по галечнику к самой воде. Присел на корточки. Глядя задумчиво на жёлтый поток, бросал камни в скорую стремнину. Камни бесшумно булькали, оставляя на воде чуть приметный в миг уносящийся пузырёк воздуха. Вспоминалось далёкое и вольное детство. Жили они тогда на окраине шахтёрского городка, куда аккурат в одна тысяча девятисотом году подался от крестьянского корня своего за лучшей долею дед Иван. Семнадцатилетним парубком прибился к стоящим мужикам, одолел нехитрую работу по зачистке вагонеток на верху. Потом осмелел да и напросился к забойщикам. В знатных углекопах не ходил, но и в лодырях никогда не значился. До двадцати пяти годов не женился серьезно. Разве что, месячишко – два поживёт у кого из вдовиц или разведёнок и опять холостякует. А встретил молодайку Надю, влюбился крепко и присмирел. В десятом году Надя родила сынишку. Назвали Ваней. Иван Иваныч, значит. Так Надежда пожелала. И как заговорила…. Так на одном сыне и остановились. Говорят, и партизанил дед Иван в двадцатых годах со всей серьезностью. Об этом Виктор знал только из рассказов матери. Из этих же рассказов помнил и о том, что деда Ивана в тридцать седьмом однажды увезли на «чёрном вороне» и с тех пор ни слуху о нём, ни духу. «Должно быть, сказал где что лишнее, а может быть по злобе кто наговорил на Ивана Еремеича. Всяко бывает промеж людей-то. И упекли тятьку куда-нибудь на Колыму или ещё куда подалее. Не старик ещё был, чуток больше пятидесяти. Правда, вдовый уж годов с десяток. Надя его году в двадцать седьмом ещё померла. Кашляла всё бедная. Силикоз, говорят, как обычно опосля шахты всех косит. Мы с отцом вашим Иваном Ивановичем тогда молодыми были, неженатыми ещё. Начинали тоже на шахтах. На них, окаянных…». Так рассказывала мама.

После смерти отца в пятьдесят первом году, когда Витьке шёл только шестой год, она перебралась к Ерохиным на село. Думалось, в деревне будет полегче с пропитанием, хотя и в городке у них всегда был маленький огородик за шахтёрскими бараками. Садили всегда картошку, кое – какую зелень, удавались иногда и огурцы к концу лета. Народ посостоятельнее обзаводился своим жильём, но хватало народу и бедного, перебивающегося с хлеба на воду. Обитались в основном в бараках, что строили при шахтах, но надежду на свой угол питал каждый. Отец своего угла так и не осилил.  
Вспомнился приход голосистого мая в том году…. Звенел уж где-то на исходе апреля он, и спорилось время, подгоняя минуточки к ликующему празднеству. Отец считал приближающийся месяц по праву своим истинно правильным и дорогим праздником. К нему привела его трудная и непростая дорога тревог и войн. Эта дорога увела его в жизнь, дала ему единственно верное оправдание его существования на земле. Он шагнул на неё в том самом месте, где большаком убегала она к железнодорожной станции, сливаясь там с железом двух звонких и могучих струн бесконечной колеи жизни. Шагнул, закинув за спину скромный холщовый мешок, собранный заботливой рукой молодой жены, оглянулся с грустью на свою маленькую деревянно-барачную родину с козырьками рук над глазами провожающих и ушел, не раздумывая к большой и Великой Родине. Уходил на срочную, как говорится, «стариком», на двадцать шестом году, оставляя жену с первенцем Васькой на отца своего Ивана Еремеича. Служил далеко от дома под Ленинградом. Писал домой редко. А как от отца не стало писем, и вовсе замолчал. Как уж догадался об его аресте, Бог весть. Но даже когда демобилизовался в сороковом и тогда не заводил разговор о том, как забирали отца. Мама рассказывала, что ждала все, когда спросит об отце-то. Так и не спросил. Угрюмо дождался, когда сама однажды потихоньку поведала. Молча выслушал, вздохнул тяжко и ничего не сказал. Только потом замечала мама, как подолгу возится отец в сараюшке с нехитрым инструментом, оставшимся от Ивана Еремеича, как любовно поглаживает берёзовое витое топорище, звонкие ясеневые черенки лопат. И понимала, как тосковал отец. Васька должен помнить те времена. Конечно, помнит. Война началась, ему уж шестой год пошёл. А отцу опять сорок первый вколол в петлицы треугольнички солдатской доблести, и дорога вновь увела солдата на большак в пекло великой из войн. И кто знает, ни в этом ли самом пекле суждено было отцу-солдату взглянуть однажды на собственное бессмертие, с которым затем торопился солдат, подгонял времечко, чтобы в ликующий день мая вписать его скромно на серой, изрытой пулями, колонне. Самому же отныне остаться смертным…. Война для него закончилась в сентябре месяце на большой железнодорожной станции в Сибири, когда их часть перебрасывали на Восток к завершающимся событиям в Манчжурии. Весть о капитуляции японской армии встретила их ещё в пути. Отца, как старослужащего демобилизовали сразу. К ноябрю сорок пятого он был уже дома. То-то мама счастлива была….

- Повезло Васке Ерохиной. Ивана и не царапнуло на войне-то. Заговорённый, должно….   
 Отец на шахту не вернулся. Сел за «баранку» старенькой потребсоюзовской полуторки. Где и грамоте-то поднаторел, какой из заграничных университетов одолел? А уж не была ли солдату сама война той верной и правильной наукой, что выводит человека на свет, даёт ему стоящее место и дело на земле? В сорок шестом родился он. И имя, конечно, дали ему в честь победы – Виктор. Отец так решил. И Ваську отец сам называл в честь мамы. Как плохо помнятся годы детства…. Память вынесла из той поры лишь какие-то обрывки семейных событий. Сейчас дома в старых бумагах сохранилось несколько фотографий, напоминающих ему об отце, матери, Ваське. Помнится и тот последний отцовский Первомай. В их маленькой комнате, всегда чистенькой и уютной, накануне праздников появился фотограф, маленький такой чернявый человечек. Отец болел, но по такому случаю поднялся, надел чистую рубаху. И они все вместе с соседями фотографировались на фоне белой простыни у входа в барак. У Васьки на рубашке не было пуговиц, и мама наспех застегнула ему ворот большой блестящей булавкой.

 …На праздник отец умер. Причиною была простуда. В марте до этого по зимнику отец возил муку в таёжный район. Где-то на одной из речушек провалился с машиной под лёд и промок. Здешние речки не глубоки и машину вскоре вытащили, но всё это время отец был подле неё. Простуду перенёс на ногах, но болезнь не ушла…. На улицах праздник стекался улочками к центру. Весна вовсю шумела над городишком. Отец, отвернувшись к стене, беззвучно плакал. В жизни он был сильным человеком…. Виктор помнил, как уже после отцовских похорон маленький фотограф разносил по бараку фотографии.

…В коридоре звякнула входная дверь. Василий поднял голову. В комнату входила девчушка лет одиннадцати, зелёноглазая с белёсыми бровями. Тихонько ойкнула, глядя на чужого в доме, испугано остановилась, прикрывая коленки рыжим портфелем. Василий пытливым взглядом всматривался в девчоночье лицо.

- Вы к папе…? А они на работе …и мама, и папа.

Девочка замолчала, истратив весь запас смелости.

- А тебя зовут Настей, верно? И в твои обязанности почему-то входит убрать вот этот беспорядок после застолья….

Василий почувствовал, как появление девчушки принесло ему облегчение. Лицо его приняло прежнюю мягкую озабоченность, разгладился высокий лоб.  
- Вот мы с тобою, девочка ты моя, и займёмся этим делом…  
Он поднялся, тряхнул головой, словно сбрасывая остатки дурного настроения. Снял пиджак, подвернул до локтя рукава рубашки, обнажив крепкие волосатые руки.

Испуг на лице девочки сменился озорным любопытством, глаза её зачаровано следили за чужаком.

- Ну, где же у нас вода? Что же ты стоишь…? Ах, да, я совсем забыл вам назваться…  
Василий, изображая галантность, артистично повёл рукой.  
- Василий…! Нет, дядя Василий! Прошу жаловать. Любить можно… не обязательно.  
Он протянул Насте руку, та скоро спрятала портфель и руки за спину.  
- Ну и ладно…. Можно, конечно, и без рукопожатий. После столь любезного обмена верительными грамотами, я думаю, стоит приступить, наконец, к посуде….  
Девчонка хмыкнула и убежала в другую комнату. Немного погодя она выскочила обратно, зажимая в руке жёлтую фотографию с надорванными краями.  
- А это вот вы, дяденька….

Она протягивала Василию фото, показывая в него чернильным пальцем.  
Да, на старой, невесть какой старой фотографии был он. И только детская логика смогла сейчас в долговязом подростке на фото найти с ним сходство. Разглядывая фотографию, Василий смешно шевелил губами и улыбался.  
- Да, девочка, ты права. Здесь рядом с твоим отцом, дедом и бабушкой был, конечно же, и я. Ты видишь, я был здесь чуть старше тебя….  
И он снова шевелил губами, словно был сам с собою наедине. Настя таращила на него свои зелёные пуговки глаз и тихонько хихикала в кулачок.  
- «А девчонка в маму…. Моя дочь и близко не похожа, а эта как есть вылитая мама…», - думалось Ерохину.

…Высокая, чуточку выше отца, с чистым лицом, зеленоглазая, она была красива той неразгаданной красою, что живёт в простых и тихих женщинах. В противовес отцу, резкому и скорому на дело, она, казалось, была медлительна, задумчива, но что бы ни делали её простые крестьянские руки, всё потом надолго хранило в себе их заботу и прикосновение. Василий помнит мать больше чем отца. Помнит её в последний раз худющую в латаной кофтёнке, ступающую впереди лошади вдоль чёрной пахоты…. Это была его последняя весна детства. Похоронив отца, приживались здесь на деревне. Ерохины любили мать, но и работой не обделяли, благо, что на земле-матушке её и доныне невпроворот.

- «Виктор силён мужик. Так и остался у земли…. Вкалывает…. А хозяйство не блещет. За тридцатилетие мир ушёл намного дальше…».  
Помнит Василий и годы войны, ворвавшиеся в его мальчишество ранней взрослостью и заботами. Вспомнилась, гостившая из деревни случайно в самом конце войны, двоюродная бабушка Евдокия. Плакала всё по сыну своему старшему Афанасию…. «…Ивана – то дождись, Василиса. Живой будет…, я знаю. Ерохины мужики в молодости все крепки да удачны. Ваня твой ещё молод. Жди, Васька, отца…». И они с матерью ждали…. Ох, хо-хо, времечко….   
Ему было пятнадцать, когда умер отец. Это время помнится больно и отчётливо. Малым, подрастая без отца, он рано научился подражать взрослым, ощущать себя мужиком. С возвращением отца с фронта, круг Васькиных забот как-то резко изменился. Его словно отодвинули теперь от домашних дел. Он теперь больше времени гонял с ребятишками футбол на пустыре за высокими пыльными шахтными отвалами. Отца любил, но любовью почти взрослой сознательной. Иногда в нём просыпалась, потому наверно, и сложная не мальчишеская ревность к нему. И Иван Ерохин, поглядывая украдкой на сына, проклинал время отобравшее у него счастье оставить в своём дитяти самого себя, свои привычки, знания. Васька иногда казался ему почти ровесником, отшагавшим по жизни не одну версту. Только маленькую частицу себя оставил отец ему за пять послевоенных лет. Он научил Василия любить и понимать автомобиль. В свою последнюю осень в пятидесятом отец уговорил Ваську учиться по слесарному делу в ремесленном училище при железнодорожном депо. Эта наука иметь дело с железом мало потом кормила Василия, но где-то в тайниках души своей он всегда носил мысль о том, что руки его могут ещё и это…. И потом, когда на семнадцатом году он уедет из этих мест, оставив в этой деревне маму с младшим Витькой, когда с группой после окончания ремеслухи согласится работать в глухом леспромхозе на Зее, когда потом четыре года будет дёргать рычаги трелевочника, и учиться заочно в лесопромышленном техникуме, он всегда будет помнить отца с его вечно промасленными руками, пахнущими железом….

- Ну, вот мы и управились с грязной посудой, Настюша. Пойду-ка я пройдусь…. Хозяйничай сама уж.

…За старой, давным-давно сгоревшей, кузницей, где ныне лишь бугор вымытых влагою и временем головешек, в стороне от дороги за оврагом, рваным шрамом протянувшимся на добрых пару километров, сиротинкою в голых дубках смотрелось деревенское кладбище. Дорога к нему уходила вдоль этого оврага, но Василий сошёл с неё. Земля в овраге глинистая, устланная прошлогодней листвой, снесённой сюда со всей округи, краснела по склонам плешинами, словно ожогами. Василий весь измазался глиной, прежде чем перебрался через овраг. Долго и безрезультатно оттирал её с брюк, а потом, махнув рукою, прекратил это занятие. Чуть взобравшись на взгорок, оказался сразу же в царстве крестов, тумбочек, облезлых железных оградок, поблекших жестяных венков. Вспомнились почему-то похороны отца, и пришло оттуда прошлое юношеское непонимание смерти. Сейчас же, на месте этого последнего обиталища человека, вдруг показалось, что остановилось время. Всё утратило своё движение, показалось остывшим и прозрачным. Вылинявшие фотографии в зелёных окислившихся латунных рамках, подгоревшие и склонившиеся кресты, ржавые цветы в безобразных венках, серые, ещё по весеннему неприглядные, деревья – всё казалось застыло в остановившемся послеполуденном воздухе. Стало удивительно тепло и тихо. Василию подумалось: «Говорят, на кладбище с утра ходят…. Почему?». Могилу матери он искал недолго, присмотревшись к надписям и ориентируясь по годам. Присел на деревянную скамеечку за металлической оградой, поставленной по виду не так давно. Тёмный, потрескавшийся крест венчал небольшой голый холмик. Надпись тоже не так давно подновлялась. Василий потрогал рукой тёплое дерево креста. Мысли все куда-то ушли из головы, и чувство облегчения пришло сейчас же к нему в сердце. И он знал, что исходит это от праха той, что покоится здесь у него под ногами. И не слёзы раскаяния, неискуплённой вины стояли сейчас в его глазах. В нём просто плакал ребёнок…. Плакал от счастья, что не потерялся в суматошном и чужом мире…. И по-детски не сдерживал благодарности этой земле, этой кладбищенской неухоженности и тесноте. Он благодарил мать свою за этот чистый и лёгкий миг свидания….

…К вечеру первой с работы прибежала Нина. Разгорячённая, в громыхающих сапожищах, она занесла с собою в дом запахи весенней улицы, талой воды и жуткий дух свинарника. Прошла на кухню, не снимая сапог. Сложила на стол кучу пакетов и кульков. Потом вернулась к порогу, сняла сапоги, и мягко ступая в шерстяных носках, заглянула в большую комнату  
Настя за столом колдовала над тетрадками. На диване беззаботно, по-мальчишески уткнувшись носом в ладонь, спал Василий. Настя обернулась, прижимая палец к губам, шикнула потихоньку на мать. Нина хмыкнула и вернулась на кухню. Чуть погодя подъехал Виктор. Его трактор глухо зарокотал у забора. Заскочил, успокоился тем, что жена уже дома.  
- Тогда я помчался, «коня» ещё заправлю и домой. А ты что, не переодеваясь…? – он кивнул на грязные сапоги у порога.   
- Сам же говорил, чтобы пораньше…. Мы после обеда на летний стан заглядывали. Так я на ферму уж и не возвращалась. В магазин забежала да домой….  
Она умывалась под рукомойником, тихонько погромыхивая и не расплёскивая воду.

- Думаете в летний свинарник перебираться? – Виктор ухватил кусочек колбасы из бумажного свёртка на столе.

- Думаем, куда ж денешься…. Ты назад будешь катить, покличь дядю Володю с тёткой, - Нина стукнула мокрой ладонью его по руке, которой он снова намеревался нырнуть в кулёк.

- Как скажешь….

Он вышел, топая по дощатому настилу до калитки. Через минуту затих его трактор.   
  
 …Василий крепко спал. Дали о себе знать последние четыре дня, которые он провёл за рулём. Спал урывками, не раздеваясь, чуть откинувшись в сидении. Лишь вчера уже во Владивостоке, уладив свои дела с документами, с билетом на самолёт, он снял номер в гостинице и проспал двенадцать часов. Оказывается всёравно мало…. Сейчас в сельском доме у брата спалось самозабвеннее, но не спокойно. Снилась жена, растрёпанная, неприбранная после вечеринки у какой-то особы. Он привык к её праздности, к её подругам и дружкам, потому не удивляется её осунувшемуся лицу. К обеду она приведёт себя в порядок, но сейчас она полураздета и у неё дрожат неприлично руки, когда она прикуривает сигарету. Она ещё красива и наверно иногда ещё нравится ему, но она много, слишком много курит. От неё невыносимо разит табаком…. Она что-то говорит, говорит ему. Но голова его, словно превратившаяся в большую пуховую подушку, совершенно не слышит и не понимает эту сейчас чужую неприятную женщину. Она, кажется, пытается приблизиться к нему, шепчет что-то зловещее прямо ему в лицо. Он изо всех сил отшвыривает её от себя. Но она не уходит и всё гнусит и гнусит голосами из кассеты, что у дочери на магнитофоне. Он не слышит этих звуков, но почему-то чувствует, почти осязает всей своей кожею эти вопли и музыку. Он пытается закричать сам, но нет сил, губы его безвольны, и лишь сердце вот- вот разорвётся от напряжения. Он заставляет себя бежать прочь от этого тучного лица, от его гримас, от звуков несущихся из безобразного капризного рта…. Сон уносит его далеко в незнакомое жёлтое поле, простирающееся до самого горизонта. Такого цвета зрелых хлебов он никогда и нигде не видел. Поле было тёплым живым существом с мягкою, яркою шкурой. Тепло его было цветом и светилось изнутри, переливалось то светлыми, то темнеющими тонами. Высоченное небо над полем и солнце цвета не имели. Они присутствовали во всём, были ощутимы, но невидимы…. Вдруг он понял, что это сон, цветной сон. Таким чистым и жёлтым поле быть не может, как не может быть и красным, как костёр, вон тот куст из причудливых резных листьев среди манящего жёлтого месива. Куст, словно кровавая клякса, прекрасный, жуткий и почему-то холодный, с жёлтыми прожилками на листьях. Нет, это, конечно же, просто сон…. От этого понимания приходит облегчение на сердце. Он ощущает теперь свою голову, руки, ноги. И делает несколько шагов к этому холодному костру, увлекаемый очарованием невиданного растения. Что-то заставляет его обернуться, и он сразу же видит, как под его ногами поникшие колосья вдруг загораются изнутри кровавым огнём, свиваясь в сказочную, жуткую по красоте своей, резьбу. Он наклоняется, чтобы потрогать этот живой огонь, но растение рассыпается у него в руках, не вызывая никаких ощущений. Оно становится таким же невидимым, как небо и солнце над чудным и душным полем. От этой духоты у него кружится голова. Он поднимается, пошатываясь, а потом бросается животом со всего маху на огненно-красную груду листвы, но опять ничего не чувствует. И вот это несоответствие между видимыми красками узора, ощущением своего движения и не осязанием всего этого порождает в душе невыразимое чувство тоски и бессилия. От этого он плачет навзрыд, загребая руками жёлтую податливую шкуру поля-существа…. И тотчас просыпается, давясь комом непролитых слёз. Не открывая глаз, заставляет себя отойти ото сна и долго затем лежит так, ощущая себя опустошённым. Рядом за столом слышно как листает страницы, и что-то самозабвенно мурлычет себе под нос Настя.  
- «Что-то воображает или зубрит уроки», - подумалось тепло и приятно.  
На кухне было слышно, как суетится Нина. Он проспал её приход, и от этого было как-то неловко. Василий открывает глаза и смотрит на часы: «Полтора часа валяюсь!».

На улице вдоль окон по деревянному настилу послышались шаги. Вошёл Виктор. Было слышно, как он шумно раздевается и кряхтит, снимая сапоги. Через минуту он показался в дверях.

- Вот вздремнул чуть. У вас легко спится, ничего не слышал…, - Василий оправдывался, вставая и приглаживая рукой волосы.

- Это точно, - Виктор присаживается на уголок дивана: - Я, вот, намотаюсь за день, а приткну голову к подушке и готов…. Легко, это точно. А с детворой и того слаще…. Настька малой была, так я с ней тут вот на диванчике пригреюсь и под телевизор сны смотрю. И со старшим, помню по-молоду ещё, так же. С детворой хоть и забот много, но и тепла, умиротворения больше. У тебя, небось, взрослые дети? – Виктор ласково тронул дочь.  
- Да, мои уже взрослые. Младшей восемнадцать, - Василий ответил как-то спешно и сухо.

- Вместе живёте или как?

- Сын в Москве учится, дочь с нами…

- Уживаетесь?

- Да, так, как все вроде…, - неопределённо отвечал Василий.

 В голосе его чувствовалась натяжка.

- Сейчас молодые с гонором, да…. Вот и у нас непорядок…. Сын Сергей…. Наш первый отпрыск, так сказать…. Он старше Насти почти на десять лет…. Один был, баловной, всё ему…. Теперь вот срок… тоже ему. Пять лет получил…. Хулиганство, драка…. В прошлом году посадили. Горя притащил в дом столько, что возом не вывезешь. И от людей стыдно…. Да, молодёжь…. Старики, надо сказать, тоже ныне горемыки сплошные. За кровной пенсией – в очередь…. А у вас как? Работаешь? –  
Виктор спросил так, что надо было отвечать где, кем и как работаешь, но Василий чуть с иронией лишь ответил:

- Да все вроде бы при деле….

- А жена? – Виктор был серьёзен и не замечал иронии брата.

- Вот жена… без дела, - Василий съязвил.

- Значит твоего одного дела на всех достаточно? А мы, вот, вдвоём на промысле, как говорится. Хочется, чтобы, как у людей…. И в доме, чтобы чего было, и в животе, чтобы не пусто. Пойду-ка я умоюсь, а то соляркой за версту разит….

Братья выходят на кухню. Виктор наливает в рукомойник воды, намыливает большие, с въевшейся под ногтями чернью, ладони.

- Бани своей нет? – спрашивает Василий, вспоминая, как сам долго плещется в ванной после работы.

- Своей нет. В неделю, вон, к тестю ходим пузо парить, да пузырёк раздавить…  
- На свою… тяму нет, так и скажи, - с укором от стола говорит Нина.  
- Тяму нет, это ещё не всё. Лесу нет! Не заработал я ещё видать…. Большая совхозная баня развалилась…. Совхоз в шестидесятые годы наши дома строил. Расчёт был на туалет и ванну, как в городе. Да только до сих пор так и не обзавелись мы этим делом….

- А где деда Федота дом стоял, у него там ведь и банька была?  
- Да, тут рядом, видал проулок, с одной стороны там двухэтажный дом с выбитыми окнами? Это общежитие…. Когда-то народу много на деревне случалось, а теперь иное лето китайцы хозяйничают, арендуют землю, капусту выращивают…. На том месте дом и стоял. В шестьдесят девятом, старик Ерохин помер, а дом всем селом на дрова растащили. Рухлядь одна и была…. И банька рухлядь. Хорошо, на котельной душ функционирует. Иногда заскочишь, ополоснёшь пятки. А то, вот, всё больше старым испытанным ерн но… из рукомойничка, - Виктор прекратил брызгаться и взялся за полотенце.

- Вот потеплеет, я его во двор вытащу, а там уж, что твой душ, только водичку таскай. Вы-то у себя в городах позабыли, небось, как настоящая водичка пахнет?

- Ну, сел на свою сивку, - Нина шлёпнула легко мужа по спине.  
- А что? Правду говорю…. Вот брат твой, как прикатит из города, как навстречаются с батей, так на второй день только водой из Майского ключика и отпаивается. Да всё говорит, что хватает ему этой воды до следующего приезда. От городской-то воды помер бы, говорит, если бы такими дозами с похмелья употреблял….

- Да будет тебе, - машет на него рукой Нина: - Давай помогай лучше, хлеба нарежь, вон те огурцы открой….

- Помогать, значит помогать…, - Виктор берётся за нож.

- А ты, Вася, пока отдыхай, дыши деревней. Вот тот же братец её всё тащит в город к себе. Жизнь, говорит, во…! Как у Христа за пазухой. Квартира у него, конечно, машина, вот как у тебя примерно…. А я так думаю: не в одночасье к нему свалилось всё это. В городе, считай, с пацанов пристроился, всё на одном месте уже больше двадцати лет. Мужик здоровый, не шибко грамотен, но пробивной, бригадирит. За своё долгое бригадирство и почёт имеет. Правильно я говорю? – Виктор глядит брату в глаза, - Вот я ему об том самом и говорю. Моё, говорю, здесь, на этой земле, раз уж начал с неё родимой. Мне, говорю, в твоём городе ежели начинать, то надо с самого нуля…. А он, как подопьёт, так сразу себя в грудь и лезет со своими доказательствами того, что какой он большой человек, какое дело ворочает, что может такое сотворить…, - Виктор ударил себя в грудь, передразнивая смешно брата своей жены: - А я себе думаю: эх ботало ты сельское! Дома, небось, пашет молчком. На шахтах, вот, разлад ныне. Уголёк прикрывают, народ без дела. Каждый за место держится, а неприкаянных всё равно полно. Даром-то ничего не даётся…. А тут в деревне невежеством своим исходит, в городе-то его вроде неприлично выставлять, а тут по пьянке… сойдёт. Благодарил бы время да людей, что работают рядом, ведь с их позволения в героях ныне ходишь, не твоя одна в том заслуга…. Правильно я думаю? – Виктор тронул за руку, задумавшегося Василия.

- Да, да, конечно…, - старший брат думал о своём: - Завтра я улетаю, Витя…. За границу. Уеду рано. Хочу ещё на шахтёрском кладбище у отца… побывать, - Василий запнулся и опустил глаза.

Наступила мгновенная тишина. Нина украдкой глянула на мужа. Виктор как-то виновато сдавлено проговорил:

- Нету того кладбища, где отец…. Там теперь микрорайон. Предлагали тогда вывозить, кто пожелает, родственников…. Да я тогда только-только стал зарабатывать после армии, женился вот…, - он как-то сник, оправдываясь перед старшим братом за то, что не сумел перевезти могилу отца сюда в деревню.  
И опять тишина стоит меж братьями, только слышно как стучат сердца, тяжко и виновато.

- А мама здесь…, - облегчённо прерывает тишину Виктор.  
- Тут вот рядышком. Недолго болела, всё ждала…, - Виктор поднял глаза и вновь опустил их. Договорил, набирая в грудь воздуху: - Думала тебя увидеть ещё…

Василию было больно слышать это. Он чувствовал, как жмётся в больной ком сердце, слышал как дзвенькает под бровью синяя жилка….   
Со двора доносится дружелюбное потявкивание собаки, у калитки слышен говор.  
- Свои! Дружок на чужого не так лает. Должно дядька Володька с тёткой. Как узнал, что ты объявился, засобирался старик. Вишь, как скоро идут….   
- А Алексея Афанасьевича позвал? – спрашивает Нина.  
- Позвал. Слышь,Вася, тут у нас родственник новый года три как нашёлся. Сам Владивостокский, вернулся на землю, фермерствует. Помнишь, ложок вдоль озёр, Еремеевским всё называют. Там деревушка была. Пробует закрепиться мужик. Пойду-ка я стариков встречу…

Виктор выскочил во двор.

…Часом позже все собрались за большим столом в горнице. Пришли родители Нины, тихие старики, живущие тут же через пару дворов по улице. На вид годов по семьдесят, сухой рослый старик и маленькая старушка. Тихонько поздоровались, разделись у порога, прошли молча и присели тихонько у стола. К старушке сразу подскочила Настя, о чём-то зашушукались.   
- Ну, родня встретилась…. Давно не виделись, - посмеивалась Нина.   
Шумно с прибаутками усаживался дядька Владимир, доводившийся маме покойнице родственником. Рядом всё одёргивала его жена Дарья Егоровна. Тоже старики чуть помоложе, правда. Василий плохо помнил их. Когда-то, приезжая иногда на воскресенье из ремесленного училища к маме в деревню, он видел этих людей. Но тогда они были ещё молодыми и красивыми, а сам он был мальчишкой и им далеко не ровня. Теперь, глядя на этих людей, почему-то грустно, но тепло подумалось: «Как всё-таки время умеет сравнивать возраст людей. Когда мне было пятнадцать, этот старик уже отслужил в армии, и ему было двадцать пять. Для него я тогда сопляком был, а теперь мы почти ровесники. А после шестидесяти, наверно, время всех делает ровесниками и ещё детьми…».

Дядька Володя, опрокинув в беззубый рот рюмашку водки, подсел ближе к Василию.   
- А что, Василий, если я тебя просто Васькой буду называть, не обидишься? Я по родственному имею право, хошь и долго не виделись…  
- Да я не против, собственно…, - чуть смущается Василий.  
- Ну и добре! А скажи мне тогда, Васька, Иванов сын, большой ты ноне начальник? Наук, поди, много познал…? – дядька определённо намекал на то, как, не приехав на похороны матери, Василий отделался лишь телеграммой. Но тогда он действительно защищал диплом. Хотя…, какие тут могут теперь быть оправдания.

- В институте когда-то учился, - он попробовал отшутиться.  
- Это я к тому, что машина у тебя знатная…. Должно быть и должность большая? Хотя по нонешним временам у нас тут некоторые и не шибко грамотные в таких амтомобилях ездют. Так как же, большой ты начальник? – дядька смешно заглядывал выцветшими глазами Василию прямо в лицо. Седые редкие волосы его топорщатся в разные стороны, а выпитое зелье разлилось румянцем в морщинистых щеках.

- Большой…

- Как наш директор совхоза или поболе? – не унимался дядька.  
- А директор ваш большой начальник? – в свою очередь, шутя, спрашивает Василий.  
- Плакал наш совхоз, - язвит Виктор, - Растаскиваем всё что можно. Приватизация.… Ни начальников не будет, ни подчинённых. Одна частная собственность будет, говорят. Так что устарел ты, Владимир батькович, с совхозом. Тю-тю, под корень срубим социалистическую гидру….  
- Ладно, вы, насели на человека со своим…. Наливайте лучше да кушайте, - суетилась над столом Нина.

Водку пили из резных рюмок, с хозяйкой из зеркального буфета со стеклянными полочками. Запивали, кто лимонадом из магазина, кто резким рассолом из-под помидоров, что красною горкой громоздились тут же на столе. На закуску была копчёная колбаска тоже из магазина, оттуда же сыр, пластинками прилипший к синеватым маленьким тарелочкам. Кусками серый хлеб среди чашек. В жёлтой глиняной миске соленые пупырчатые огурчики, глянцевые от рассола. В такой же миске квашеная черемша в сметане. Отдельно каждому Нина подала из холодильника студень свиной, крутой как мармелад, духовитый с перцем. Дымилась парком подле чашки с помидорами картошка, облитая топлёным салом с пригарочками лука. Но ели совсем мало, больше говорили. Несколько раз мужики порывались курить на улицу. Нина ругалась и не пускала.

- Ты, Васька, куришь? – интересуется дядька.

- Бывает иногда….

- Это хорошо, что иногда. Совсем не курить тоже плохо…. Курево, хочу я тебе сказать, первое дело для мужика.

- Для тебя первое – водочка, - с ехидцей вставляет тётка Дарья.  
- Не! Первое это папироска…. Оно-то, конечно, вреда от неё больше, тут уж никуда не денешься. Я вот махру всё курил, а теперь лет пять наверно уж только папироской балуюсь. Даёт о себе знать…. А всё ж удовольствие… Да-а, - старик так знатно тянет это «да», что с ним нельзя не соглашаться, - Некоторые, конечно, ещё и другие удовольствия находют…. Баба, например, тож удовольствие.

Дядька хитро поглядывает на Виктора, поддерживающего разговор поддакиванием да хмыканьем. Тот добродушно отмахивается от старика:  
- Ладно, дед, Вали кулём, потом разберём. Только не завирайся здорово….  
- Вот я и говорю, всякие мужик выбирает удовольствия. А без них нельзя…. Без них жизнь вкусу не имеет, как у плохой хозяйки борщ.  
Василий, чуть захмелев от выпитого, от еды, больше молчал и только прислушивался к немудрёной речи, смотрел в простые и близкие лица. Ему было легко с этими людьми. Они были близки ему, открыты, понятны, ещё и потому, что совсем не требовали открыться его самого…   
В окна с улицы ударил свет, остановившейся под самым забором машины. Двигатель её заглох и задиристо вякнул сигнал.

- Опа! Это к нам…, - Виктор опрометью убежал встречать гостей. Через пару минут раздевал их у входа, приговаривая:

- Раздевайтесь, раздевайтесь. И проходите к столу.… Вот, Вася, как я тебе и обещал, Алексей Афанасьевич, наш Владивостокский родственник. Проходи, проходи, дружище. Да он ещё и с Сергуней…! Ещё Ерохиных прибыло!  
В комнату, пропуская впереди себя мальчишку лет пяти, чуть сутулясь в дверях, входил рослый, русоволосый здоровяк. Крепкие плечи, чуть вскинутая большелобая голова, открытое улыбающееся лицо и зеленоватые с Ерохинским прищуром глаза.

- Здравствуйте вам…. За маленькое опоздание просим прощения, взамен вот примите от нас угощенье. От наших, так сказать, крестьянских жиров вашему пролетарскому худосочеству….

- Шалишь, Афанасьич. Крестьянин, тоже мне, нашёлся…. У него, Вася, докторская диссертация про какие-то ритмы-алгоритмы, а он на крестьянские жиры позарился. Кто уж тут городской, так это ты, Алексей….  
- А Васька? – из-за стола, здороваясь с новым гостем, поднимался дядька Володя.  
- Васька сам по себе с одного боку всё же от земли, крути, не крути. А вот Афанасьич полный горожанин. Мамаша его, как есть коренной городской житель. Правильно я говорю?

Шумно по очереди все здороваются с Алексеем. Принимая его руку, Василий не удержался и обнял родственника. Не выпитая рюмка водки, не общий настрой компании тому были причиной. Ещё намереваясь навестить брата, Василий ожидал, что произойдёт что-то особенное, приятное и долгожданное. Этого не случилось ни при первой встрече утром с братом, ни на кладбище у мамы, ни когда стали собираться гости. И он внутренне всё как-то ждал этого значительного. И чувство не обмануло. Словно искра проскочила между родственниками в рукопожатии, толкая их, друг другу в объятия. Дядьку Афанасия Василий, даже если и видел в двухлетнем возрасте, помнить не мог. Хорошо знал его по фотографиям тридцатых годов из маминого небольшого альбома. И сейчас не находил ничего похожего в Алексее с бравым военным на тех фотографиях. Но Василий помнил двоюродного деда Федота Ерохина…. Только тот был шире и светлее. И потому наверно что-то большое и светлое откуда-то из детства привиделось сейчас Василию в обнимающем его родиче.

- Правильно, всё правильно, Витя. Диссертация только не докторская, а кандидатская. А так всё верно, корни у меня, как есть, крепко городские. Ну, если конечно, не брать более давние времена…. Да вот ещё отцовский корешок…, - Алексей кивнул на мальчишку, - Куда ж денешься? Маленький корешок, а вот потащил более других на себя. Отпусти, Василий Иванович, а то ненароком задушишь…. Ты, я вижу, тоже не шибко с крестьянством порвал? Рука крепкая и тяжёлая…

- Да, нет. Я-то вот как раз и разорвал…, - Василий, смутившись своего порыва, отпустил Алексея.

- Долго ли вернуться? Афанасьич без году неделя как фемерствует, а город уж и забыл…. А?

- Да, вот на неделе мотался…. Мать проведал, кое какие дела спроворил. Семья, это святое…. Внука вот на меня навешали. Тебе, говорят, всё равно в деревне скучно одному….

- Так ты всё ещё не решил вопрос с женою?

- Как решишь? У неё работа, квартира…. Сын ещё с невесткой…. А мама?

Сын-то у вас взрослый…?

- Тридцатилетний малолетка…. Они же, ты знаешь, какие сейчас маменькины….  
- Не скажи. Наш вон, вишь как рванул из дому…. И на нары угодил сразу….  
Виктор самоедливо вспомнил о сыне.

- Ладно вам, о худом…. Наливай, Иванович, по соточке, - дядька Володя тянется за рюмкой.

- И то…. Ну, Афанасьич, за встречу, за знакомство с братухой моим Васей…. Тебе в аккурат ровесник, - Виктор прикидывает в уме и тут же поправляется: - Не, Вася старше на два года….

- Тогда по старшинству и наливай…

- Ты, Алёша, расскажи про внука. Слушай, брат, историю…. Не поверишь никогда. Я сам долго сомневался. Благо, ещё кое-какие старики живы. Дядька Володька, вот, кой чего помнит…. Да баба Варя ещё жива.  
- Это какая баба Варя?

- А сестра двоюродная тятькина, помнишь? Ты-то должен помнить…. Деда Федота самая младшая дочка Варя. Вспомнил?

- Ты бы помолчал, Витя. Афанасьевич сам и расскажет, - вмешивается в разговор Нина.

- Да я, чо, я к слову…. Давай, Алексей рассказывай сам, а то мне не дадут….  
- Это наша, так сказать, теперь уже семейная сага, - начал деликатно Алексей, - Удивительная история. Какие только истории не случаются с нашим народом…. Да. Ну, так вот, пять лет назад наш студент, сын то есть, оканчивал университет и приспичивает ему… жениться. Я ему так, околесьем, пытаюсь вразумить, что погоди, мол, чуть-чуть, оканчивай учёбу…. Тут ещё наша «перестройка» подоспела…. Шум-гам, тарарам…. А сын с женитьбой. Говорю ему, ты хоть с невестой познакомь нас. Однокурсница, говорит…. Приводит как-то эту однокурсницу домой…  
- Афанасьич неплохо живёт, надо сказать, - вставляет в начало рассказа своё слово Виктор, - Я прошлую зиму по крещенским холодам возил во Владивосток бычка. Был у него, по городскому живёт. Старуха в квартире хозяйничает, как в старину…

- Опять ты встреваешь, ботало, - ворчит Нина.

- Да я чо, слова сказать нельзя…?

- Давайте, мужики, картошечки горячей…. Можно с грибами, можно с капустой…. А курицу чего не едите? – Суетится вокруг стола Нина.  
- Ладно, ты…. Садись, дай человеку досказать.

Дядька Володя чуть захмелел и пытается что-то сказать своё.  
- Эх, Ерохины. Всё про своё. Куда нам тогда…?

- Вот ещё чудо тихое…. Молчи уж, да слушай, - шикает на него жена.  
- Да, так вот, приходят мои студенты домой. Невеста наша, как невеста. Словом, как все девчонки молодые…. Я вот сам по молоду…, вспоминаю, что все девки в таком возрасте, все буквально, молодые, все красивые и на всех… жениться хочется.

- Ну, кое-кому этого всегда хочется…, - кивая на Виктора, язвит дядька.   
Василию сейчас просто хорошо и он просто молчит и улыбается. Алексей продолжает рассказывать:

- Только мне сразу показалось странным то, как на девчонку посмотрела моя мама….  
- Ну, ещё бы это было не странно, - хмыкает хитро Виктор.  
- Опять…? – одёргивает его жена.

Всё, молчу….

- Мама этак внимательно к ней присматривается. Та, естественно, смущается. Девчонке, правда, двадцать третий год, но скромная, хорошая. А маме тогда было шестьдесят восемь, но она ещё крепенькая у нас до сих пор, слава Богу…. А кто, спрашивает она у нашей невесты, твои родители? Та отвечает: мама учительница в школе, папа был моряком, три года назад погиб в трагической ситуации. Мы, понятное дело, соболезнуем. Живут тут же во Владивостоке, с бабушкой…. А бабушка старая? Да не очень. Вот, как… вы, говорит. Ну и всё, казалось бы. Познакомились, как говорится. Сын с женитьбой не отстаёт. Склоняемся и мы к тому…. А мамаша моя, не успокаиваясь, пошла к невесте домой. С бабушкой знакомиться….  
- Ну? – Виктор по-мальчишески удивляется.

- Вот тебе и ну! Будто не знаешь дальше?

- Да знаю…. Только опять интересно. Наливай, Вася, под это дело ещё по одной.  
- Дай человеку договорить.

- А мы и то и другое не опоздаем….

- Ну, братцы, вашей истории так и конца никогда не будет, - шутит Василий, заинтересовавшись.  
- Ага, интересно? То-то! Ты слушай, слушай. Как Афанасьич объявился в наших местах четыре года назад, как я услышал эту историю, до сих пор удивляюсь….  
- Да уж, к концу история. Приходит мама со знакомства зарёванная, больная. Слова от неё путного не добьёшься. Я тогда над темой работал, семейные дела как-то мимо себя пропускал. А тут вижу, сложность какая-то изрядная. Надо, думаю, вникать…. А когда вник, поразился. Оказывается бабушка невестки нашей, тётка моя родная, в девичестве Ерохина Варвара Федотовна. По возрасту она мамина ровесница. О нас с мамой Ерохины и знать не знали….  
- Случилось так…, - как-то виновато вставил Виктор.

- Да, жисть, - в тон ему поддакнул дядька Володя: - Мы, вот, своих Тихих тож подрастеряли. Кого война забрала, кого сосед спихнул, а кто сам сбежал….  
- Ну, пошёл своё нести. Какие были мужики раньше, какие бабы. Чего уж старое поминать…, - как-то незло поругивалась тётка.

- А разве нет? Мужики, так мужики! Сколь людей больших выдали нагора. Как на шахтах говорят, а, Васька, не забыл?

- Забыл, всё забыл, дядя Володя…, - Василий говорил правду.  
- Вот то и плохо! Перезабудем всё – пропадём все подчистую. Останется тот, кто не забудет. Правильно я говорю, Алёша?

- Правильно, да только жизнь…, она видишь, как устроена сложно. Мама мне про отца очень мало рассказывала. И надо признаться в памяти я хранил из детства образ отчима. Тот тоже был военным, тоже погиб, только чуть позже, в сорок третьем. От него много писем…. А об отце узнал, когда о реабелитациях заговорили вслух. Мама тогда только призналась о существовании Афанасия Ерохина. Но подробности вон когда открыла…. Когда внука на родственнице женить надумали. И о нас Ерохины знали бы, если бы письмо от Афанасия Федотовича, в котором он просил отыскать маму, не затерялось вот у Ерохиных на шахтах. Это письмо в своё время получил Илья Федотович, младший из Ерохиных.

- Он жил у нас немного, может с год, я помню, - вставил Василий, серьёзно увлечённый историей.

- Да, да, он тогда в начале войны подался на шахту и жил некоторое время у вас. А письмо нашли совсем недавно Виктор с Ниной, когда я занялся поиском родственников….

- Надо бы покурить на улицу выйти, - заегозил дядька Володя.  
- Сиди уж, отдохни от табака немножко, и воздух свежее будет, - ругает его тётка.  
- Курите здесь, чего уж, - разрешает Нина.

- Ну, нет. Все как закурим, крыша взлетит, - шутит Василий и поддерживает идею курить на улице.

Мужики шумно поднимаются и выходят во двор. Над головой чистое высокое небо сразу со света, кажется, чернильно-черным.

- Дай-ка я свет во двор включу, - оборачивается назад Виктор.

- Не надо, дай на звёзды глянуть, - просит Василий.

- И то, правда, давай в темноте погуторим. Пошли на лавочку….

 Весенняя ночь прохладной лиловой пеленою висела над крышами села. Весёлыми жёлтыми пятнами вдоль улицы подмаргивали окна домов. Курился дым из труб, где-то слышалась музыка. Мужики прошли мимо машины Василия, которую Виктор загнал ещё засветло во двор. Расселись тесно на узенькой лавчонке за калиткой. Закурили. У забора темнела, поблёскивая молдингами, Алексеева легковушка. Напротив, через дорогу у соседа во дворе горел свет, фантастично шевелились тени, раздавался говор.  
- Как крестьянствуется, Алексей Афанасьевич? Говорят, работников нынче набирать будешь? Окулачиваешься…, - с подначкой спрашивает дядька.  
- Зря говорят. Не получается. Во-первых, в прошлом году я не управился с соей. Сам не одолел, а ваши местные богатеи пообещали с помощью, да видно намеренно и не помогли. Половина сои моей ушло под снег. Во-вторых, кусок, что под картошку я арендовал, в этом году от меня отойдёт. Ваш директор присмотрел…, а у меня сил нет тягаться, да и охота иссякла.  
- Бросишь землю…?

- Останусь. Но на большое теперь не замахиваюсь. Сейчас время работает не на того, кто больше произведёт, а на того, кто с толком и быстро реализует. А для этого нужна система, в которой и верх, и низ, и середина все однозначно важны…. И всё сцеплено между собой производственным оборотом. У нас же советская система, в которую была втянута огромная масса населения, рухнула, а новую систему общество пока и не осознало, и не приняло. И всё оказалось в разрыве. Верх сам по себе, ему с лихвой хватает и того, что осталось…. У него своя система: народ подальше отодвинуть. Американцы, когда начинали осваивать свои земли, привезли из Европы определённый способ производства и определённый уровень культуры. А чтобы поддерживать этот должный уровень им пришлось опуститься до рабства. Для того чтобы работала европейская система производства нужны были рабочие руки, а их-то как раз тогда у американцев и не хватало. И вот тогда общественное сознание в нравственном плане опускается и склоняется к признанию необходимости рабства. Это потом приходит понимание гнусности такого явления…. Наше общественное сознание, кажется, склоняется время от времени к тому же, только американцы рабов ввозили из Африки, а у нас всегда своего народу полно…. Этот же принцип использовали и Советы, когда замахивались на коммунизм. Но это шибко умный и долгий разговор, мужики…. Я, вот, теперь двор свой потяну и то ладно. На себя ещё поработаю, что лишнее случится – продам, если получится. Своим в городе к зиме кое-чего выращу и то ладно….  
- Скажи, Алёша, правда кандидата имеешь? – интересуется Василий.  
- И сейчас не бросаю. Немножко работаю над темой: компьютер и крестьянство. Нет-нет, печатают в одном журнальчике.

- Вот вы все так, интеллигенты, кинулись к земле, понюхали, как это пахнет…, и опять на свой хлебушек в город. А кто робить будет? – пыхтит дешёвой сигаретой дядька.

- А не получается…. Для такого хозяйства, на которое заглядываемся, у нас на селе много народу лишнего. Техники хорошей нет. Да и за какие шиши технику брать? Кредит никто не даст, не подо что…. Земля в обороте не участвует, нет ни законов, ни традиций в этом деле. Не срабатывает фермерский вариант у нас. Мелкий единоличник останется…. Да вот ваш директор бывшего совхоза с компанией разворачиваются. Вот на кого потянется работать за мизерную зарплату народ, как и при Советах. А откуда же большую зарплату взять на такую ораву? Зато всех, так или иначе, работой займут. Плохо это или хорошо, но это так…, - Алексей кажется огорчённым, но говорит просто, без упрёков и по всему видно, как близка и не раз обдуманна для него эта тема.

- Да, эта компания нынче пригрела всё что смогла. И технику, и землю. Лишний народ отшили не мытьём, так катаньем…. Кому: на тебе Боже, что нам не гоже, а кого под зад мешалкой. Закону по земле нет, а торговлишка ею идёт. А что поделаешь? Это, что против ветру…. Только начни шуметь, тебя же и обрыжжет с ног до головы. Я, вот, молчком со всем соглашаюсь. Будем делить землю – будем, будем кооперироваться – будем. Мне хоть при том, хоть при этом вкалывать на этой земле. И потому большой разницы нет, чья земля. Хоть на банкира, хоть на директора, хоть на президента – крестьянину работать надо, только уже за то, чтобы поменьше давили. Так я и пашу, как и прежде, где за рупь, а где за так…. Своё хозяйство не упускаю, иначе по миру пойдёшь. Где сам одолею, а где от общего кое-чего прихвачу. А почему бы и нет? Всю жизнь в общее отработано…. Есть же и моего чуть в общем-то, а? – Виктор не спрашивал, последняя фраза была у него больше ответом.  
- Вот такой у нас распределительный механизм, Василий Иванович. А у вас как с новыми временами…?

- А у нас ещё до новых времён всё распределили, - шутя, отмахивается от вопроса Василий, а потом серьёзно спрашивает:

- Как так случилось, Алёша, что с Ерохиными не знался долго?  
- А как ты не знался…? Как рванул из дому в пятьдесят каком-то году и до сих пор…, - вставляет упрёк Виктор.

- Я на свой хлеб рванул…. Так уж вышло, - Василий не оправдывается.  
- У нас другая история…. Мама с Афанасием Федотовичем случайно сошлись. Я толком и не знаю как…. Он военный, видать, солидный мужик. В тридцать шестом ему было тридцать три, маме девятнадцать. У него жена с дочерью в Сибири…. Свои отношения, своё житьё-бытьё…. Какой случай свёл Ерохина с мамой, не знаю. От неё теперь не добьёшься…. Давние дела. Меня она до сих пор в шутку обзывает результатом верной любви. Её семья в те годы совсем распалась. Отец у неё был по чиновному делу, в двадцатом году с ним удар случился и вскоре его похоронили. Мать чуть до того при родах померла. Втроём остались сиротами: маме три года, брат постарше восемь лет и младший, только-только год. Выживали первое время благодаря брату отца. А в двадцать втором и это рухнуло. Родственники подались за границу, с ними только младший из троих укатил. Мама со старшим братом остались здесь в приюте. Как-то выжили…. Брат погиб ещё в финскую кампанию. А с младшим её заграничным братцем, у меня есть почтовая связь….  
- Возьми адрес, Вася. За границу едешь, сгодится. Родственники всё ж…, - вставляет своё замечание Виктор.

- И то, правда, Василий Иванович! А куда за границу, - интересуется Алексей.  
- Пока в Канаду, - как-то неопределённо отвечает Василий, - А ваши где?  
- Сейчас найдём…, - Алексей уходит за калитку, гремит дверцей своего автомобиля.  
- А у Васьки машина побогаче, - прерывает некоторое молчание дядя Володя.  
- Другого класса, - со знанием дела замечает Виктор.

- Да, другого класса…, - задумчиво повторяет Василий.

Возвращается Алексей.

- Вот, в записнушке нашёл адрес. Я прямо листок вырву и тебе отдам. Всё может быть…. Они в Австралии. Судя по всему, живут неплохо. Года три назад мамин племянник, мне значит двоюродный брат, объявился туристом. Гостил дня четыре. Русский мужик, только из Австралии…. Так же по чиновному делу, как и деды во Владивостоке.

Расходились гости до полуночи. Жали братьям руки, извинялись просто так для слова. Всем, кроме стариков, завтра на работу. Василию рано в аэропорт…. Алексея с мальчишкой провожали напутствием:  
- Хоть и недалеко пылить, ты уж поосторожней, Афанасьич. Наследника побереги…  
- Да он грамульку-то и выпил…. Доберутся, у нас тут гаишников нет. Никто не остановит, если сам в канаву не свалишься….

- А то, оставайтесь до утра. Чего мальчонку тормошить, глянь, спит ведь…, - жалела тётка Даша.

- Не будем надоедать вам. Нам недалеко, правда, Серенький?  
Мальчишка сонно кивал и верно уснул сразу, как только машина тронулась в синюю мякоть прохладной ночи.

 Дядька Владимир с женой уходили последними. Виктор с Василием провожали их до дому. Назад шли не спеша. Разговорились.  
- Слышал, старик упрекал меня бабою, - Виктор не смог удержаться, открыл брату, может быть, единственный грех свой на сей счёт.  
- Было дело, чего уж тут выкручиваться. Учительница у нас была. Красивая…. Двадцать пять лет, но не замужем. Ну и приударил я… это, бес в ребро, как говорят. В книжках, оно вон, как пишут об этом самом…. Дух захватывает. А у меня с Ниной всё даже очень просто. С армии пришёл, она уже в невестах значится. До армии вроде соплячкой ещё бегала. Ну, поженились. Она в техникуме училась, в город моталась. Неделю в общежитии, на выходные дома. Я на трактор сел. Старшего родила, не до учёбы стало. Так и доныне. Живём вроде неплохо. Она уже Настькой ходила, когда я… это, с учителкой…. Ничего такого конечно не было. Всё ж дело серьёзное. У меня семья. Её я не шибко понимал. Влюбился вроде и вся тут. Она, конечно, чего-то ждала от меня, это бесспорно. Я хотел, чтобы у нас по книжному всё было. А деревня, брат, всё по своему рассудила. Спроворили учителку быстренько замуж наши бабоньки, показывая чего от меня ей надобно было. А Нина меня словом не упрекнула, видать бабье сердце всегда знает, где правильная любовь, а где так…, одёжа её.

Братья стояли некоторое время во дворе, думая каждый о своём. Небо с косячком нарождённой луны было холодным, но земля уже не замерзала в ночи, лишь похрустывала пробуждающаяся, томясь ожиданием настоящего тепла.  
- Шли бы уже спать…, - позвала в приоткрытую дверь Нина.

- Чистая она у тебя, - задумчиво проговорил Василий.

- Вроде не в грязи живём, оттого и чистая, должно быть, - спокойно ответил Виктор, подталкивая брата в дом.

 …После ухода гостей Нина готовила Василию постель в детской, где были оставлены его вещи. Переставляя кейс, Нина видела, что он открыт. У неё не было и тени намерения заглядывать в этот маленький специальный чемоданчик, но она уронила его и всё содержимое само оказалось на виду. Зажигалка, ключи, чистые листы бумаги, красивая авторучка, кажется, билеты на самолёт и документы. Привлёк внимание только раскрывшийся паспорт. Нина взяла в руки новенькую, ещё пахнущую краской, твёрдую книжицу. С фотографии глянул строго и спокойно Василий. Там, где по всем соображениям, несмотря на иностранные надписи, должны быть фамилия, имя, отчество, она прочла: Бэзил Ерохофф…. Нина сразу и не сообразила что к чему. Но когда через секунду поняла, то испугалась чего-то, икнула как-то сдавлено и побледнела. Наспех сложила бумаги в кейс и оставила его так же незакрытым на прежнем месте. Ночью, ворочаясь долго, она не засыпала, всё намереваясь сказать о паспорте мужу. Но тот пробубнил хмельно:   
- Ладно, тебе выдумывать…, - и уснул.

Утром, ещё затемно, Василий вывел за ворота автомобиль. Виктор помогал ему. Тихо рокотал двигатель. Братья о чём-то разговаривали. Нина готовила холодный завтрак. Вышла с узелком во двор, накинув на плечи фуфайку.  
- Вот, на дорожку…

- Стоит ли беспокоиться? Через час буду в аэропорту, ещё минут десять-пятнадцать и в самолёте…. А там….

- Бери, бери, братуха. Час на час не приходится. В дороге свой кусок хлеба всегда сгодится. Всё может случиться…

- Не должно быть. Всё продумано…, - как-то с грустью говорит Василий, но узелок взял, положил на сидение сзади.

- Всего вам хорошего в путь-дорожку…, - говорит Нина, протягивая руку.  
- И вам…

Василий берёт тёплую её ладонь и крепко жмёт

- Счастья вам, - повернулся к Виктору. Братья обнялись.

- Спасибо, и тебе…. Удачи. Назад будешь…, заезжай. Или опять на тридцать лет пропадёшь?

- Ладно, тебе, - Нина дёргает мужа за рукав

- Извиняюсь…

- Да я не в обиде. Замечание по существу…

- Ну, тогда порядок! Заезжай, как управишься за границей.

- Как получится…, - уклончиво отвечает Василий, уже усаживаясь за руль…  
…Через минуту автомобильные огни растаяли в сером утреннем воздухе.  
- Витя, я у него случайно вчера заграничный паспорт видела…

- Ну и что? Он же за границу и поехал….

- Насовсем?

- С чего это ты взяла, дурёха? По делам, должно быть…. Пойдём досыпать. Зябко…. Бр-р. Но к теплу дело подвигается. Чуешь?

…Ожидая заказанный разговор по телефону, Василий сидел, прикрыв веки и почти дремал. В голове было пусто, думать было не о чем. Аэропорт жил своей привычной размеренной суетой. Через десять минут его самолёт. Ещё можно позвонить и просто услышать её голос, дыхание…. Когда его пригласили к телефону, он спокойно взял трубку, прислушался к далёкой, бегущей по проводам, тишине и сказал просто, словно самому себе:  
- Здравствуй.

- Ты…

Он не услышал в её голосе ни вопроса, ни осуждения. Лишь ожидание и нотки облегчения в нём долетали к слуху его сюда за тридевять земель.  
- Ты где…? – она торопилась, словно он уже собирался бросить трубку.  
- В прошлом…, - он сказал это совсем без иронии и сарказма, чётко с грустью, до конца осмысливая сказанное.

- Это ты…? – она запнулась, не отыскав слов, и закончила просто:   
- …Письмо…?

Он ответил бесстрастно и отрывисто:

- Да, - и тут же, совсем не оправдываясь, а скорее утверждая, добавил: - Я, всё-таки, за государство, за справедливое государство. Пусть уж лучше оно ведает распределением в обществе. Иначе окажется прав Руссо, утверждавший, что как ни велико будет достояние общества, при соответствующих возможностях его достаточно быстро растащат… немногие, что и предстоит познать в России в ближайшее время…  
Он замолчал, понимая абсурдность подобного разговора, тем более по телефону из-за тридевять земель. А она, вероятно, хотела спросить о тех деньгах, что были переведены кем-то на детский дом в Славске, но наверно побоялась такого же сухого, короткого: «Да» и такого же пространного оправдания всё того же допотопного француза. И потому спросила просто участливо, по-женски:

- Тебе плохо?

Он по-прежнему коротко ответил:

- Нет.

Чуть погодя теплее добавил:

- Теперь уже нет….

Она молчала, вероятно, не в силах говорить, о чём либо пустом и незначащем, а он просто слушал её дыхание…. Время разговора уходило. Безжалостное, оно никогда не терпит молчания. И они знали об этом. Но для него время сейчас было плохим советчиком, а ей просто-напросто сейчас никакого времени не хватило бы, чтобы выплеснуть крик из груди.  
- Ты вернёшься?

Этот крик теперь только в этих двух словах, неспособных более таиться, летел сквозь толщу расстояния, одолевая его искренностью своею.  
Василий молчал. Время спешило вырвать из него хотя бы это молчание. Оно уходило вечное, мчащееся и беспристрастное, донося, словно эхо, её повторное:  
- Ты верн…ш-ш….

Охрипший гудок врывается в эту вечность и словно останавливает её, преврашая в вязкий, ничего не значащий шорох…

\*\*\*

**Часть 6. Пришёл, сказать**

(В эту часть повествования включены, конечно же, не случайно оказавшиеся у автора, отрывки рукописи, с которых, собственно, и стоило бы начинать книгу. Но так продиктованы условия жанра, по своему закручивалась интрига и так своеобразно сложилась авторская мысль…)

1.

«…Широкий мир земной

Ещё достаточен для дела!»

(«Фауст» Гёте.)

«…Всегда слышу музыку для своих воображаемых картин, только очень плохо и редко знаю, чья она….

Кажется, у стоиков есть наивно упрощённое понимание счастья – удачное течение жизни. Выходит, чтобы чувствовать себя счастливым, достаточно всегда припоминать свои удачи, отодвигая на задний план свои горечи. Попробую и я….

Если своё рождение, буквально после смерти отца, считать удачей, то здесь мне выпало быть самым счастливым, поскольку со мной это случилось даже со значительной задержкой: отец умер на майские праздники, я родился в конце октября. Наверно поэтому мать долгое время в органах социального обеспечения считалась матерью одиночкой и ей полагалась мизерная, в пять советских рублей, пенсия. Отец, насколько я знаю, года с тридцать седьмого и до конца Великой Отечественной служил в армии. Демобилизован в сорок шестом. Подробностей я не знаю…. И виню себя за то, что так и не сумел как-то разузнать больше. В свои тридцать два отец осилил лишь три послевоенных года. Работал в редакции городской газеты и, как говорится, сгорел в редакционной текучке, премудрости которой так вероятно и не одолел с высоты своего крестьянского происхождения. И вероятно надорвался, одолевая эти премудрости. По словам матери в редакции он состоял на секретарской должности и был уважаем.

Если считать удачей то, что мальцом не понимаешь ещё разницы между отцом и отчимом, здесь я счастливейший из сонмища послевоенных пасынков. Тут нужно отбить поклон до земли отчиму. Мать вышла замуж вскоре после смерти отца. Надо было жить…. Или выживать?… Отчима я до самой его кончины звал отцом, папой, батей. Несмотря на сложности наших отношений он, все-таки, сумел, каким-то образом, передать мне много своего, и не только плохого. Он всегда понимал: тот выбор, что делал своим романтическим умишком пащенок, был не в его пользу. Да оно и не могло быть иначе: за мёртвыми всегда остаётся право быть лучшими. Отчиму же я благодарен за то, что он никогда не пытался занимать место моего родного отца. Он просто был отчимом, наверно, поэтому я лет до четырнадцати совершенно не подозревал об этом. И ещё он был мужиком, не гнушающимся никакой работы, только теперь я понимаю, что это значит в нашей социальной среде. Он был драчун и пьяница, но и беззаветный трудяга. Этого у него было не отнять. Моя удача состояла в том, что в отношениях со мной он не старался быть лучше…. Их брак с матерью был вечным одолением. Одолевали многое, воспитывая ещё кроме меня двоих «оглоедов». Одолевали время своё безжалостное. «Перестройку» отчим уже не одолел…. Царство ему небесное. Пришло время их жатвы, вот только урожай не у всех…. Неудача? Может быть и правы стоики….  
Мне бы свои удачи подсчитать…. Накануне сборов в первый класс мне подфартило исключительнейшим образом. Редчайшая удача для хулиганистых натур – отделаться какой-нибудь ампутацией после шалости на железной дороге…. Разве не счастье, что мне удалось отделаться всего лишь левой голенью? В памяти остались грохот паровоза да не нынешнее гостеприимство железнодорожной больницы. «…И мама помнится худющая такая…». Стихи эти придут намного позже, но чувство оттуда, из той весны пятьдесят пятого. Соседская девчонка зимой того года помогала носить портфель. Обещала выйти за меня замуж. «Когда вырастим!…» Вера! Девчонку Верой звали. Лица, хоть убей, не помню. Имя всегда со мною…. Вера – наполовину удача. И ещё – нужно родиться обязательно русским и обязательно счастливым, чтобы ещё в босоногом детстве познать славянское - «жалею». Вера жалела, а счастье понимать это досталось мне. Удача! Потом, надо признаться, жалости было мало…. Особенно к самому себе.  
Насчёт русского, конечно же, загибаю излишне. На восток, за Урал мы давным-давно нерусские, ещё со времён казака Алёнина, даже если предки перебрались к Тихому океану с Донбасса в начале нынешнего века. Русь сегодня – это даже не Москва, не центр, это что-то потаённое внутри нас, о чём мы в спиритуалистическом ознобе не устаём повторять. Послушайте, как мы говорим, пишем в своём пост-социализме. Это не русский язык…. Это жестокий опыт природы, творящей, так или иначе, язык будущего. Так говорили бы земляне лет этак через триста, если бы природа пошла на поводу у москвичей…. Но она мудро прислушивается ко всем на Земле, и что из этого будет – лишь ей и ведомо. Посмотрите, как мы живём. Глядя на улицы моего приморского городка, в лица горожан, найдёшь ли что русское? Разве что рытвины да колдобины на дорогах, да тоску в глубине глаз. Помните: «Что грустишь?». «Не грущу, тоскую!». «Почему так?». «Потому, что русский!» Не скажет – люблю, а говорит – жалею, и не грущу, а тоскую…. Вот это и есть изнутри, от натуры, русское…. Такое в себе сложно носить. И не плохое, кажется, а странно прячешь это куда-то в потёмки души, а оно непослушное прёт иногда оттуда валом, неудержимо, наперекор, назло. Не потому ли «умом не понять»?

Сейчас вот под американцев рядимся. К цивилизации пробиваемся. А Русь сама от Андрея Первозванного до нынешних реформ – великая цивилизация. На вид иногда такая поколоченная и разваливающаяся, а тронь…! Потому и страшна алашни-америкам в смуте, в слабости кажущейся. В начале века уж так ослабла, так развалилась, и изнутри рвали её и снаружи, казалось всё – конец. А она из всего наихудшего самое страшное на себя примерила – социализмом спаслась…. Только своим, не европейским. Абсолютизм, как и во времена великой смуты, на службу себе поставила. Велика, матушка, в движении, небесхитростна в принципах. Сулит многим, мало кому даёт. Зовёт на свои просторы, на земли свои необъятные всех, кто до авантюр, до прожектов охоч, да не даётся до конца никому. Собою остаётся. Для всех, да ничья! Божья…!

Отцы в шестидесятые с «крестьянских жиров» подались в город к морю. Здесь государство тогда возлагало большие надежды на рыбу, на судоходство. К надеждам присовокуплялись капиталовложения. Для рабочего человека это сулило заработок, сносную жизнь. Потому и срывался крестьянин с земли от привычного дела, не сулящего ему никогда ни достатка, ни радости. Вот и не думай, что в этом не было никакой политики…. Так или иначе, но отчим через год уже получил трёхкомнатную квартиру в новой хрущёвке, устроившись на строящуюся нефтебазу в охрану. Это была его удача. Ещё одна удача – детей как-никак к учёбе пристроил. Меня с братом в ремесленное училище, сестру в десятилетку, что после деревни раем кажется. Вот после той ремеслухи и до сего дня считаю себя рабочим, безо всяких там самоуничижений, либо, наоборот, высокомерия. Профсоюзный билет, заполненный в шестьдесят шестом на судоремонтном заводе, храню до сих пор. Это моё начало, исток. Работа с самого начала стала абсолютной формой самовыражения. Она кормит и заставляет быть человеком, одновременно. Мало того, современный труд обязывает понимать других, часто думать за других. И, конечно же, работа это чувство собственной нужности себе, детям своим, состарившимся родителям, окружающим тебя людям. Какими бы ценностями сегодня не интересовалось общество, на какой бы капитализм не заглядывалось, труд и собственное достоинство будут всегда неоспоримы. Это не высокий «штиль», это осознанное чувство рабочей состоятельности, пусть не в каждом рабочем сознательно принятое, но уж бессознательно присутствующее в каждом, это уж точно. Это же чувство, кажется, способствовало и знакомству с моей женою. Вот где(!) я должен снять шляпу и поклониться до земли матушки удаче своей…. От природы люди рождаются либо для труда, либо для безделья. Это уже потом жизнь обернёт это всё понятиями: осознанный труд, сознательное дармоедство…. Моя вторая половинка, кажется, с самого своего начала знала, что будет трудиться и тем пробьётся. Так оно на самом деле и стало…. Её уверенность собственным трудом одолеть нищету как-то передаётся до сих пор и мне. Это всегда помогает жить….  
Подошли уж все сроки своё пройденное оценивать, себе оглянуться из второй половины в ту, скоротечно промелькнувшую, первую. Тем, кому сегодня пятьдесят или чуть больше, чуть меньше, уже есть что взвешивать…. Детство – счастливое, советское, на «развалинах сталинизма», когда догрохатывали отголоски войны на задворках в мальчишеских шалостях с найденной случайно гранатой или горстью патронов…. И ещё детство помнится стриженным «под ноль». Мальчишки младших возрастов, как и новобранцы в армии в обязательном порядке подстригались налысо. Это теперь из сегодняшней маломальской сытости понимаешь, что не от хорошей жизни это было. Стригли детей, потому что всегда была опасность завшиветь, потому что не хватало мыла. Плохое питание и плохая одежда…, но это плохо помнится, всё перевешивает детское обострённое чувство устремлённости к новому, к лучшему…. Потом юность – сплошная «оттепель», великая распутица целины, когда спасают только кирзовые сапоги да родимая фуфаечка. Чего уж греха таить – до сих пор привычная амуниция исправно служит рабочему люду. Оттуда же помню крестьянский дух от маминой фуфайки…. Из тех же лет помнится первый телевизор у зажиточного соседа, к которому половина посёлка ходила ватагой смотреть «голубые огоньки». Ещё помню вагон-клуб, регулярно радующий хорошей кинокартиной. «Я иду, шагаю по Москве», - помните?… Никита Михалков? Тот …свой, простой и понятный. Ещё без усов и… не барин. Вот кому бы признаться в восхищении, если это не поздно сделать после стольких лет…! Хотя, наверно, не стоит этого делать, потому что в таком же восхищении пришлось бы признаваться многим тогдашним из «оттепели» молодым и открытым. Тогда стоило бы отправить и Янковскому свою поэтическую пробу с моим неразделённым чувством любви и признательности…. Сегодня же я говорю только – спасибо, за то, что вы были ребята, что вы, хотя и не все уж, есть до сих пор…. Мы есть ещё! «…и юность не простившаяся с нами…».  
…Голова пухнет от мыслей о нужности своих литературных упражнений. Многому учился в этой жизни официально так сказать, но вот к писательскому ремеслу подступал сам, этак осторожно с оглядкой на каждую новую книжку, побывавшую в моих руках. Стишками всё балуюсь до сих пор, какие-то дневники всё пытаюсь вести, урывками и нерегулярно, что-то обрывочное складываю в целое, а оно не складывается, не поддаётся сознанию, убегает из-под строки. Чертовщина какая-то…. Выдумал вот для себя так называемый фрагментарный метод писать. Я понимаю, это от недостаточности времени, которое я выкраиваю для писанины. С приходом телевидения в искусстве вообще произошёл этакий сдвиг в сторону некоторой фрагментарности восприятия истории, миродвижения. Ведь искусство по существу есть способ видеть мир и способ отображать его, так или иначе, чтобы понимать его или объяснять. Этот способ всегда связан с развитием человеческой мысли, вообще с прогрессом, с появлением новых способов передачи информации, поскольку искусство есть тоже некий объём постигнутого, понятого, которое должно быть каким-то образом охвачено и передано от художника к обществу. Сегодня таким сложным и объёмным «передатчиком» стало телевидение. Оно принесло с собой метод передачи информации кратко, быстро, но объёмно, красочно, ещё говорят, зрелищно. Так, наверно, пишутся сценарии к клипам. Я думаю, это же пришло и в литературу, хотя краткость в ней ценилась всегда. Приходит намеренная отрывочность, недосказанность, жёсткость в отображении того или другого события, действия. Это, несомненно, связано с возросшим уровнем интеллекта вообще. По крайней мере, современное искусство предполагает такой интеллект в обществе. Хотя в отдельности современный человек стал, как бы, безграмотнее, ограниченнее. Очень редко явление видящих мир вообще, как, например, это умели делать древние.

…Телевидение это без сомнения эпоха со своим законом миропостижения. Поэтому и в кино в принципе пришёл ёмкий, яркий, обрывочный, словно мельком подсмотренный, кадр. У Михалкова в «Утомлённых солнцем» какой кадр, когда в машине бьют Котова! Драки-то по существу нет. Просто короткие резкие движения локтей, «монолит» чугунной спины энкэвэдэшника и всё! А в результате – ещё один мощный незабываемый кадр с изуродованным лицом командарма! И в этих моментальных кадрах, в этих фрагментах, в этих слёзах «железного мужика» жизнь поколения, с её взлётами и сомнениями. Эпоха…!  
Может быть потому, что как-то притух соцреализм, а может быть, и вообще в искусстве наметился новый всплеск реализма. Не натурализма, не сюр, не футуризма, а именно реализма. И именно с подачей фрагментарности, выпуклости, обрывочности, с намёками, конечно же, на романтику.  
В общественной жизни пришло преобладание этакого либерально-демократического монархизма. В частной жизни возобладал индивидуализм, что тоже есть моно…. Мир стал теснее, более открытым, понятным, но люди в отдельности стали более обособленны, более оторваны друг от друга. Отсюда эта необходимость знать и понимать быстрее и больше. Это достигается фрагментарностью восприятия, по другому просто не объемлешь сегодняшний воз информации и знания. В этом и своё достоинство, и своя ущербность. Личность в таких условиях более усреднена, но мир в целом более наделён движением и потенцией. Природу интересует более сохранение вида, но не индивидуальности.…

 Но то природа, а индивид в ней, так или иначе, сам старается проявиться. Вот и я нет-нет посылаю что-то в редакции, как в чужую жизнь, с надеждой, авось кто и прочтёт, заинтересуется. Так вот всю жизнь никому и неинтересен…. Без ответа все попытки. Хотя вру, конечно, в местной газете нет-нет замечали, печатали, да я сам особой активности не проявлял. Не лез на глаза, всё побаивался, а вдруг заметят да нагрузят писать что-либо основательное. А я-то ленив и не собран, не сумею, оплошаю, а не хочется на людях плохо выглядеть…. Так вот, и побаиваюсь всю жизнь. Что ж это, скажут, не в своё дело сунулся? Крутил бы уж лучше свои болты-гайки, слесарюга…. Вот и кручу, но в тетрадочку изредка заглядываю. Вона сколь накопилось! На книжку должно быть хватит….

Случайно записал на магнитофонную кассету кое-что из нескладных своих «верлибров». Домашние мои слушают, хвалят. Но свои это ещё не слушатель…. А жилка тщеславия нет-нет да подёрнет – дай другим послушать. Однажды осмелился, пошёл на радио. Благо рядом с домом, далеко не надо ходить. Радио-то нынче не одно в городе. Чешут себе языки, где впустую, а где с пользой. Живут рекламою, тоже дело. Песни поют днями напролёт. Всё больше, как мы говорили, «буги-вуги», но и хорошие есть, наши русские…. Люблю, грешным делом, песню русскую. Пусть и современная будет, но чтобы по-русски звучала. А то и слова вроде русские, а поют её на какой-то иноземный манер. А то ещё, хлеще того, весь ансамбль, всю одежду, все движения так уж в русское обряжают, что, в конце концов, и не похоже всё это на наше. Так уж удаль да размах русский вывернут, что невольно думаешь: враки всё это у вас, ребята…. Русская душа удалая, размашиста, но скромница, поискать надо. Кричит в песне, но не горланит, даже и спьяну. Смеётся залихватски, но не ржёт по чём зря. Плачет, так уж искренне, не кривляется, а то всё больше молчит. В горе-то, что зря голосить ни к месту…. Хорошо бы на радио знали об этом. Вот думаю, отнесу своё, что читал в микрофон, пусть послушают. Может быть и я сгожусь на что-либо… русское.

На радиостанции, как и везде в учреждениях, длинный коридор и двери по обе стороны. Ух, думаю, и здесь бюрократы…. Ишь, окабинетились, не знаешь в какую дверь и постучать – из какой выпроводят. Одна дверь открыта. Народу – пруд пруди. Все чем-то заняты…. Какой леший тебя сюда занёс, думаю. Тоже мне, Левитан выискался….

- Что вы хотите?

Это мне…. Гляди-ка, заметила глазастая такая, должно быть не шибко занята.  
- Да вот, - говорю, - Стихи принёс….

Показываю кассету. А самому стыдно: «Какие там стихи, так морока одна, нескладуха горькая…».

-Какие стихи?

-Ну, не совсем складные, - говорю, - Но, слушать можно….  
-Подождите, пожалуйста, на улице. Я скажу о вас начальству, - говорит глазастая и идет по коридору к другой двери, оставив меня в напряжении.  
Ну, на улице, значит на улице…. Пойду, дух переведу, а то разволновался, словно на школьных экзаменах. Помнится, в университет после школы поступал, волнение меньше было. Может быть, потому и не поступил…? Стою на крылечке, дышу теплом последних августовских деньков. Минут через пять выходят пару мужиков. Один такой опрятный, серьёзный, молодой, с большой плешью ото лба до макушки. «Должно умный шибко», - думаю. Другой – невидный такой, с рыжеватым усом, глаза с хитринкой, табачищем за версту несёт от него, и рука здоровенная такая, когда здоровается. Вот после первого знакомства у первого лысину запоминаешь, а у второго руку….

- Что у вас на кассете, - спрашивает лысый.

-Стихи, - говорю, - Собственного пошиба…

-На какую тему? – серьёзно так, в глазах искорка сомнения.  
Во, спросил…! Чего бы попроще…. Оказывается тут ещё и тема нужна. А мне, грешным делом, никогда и в голову не приходило делить свои опыты по тематике.  
-Лирика, - говорю ему и чтобы попонятней было, этак наступательно вопрошаю: - Что же на радио вообще не интересуются лирикой?  
- Нет, почему же …

Мужики закуривают, и что-то ещё спрашивают у меня, но я уже ничего не соображаю. «Возьмут кассету, будут слушать, посмеются на том и кончится вся канитель. Что я делаю? Зачем тебе это…?». Я что-то отвечаю на их вопросы, делаю вид, что спокоен и уверен в себе, но на самом деле готов сбежать тут же или провалиться сквозь землю.  
-Оставьте кассету и свой телефон, - просит рыжеусый.  
Это всё, что помнилось потом недели две-три. А в голове мысли роем: «Брось ты это пустое занятие. Людям совсем не до тебя, не до твоих фантазий и литературных опытов. Мало ли непрофессионализма и хлестаковщины вокруг? Так ещё и тебя угораздило…. Что ты, собственно, умеешь? Тебе уже пятьдесят, а что ты сделал? В искусство идут с багажом или с талантом…. А кто это утверждает? Капризы и непредсказуемость судеб в искусстве общеизвестны. Есть огромный багаж и тут же полное публичное невосприятие, и, наоборот, одна строка, но какая…!».

 Размышляю над обидами, что одолевают авторов, получающих из редакции не всегда лестные отзывы о своих литературных опытах. И понимаю какую-то нелепость в отношениях между автором и тем, кто отзывается на рукопись. В редакциях, я думаю, отчасти призвано, отчасти намерено защищают интересы цеха, корпорации. Иногда это действительно правомочно принимает форму защиты языка, литературы, искусства. Вот только сомнительно положение защитников. Отваживающихся браться за оценку, присылаемых в редакцию, рукописей по-доброму нужно понимать. Ведь, я полагаю, пишут не только подстёгиваемые тщеславием или безудержными фантазиями насчёт собственной талантливости и значимости. Да и при многообразии уровней получаемых писем, вероятно, очень сложно оставаться незыблемым в своих принципах. Истинно вникающий в присылаемую «тарабарщину», надо полагать, всегда сам в сомнении. В противном случае нужно иметь безукоризненный талант такта и этакой округлённости, чтобы ненароком не зацепить и не поранить чем-то острым в своей индивидуальности того, кто хоть на миг, но оголяется в доверчивости, обращаясь в редакцию. В этом автор и рецензент совершенно не равны. Первый беззащитен, а второй знает об этом. И ещё не известно, что более делает человека слабым и ошибающимся. В недавнем разговоре на телевидении один из уважаемых литераторов, как мне показалось, высокопарно сказал о том, что пишет ради людей. Но, чуть подумав, я согласился с ним. Тщеславный изначальный позыв в человеке, в конце концов, выливается в простейшее чистое желание быть нужным себе, своим близким, и, конечно же, людям вообще. В редакцию человек пишет не ради оценки того, что он постиг или познал. Думаю, человек, даже слегка задумывающийся над жизнью, понимает в целом свои способности, свой уровень знания и умения. Поэтому авторы в основном в обращениях ищут свою нужность, свою востребованность. Так устроены люди. Из этого субъективного чувства, в конце концов, складывается людская общность, взаимопонимание, или более того, если хотите, братство…. Быть нужным кому-то, ещё лучше, многим – это в человеке от природы. Именно это поднимает многих к подвигу, на самоотверженность, на литературные потуги, поскольку в России, и не только, эта область деятельности всегда была служением на благо многих. Автор, посылающий свой опус в редакцию, ждёт большего, чем исправление школьных ошибок. Так или иначе, он и сам знает или, по крайней мере, догадывается об этих ошибках. Автору необходимо понимание его сомнений, подсказка места его нужности и полезности в обществе. И вот здесь он, как младенец, наивен и беззащитен. Он, нашедший, но сомневающийся, ищет поддержку такого же сомневающегося. Разница между ними только в количестве найденного. Это может быть, как у Толстого громадная «Война и мир», и как у Гаршина маленькая «Лягушка-путешественница». Но сомневаются и ищут до последнего и тот, и другой, сваливаясь, в конце концов, в горячке один бродягой на железнодорожном вокзале, а другой в психушке. Но и тот и другой равно дороги и нужны людям до сих пор. И кто отважится ныне оценивать их промахи, ошибки, величину и значимость?  
  
…Скажу чуть о своём увлечении литературой. Чтобы что-то состоялось у автора с этой «капризной дамой» нужно, чтобы она стала ему… женой. И в этом всё….

Я же в последнее время всё больше и больше сравниваю её с той, кого в обыденности зовут «любовницей». Это та, что, несомненно, красивей жены. Отношения с ней захватывающе страстны. Но в ней видят меньше, чем в жене и потому оставляют от себя ей меньше, а вот брать у неё всегда пытаются больше, пренебрегая элементарной бережливостью. Может быть, её сильнее любят, но тем горше тогда её несостоявшаяся цельность. Она не жена…. Она не половинка в целом…. Она просто частица, сама по себе. К ней приходят с годами всё реже и реже. Угрызения совести, неудовлетворённость, незавершённость отношений всё больше и больше удаляют эту частицу, а если и перевешивают случайно в её пользу, то редко когда из этого что-либо цельное получается. Время ушло…. Поздний уход к любовнице грозит драмой, как обычно, для всего треугольника. И даже она не выигрывает, у неё тоже не осталось времени расцвести…. Хотя, может быть, я здесь ошибаюсь самую малость. Ведь поздние осенние хризантемы тоже цветы, и мы ими восторгаемся не меньше, чем цветами весны и лета….  
  
Один знакомый атлет, силач, (вот такие «булки» там, где у всех просто плечи!) увидел, как я делаю утром зарядку:

- Слушай, ты этим давно занимаешься?

-Давно.  
-И регулярно?

-Ну…, по мере возможности.

-Да, ты, просто гигант…!

И потом, присмотревшись к моим упражнениям с гирькой, просто заинтересованно спросил:

-Как, как ты вот это… делаешь?

И меня сразила не это его наивное детское желание поучиться у …меня. Я поразился тому, что он не стал, как обычно в этих случаях, в менторскую позу и этак свысока не плюнул сквозь зубы: «дохляк, неуч, бездарь…»(или как там в этих случаях брезгливо говорят о «непрофессионализме»?). И ещё, не кинулся поучать. Он каким-то образом понимал, что я другой. Что он может своё, а вот то, что умеет другой надо уважать. Я не знаю, где он этому научился. Подумалось: смотри-ка груда мышц, в общем-то…, а какой умница! Он сразу увидел, что я никогда не смогу делать то, что по силам ему, а сам он не сможет походить на меня. Мало того, он показал своим видом, что позавидовал мне: для меня зарядка – естественное состояние, удовольствие, а его профессиональные занятия культуризмом – насилия над собой, излишества.

…И вот долгожданный телефонный звонок:

- Мы будем записывать вас на радио…

Звонит тот, рыжеусый, с большими кулаками. То, что зовёт меня по отчеству, почему-то неприятно. «Держит дистанцию…. Ну, ну!». Кто написал сценарий последующих событий? Этот прокуренный или лысый, строгий и грамотный? А может быть я сам и сценарист? Ведь я сам пришёл на радио, сам предложил свою кассету. Разве мне не хотелось быть услышанным? Значит, я предвидел этот телефонный звонок? Нервничанье, изматывающие сомнения и тут же почти маниакальное предвидение событий: «Их заинтересует запись. Не может не заинтересовать…!» И вот, хлоп! Сработало!  
Иду и записываюсь на радио. Рыжеусый задаёт вопросы, просит почитать. Я с пересохшим горлом что-то читаю, что-то говорю, а потом, задыхаясь от волнения, спустя неделю слушаю свой голос уже в передаче по радио. Этот большерукий увидел или услышал в моей кассетке что-то важное, о котором знаю только я…. Он сам увидел? Тогда нужно признать его большой талант слушать. Или всё-таки с моей подачи? Тогда получается, что вовсе не люди заметили и востребовали тебя, твои способности, а ты сам подсунул им нечто, выдавая это за способности или талант? Надо бы разобраться во всём этом, да куда там…. Эти два таланта с радио уже подталкивают: «Если уж решился, давай продолжай, говори…». Оказывается, тот, что с прокуренным усом, на радио режиссёр, а по «мотылям» в рукавах и не скажешь. Интересно, какую роль он отвёл мне в своём сценарии? А может быть это я случайно выбрал его на роль своего талантливого слушателя? Нужно было, чтобы кто-то поверил в мои возможности, и вот я нахожу его? Сам? Или же наоборот он искал меня? Тогда, как же талант, востребованность людьми? Получается, я сам навязываюсь? Чертовщина какая-то…. Тут же думаю, люди делом заняты, а ты суёшься со своим….

По нынешним временам кормиться писательством, не шибко-то разживёшься. Но, всё равно кучкуется народ у редакций. Кто случая своего ждёт, кто рублишко так или иначе, выколачивает словцом, а кто и на славу замахивается. Надумал и я в книжку сложить записи свои. Показать бы кому-то надо…. Про ошибки да огрехи, понятно, и сам догадываюсь. Да не о том хочу услышать от прочитавшего….

Говорят, сейчас без всяких цензур любую книжку можно напечатать, были бы деньги. Значит книгоделание – обычное производство. Есть идея – ищи деньги и производи. Под стоящую идею деньги завсегда найдутся. Вот только кто определит, что и моя книжка стоящая? Вот где заковыка…. Самому не найти такого, как нынче говорят, спонсора. Не в той социальной нише я «вытворяю». Окружение не то. В моём окружении хлеб и тот не всегда в достатке. Не до книжек…. Да и самого большое сомнение одолевает, что пишу что-то стоящее. Хотя думается много и настойчиво. Но одно дело думать о людях и про людей, а другое дело сказать это вслух. Скольких обидишь? А я этого менее всего хотел бы. И не потому, что боюсь каких-то действий от обиженных ненароком…. Просто боюсь быть непонятым. А с другой стороны зло берёт: галиматью в книжках понимают, а по человечески скажешь, не понимают. Просто, чисто скажешь – заулюлюкают, зашикают, и это ещё хорошо. Хуже если вообще не дадут сказать или сделают вид, что не услышали. А сложно скажешь – это все равно, что промолчишь. Молчание ведь умеют услышать один-два не более….

Как это делалось в советское время, примерно догадываюсь. В общественных отношениях преобладали всевозможные очереди, разнарядки, списки и т.п. Думаю, очередь была и на публикацию книжки. Признаёшь правила, сходишься с необходимыми людьми, конечно же, что-то пишешь, предлагаешь, пока тебя не поставят в очередь. И упорно ждёшь, поплёвывая на весь белый свет или, наоборот, нервничая до икоты, до срыва, наблюдая, как эту очередь успешно обходят другим путём…. Не потому ли народ сбивается по интересам в группы, клубы, корпорации, союзы? Ведь это всё очереди…? И надо признаться, что для многих это быть может единственная и верная возможность состояться. Но я о другом…. Как и любое производство, (а книгоделание это не только творчество, даже в большей степени, увы, не творчество…), издание книг востребует в обществе определённое количество литераторов, как впрочем, и плотников или архитекторов, уже только потому, что полиграфические возможности этого производства не безразмерны. Это раз. Но главное, это то, какое количество изданного будет востребовано читателем. Этот главный критерий, как бы ни был он субъективным, вполне просчитывается в книготорговле. Полагаю, что при рыночных отношениях отбор талантов в большей мере осуществляется рынком. Издателю должно быть небезразлично, берут ли его книги. Поэтому издатель знает спрос. Если же он только диктует или навязывает спрос, то не стоит, вероятно, вообще говорить о рынке. Взывание к союзам в любом деле снизу – тоска по этакому уравнительному механизму, позволяющему в порядке очереди проявиться-таки любому, соблюдающему правила очерёдности. А сверху это тоска по идеологической вожже, за которую, вероятно приятно и доходно подёргивать…. Я понимаю, истинно талантливому так или иначе даётся место и в союзе, но как это уродует и обламывает…. Единственное, для чего важны союзы, так это для защиты литераторов, как носителей свободы слова от преследований. В остальном писательский труд должен быть востребован рынком, если же он действительно состоится. Обиженных будет всегда предостаточно. Но обижаться можно будет на абстракции рынка, а не на конкретный союз писателей или ещё какое либо объединение. Это более естественный отбор дарований. Другого, более эффективного и справедливого, время людям не предоставило.  
…На производстве зачастую по-доброму издеваются над начинающими трудовой путь, заставляя делать бессмысленную, либо тяжёлую работу, например, точить напильником корабельный якорь. Что-то подобное произошло со мною после выхода моей первой книжонки. Случайно ли это, либо намеренная выходка редактора сыграла своё дело, не знаю. Но моё ученическое рвение уподоблено заточке якоря. Целых две(!) фотографии на малюсенькую тетрадочку чего стоят? А шрифт? Меня заставили «пилить якорь» и посмеиваются вокруг. А я тупо соображаю, что же происходит. В юности это «издевательство» как-то оправдано, а вот в пятьдесят…. Если это осознанная выходка редактора, то это жестокая шутка, если же он делал это, не ведая за собой греха, то пожалеть нужно не меня, а его. И мне остаётся лишь понимать, что и в писательском цеху достаточно ограниченности…. В юности я «не пилил якорь», меня гоняли в склад с ведром за… компрессией. Но по ухмылкам и поведению старших работяг я интуитивно сообразил о подвохе. Взял ведро, вышел из мастерских и вернулся… минут через двадцать.  
- Ну…? – нетерпеливо встретили меня шутники.

Я тогда сказал, что в открытую посуду ученикам компрессию на складе не дают и, что отпускают только под роспись мастерам и шестиразрядникам. Самого слова компрессия я тогда не знал…. Но что удивительно – ответ сработал, надо мной больше не подшучивали. Я играл всерьёз, но это было принято за нормальное чувство юмора и всё встало на свои места. Со временем всё действительно устоялось и чувство юмора в том числе. Думаю, и сегодня мне стоит играть всерьёз и до конца. И всё станет по местам. Так подсказывает моя интуиция….

…Отправил кое-что в редакцию, где таких доморощенных писателей, как я, за небольшие деньги печатают. Показалось, конечно же, подозрительным то, что так запросто тяп-ляп и готова книжонка. А потом, месяца два спустя, получив эту книжку, я понял причину своего беспокойства. Интуиция и здесь меня не обманывает…. Такую книжку сейчас можно сделать и дома на компьютере, и эту же сотню экземпляров выдать с домашнего принтера. Ну да шут с ней, с этой книжкой…. Обиды ни на кого не держу. Есть только неудовлетворённость и стыд за недоработанные свои мысли и рифмы, отправленные кому-то куда-то на «доработку»…. Я понял, что писать книгу нужно от начала и до конца самому, либо влезать в систему и ждать очереди, удобного случая, помощи и т.п. А вот этого я никогда не умел делать, и потому решил просто работать на компьютер, как можно жёстче, чище и увереннее, а там, куда кривая вывезет. Суждено этой прозе быть замеченной, значит, она уйдёт к читателю, а нет, значит, так тому и быть….

Всё подыскиваю «место в деревне». Чтобы маленький домик, где нибудь краем на размашистой луговине, где пожухлая трава, как перья неведомых рыжих птиц. И чтобы речка недалеко, прохладная и говорливая в тенистых берегах, с замшелыми каменными старицами. Потому вероятно снится покойный давно дед Федот с проплешистой стриженой головой, в молоке двухнедельной бороды, на своей пасеке в глухой балке и почему-то за частым неуместным в лесу забором. Я пристально всматриваюсь в щели, но так и не узнаю своего деда. Это на самом деле чужой и незнакомый старик в кругу таких же незнакомых людей. Я плохо вижу их из-за забора. Это почти как в жизни…. На самом деле я плохо знал старика. Бывал у него лишь несколько раз мальчишкою, стеснялся и побаивался строгой, с трясущимися руками бабки Евдокии, вскоре покинувшей свет наш суетный. О ней у меня в памяти совсем пусто. Только признаюсь теперь в том, что хорошо помню старика мёртвым. Телеграмму о его смерти посылал кто-то из его более близких родственников. Что-то надоумило их позвать на похороны и дальнего внука…. Кто-то из них знал о любви старика ко всем своим детям….  
…В какую бескрайнюю и бесконечную пустыню кричишь? А кто заставляет? Помалкивай себе, проживёшь дольше, говорят. Ой, ли?… Жизнь так устроена, что её ни на что не хватит – ни на крик, ни на молчание. Но для чего-то ты пришёл? Что-то сделать? Или сказать? Красиво звучит: пришёл – сказать…. Многое, чего хотелось бы, всю жизнь сознательно и упорно уменьшаешь, ограничиваешь, и… помалкиваешь. Это должно быть в природе человека, если, конечно, себя считать именно человеком…

…Бьюсь над названием. «Окраина» - хорошо и одновременно совсем плохо. Плохо, что всю жизнь считаю себя человеком с окраины. У кого-то из поэтов есть неплохие строки: «…окраина, ты городом не стала, и навсегда утрачено село…». Грустно! Но, правда…. Вечная раздвоенность. На пути к благу от чего-то благого уходишь, теряешь что-то такое…, чего жаль до спазма в горле, что неудержимо растрачивается и никогда, никогда не возродится. Безысходно…  
…Жизнь у человека состоит из событий, случаев, происшествий, драм и фарса, из поступков и устремлений, словом из всего этого многообразия, как из отдельных узоров и чёрточек состоит ковёр или картина, как из историй и рассказов складывается книга. И так же, как картина или книга, жизнь может быть цельной, объёмной, насыщенной красками, умело собранной из рисунков и набросков в единое полотно или повествование. Отличие состоит лишь в том, что жизнь… всегда – недописанная книга, незавершённое полотно…».

2.

…Если говорить о судьбе, как это принято в высоком «штиле», то совсем и непричастна она ко всем приключениям моего героя. Мы уже давно сами делаем свои судьбы такими, как нам этого хотелось бы, и о давешнем понятии злосчастности и неотвратимости времени, столь скупо отпущенного нам природою, говорить, совершенно не стоит. И виновна ли эта самая «судьбина» в жизни Дмитрия Крачковского, судить тебе, дорогой мой читатель. А мне лишь остаётся заинтриговать тебя и краснеть пред тобою за неточно поведанную правду или за неуемность своей фантазии.  
Итак.  
- …Постой-ка, Димочка!

Уже у самого трапа на катер Крачковского окликнули. Димка, не оборачиваясь, узнал по голосу Щеглова, прозванного в бригаде «Птахой». Только он мог ехидно с гнусавиной цедить в зубах слова. И уже встретившись взглядом с приторно поблескивающими глазами Птахи, Димка подумал: «Будут бить!». За спиной у Щеглова агрессивно алела сингапурская футболка, готовая вот-вот лопнуть на бугристых плечах хозяина….  
- Надо поговорить, Димочка…, - Птаха явно волнуется, вокруг полно народу. – Отойдём….

«Только бы не здорово колотили…», - Димка успевает мысленно заботиться о своей голове. - «Бить будут недолго, им ещё на катер нужно успеть…. Этот вон… кулачищи наел…», - Он покосился на клыкастого льва во всю алую грудь. - «Кажется из второй бригады, бес. Этот пару раз приложится, не устоишь…». Отошли чуть в сторону по причалу, завернув за штабель леса.  
- Хватит, пришли…, - Птаха щерится в гнусной ухмылке.   
Димка долго соображает, потому, тут же только чувствует, что голова его словно отделяется ото всего остального. «Тот бес… в футболке сбоку…», - мысль ещё живёт отдельно в Димкиной голове, и он ещё интуитивно отскакивает в сторону, цепляясь руками за смолистые торцы брёвен. Второй удар был такой же быстрый и неощутимый. Лишь как-то притух свет слева, словно чем-то розовым завесили левый глаз. «Должно быть, рассёк бровь…. Только бы не упасть…».

- Это тебе от «бугра» нашего, - из-за алой львиной морды появился на миг Птаха.  
Наверно что-то нужно было отвечать, но у Димки на это уже не было сил. «Слабак ты, Крачковский…», - неуклюже ворочалось в расшибленном лбу. За штабелем подал сигнал катер.

- Хорош с него. Пошли, опоздаем….

Алая футболка ушла в сторону, а земля вдруг побежала из-под ног, и Димка осел на бетон причала, прижавшись спиной к шершавому штабелю. До чёртиков больно постукивало в голове. Долго не приходило ощущение тела, и это было весьма противно. «Слабак…», - всё ещё держалось в извилинах. Димка сплюнул, поднял голову, пытаясь зацепиться глазами за что-либо, дающее возможность анализировать ситуацию. Но вокруг до самого неба были только брёвна, а вверху наискось краем солнце. От брёвен струилось тихое душистое тепло.

- «За что это они меня…? От «бугра», это значит от Стаса…», - мысли понемногу возвращались в нормальное своё течение и этот вопрос был скорее своеобразной разминкой, чем задачей, совершенно не требующей ответа. - «Я влез куда-то, где и без меня очевидно тесно…».   
Димка прикрыл глаза, щурясь на тёплый предвечерний луч, скользящий по смолистой коре. Ему с самого начала чертовски не везло в этом треклятом порту. Два года назад приехал сюда в эту тьму-таракань из большого приличного города с кучей надежд, правда, с пустым армейским чемоданишком, и вот, нате вам, подходящей работы нет…. Тю-тю! В принципе, работы вообще здесь немеряно, но Димка искал «подходящую» и надеялся. Но целый месяц отираться ночами на железнодорожном вокзале никаких надежд не хватит, потреплешь все о холодные вокзальные обшарпанные стулья. Вкалывать, как это здесь делает подавляющее население, Крачковскому, ох как, не хотелось. Ради столь пикантного удовольствия не стоило покидать чертоги своего родимого «почти столичного» города, где остались предки и корни…. «Пахать» можно было бы и дома на сборочном, как это было до армии. Но, «шабаш», Крачковский не так уж обижен природой, этой самой… матерью, и имеет виды на более походящее место под этим… солнцем. Этим местом, в конце концов, стала бригада докеров в морском порту. Толкаясь в отделе кадров порта, Димка рассчитывал на многое. Во первых, у него за плечами армия, что вытащила его аж на Камчатку, во вторых, доармейская ещё квалификация автосборщика и ещё один солидный аргумент – водительское удостоверение профессионала. Было ещё в его послужном списке мрачное веское пятнышко: три последних месяца армейской службы помнились плохо. Так устроена его память – о плохом не помнит. Прошли эти месяцы нервно, в пустом необъяснимом напряжении, «на взводе», как говорится. Когда до дембеля оставалось всего ничего, их взвод укомплектовали по первому классу специалистами всех мастей и… полный вперёд на Чечню. В боевых действиях подфартило не участвовать, но вполне хватило и обычной нервотрёпки в патрулировании, при сопровождении грузов, в охране объектов. Его спасла «баранка», около которой всегда и тепло, и не так здорово дует…. Правда, сейчас у каждого второго права шофёрские, но у него-то опыт испытателя. Хотя, чего греха таить, испытатель из него липовый. Ну, прошёл пару раз по «стиральной доске» с инструктором. В армии, правда, почти год за «баранкой», но много ли на Камчатке разгуляешься на тягаче? Пару раз за всю службу выходили на учения, да с месяц подменял ефрейтора на командирском уазике. У солдатика приключился аппендикс, а в части не нашли другого шоферюгу, чтобы возить полковника. Но если человеку доводилось кроме всего этого водить ущё и отцовскую «жигу» в городе с почти «столичным» населением, ему ничего не стоит справиться с какой-то каракатицей в порту на восьми колёсах. Она же в принципе никогда не перевернётся. С самого начала Димка рассчитывал попасть на этот контейнеровоз. В отделе кадров действительно все его величайшие способности были взяты во внимание привередливым инспектором и в конце концов Крачковский оказался… в ученической бригаде докеров, а по-простому грузчиков. «Каждому овощу своё время…», - философски размышлял тогда Димка. - «Поработаем, посмотрим….. Заработки у этих самых докеров, говорят, неплохие. Заколочу энную сумму и… подамся домой». Правда, мысль о возвращении домой ему и тогда не совсем нравилась. Чертовски обидно возвращаться «блудным сыном», да и не солидно после жарких перепалок с родителем, который категорически не советовал отрываться от дома. А где он у человека этот дом? Видел он как эти дома – в пыль, а народ вразброд…. Может быть потому и нервность какая-то лишняя закралась в отношения с родителями. Рванул сломя голову на край света. Здесь вот у самого океана, на краю света можно сказать, тоже люди живут…

Вспоминалось, как год назад здесь вот почти на этом же месте, так же среди штабелей леса он целовался со Светкой. Был выходной день. Всей бригадой выехали на здешний пляж за мыском. «Старики» с семьями, молодёжь, по давно заведённому обычаю, к вяленой корюшке с пивом. Димка был новичком в бригаде, но держался молодцом с первого дня и как-то без особых усилий входил в коллектив. И в тот раз с первого взгляда прилип к напомаженной девице с таким чистым и прозрачным именем. Весь день он неотступно преследовал её, замечая вслед неодобрительные взгляды Петра Мефодьича Рыжова, оказавшегося вдруг не только товарищем по бригаде, но и ещё ревнивым Светкиным папашей.

- Мефодьич, девку небось взаперти держишь? – шутил тогда как-то ехидно бригадир, подмигивая Димке.

А Светка без удержу кривлялась и хохотала, что почти нравилось Крачковскому, ни бельмеса не понимавшему тогда в этих делах. Весь день жарились на пляже, может быть ещё и потому что катер ходит сюда три раза за день. Хочешь ни хочешь – загорай. Тогда до прихода катера ещё было время, и отупевшая толпа отдыхающих растянулась цепочкой в тени хилого забора, отделяющего грузовой район от допотопного пассажирского причала. Димка через дыру в заборе потащил совсем не упирающуюся Светку сюда в брёвна, и в духоте, в смоляном дурмане, тиская неумело длиннющими руками, целовал её губы, влажные с запахом моря и вяленой рыбы. Она повторяла тогда хрипло, затаивая дыхание:

- Дурачок ты, Дима…. Пацан…, - а сама закрывала глаза под его жадными мальчишескими поцелуями…

…Катер плавно разворачивается у самого причала и, гукнув с хрипотцой, резво отходит, оставляя за кормой серую пену бурунов. Рыжов спустился в душное нутро «трамвая», где было накурено и дурно припахивало соляркой. Рядом за переборкой жарко ухал, набирая обороты, дизель. Обычно Мефодьич не спускался в пассажирский салон катера, зная здешний «содом» и послерабочие нравы. Тут было шумно, гвалт перекрывал даже звуки работающей машины. Те пятнадцать минут, что уходили на путь катера к другому берегу залива,«завсегдатаи» играли в карты на деньги. «Гуляет молодёжь…. Оболтусы!». Сощурившись в папиросном дыму, Рыжов отыскал глазами бригадира.

- Стас, к тебе Мефодьич разговор имеет, - «Птаха» первым из играющих определил намерения Рыжова. – На воздух просит…

Бригадир глянул снизу, махнул рукой.

- Момент, старик! Подожди наверху!

Мефодьич, чертыхаясь про себя, поспешил на воздух. «Тьфу, соплячьё, накурили! Что в пивной…».

Наверху же прямо в грудь бил приятный ветерок, глаз радовался простирающейся во все стороны водной глади, приближающемуся зелёной тенью берегу, журчащей по борту тёплой, позолоченной вечерним солнцем, волне.  
Стас поднялся следом.

- Ну, что там ещё стряслось, старик?

Рыжову не нравилось, когда этот немолоденький уж стиляга называл его стариком. Хотелось ответить грубо, матерком, но Мефодьич лишь поднял взгляд прямо в глаза бригадиру и заговорил сдержано, намерено вежливо:  
- Слушай, Станислав Фёдорович, скажи-ка почему на катере нет Димки Крачковского? А «Птаха», Щеглов то есть, со своим приятелем-держимордой в самый аккурат на гудок подоспели? Я может быть мало смыслю в твоей методе работать, но тут всё яснее ясного. По твоей указке Щеглов бил парня, скажи? – Мефодьич был мрачен и как никогда серьёзен.

Стас не узнавал своего подчинённого, как звали в бригаде, «деда».  
- Послушай, старик, что ты несёшь? Крачковского нет на катере, эти двое… чуть не опоздали, а я-то здесь при чём. Давай прекратим это…, - бригадир сделал движение , чтобы уйти опять в душное прокуренное нутро катера.  
- Нет, ты постой, Хопчук! Ты своей образованностью верти в другом месте. Видел я только что вашу образованность. Внизу накурено, наплёвано, срамота! А карты? Это твоя метода работать? – Рыжов криво усмехнулся.  
- Ты что, старик, - Стас сузил глаза, вплотную придвинулся и зашипел сквозь стиснутые зубы: - Учить меня вздумал? Я учителей не люблю. А Димку ищи у \*\*\*\*ей здешних. Или ты думал, что он только твою дочку…?   
Тут же в мгновение изменил выражение лица, равзвязно похлопал Рыжова по плечу:  
- Всё, «дед»! Я тебе всё прощаю. Живи! – повернувшись, загремел каблуками вниз по трапу.

«Сопляк! Будь моя воля, я бы тебе накостылял…. А может быть и правда я чего не допонимаю и ошибся?» - Мефодьич оглянулся на оставшийся за кормой берег, на огромные штабеля леса, на ажурную вязь крановых стрел.  
«…Не думал, что всё так обернётся. Ходил себе, пусть и не в передовиках, но и не в последних работниках. Своё, как говорится, имел: зарплата, премия кое-какой почёт к праздникам, квартиру в очередь когда-то за двенадцать лет с супругой выстояли. У других и того не выходит…. Здоровьем не обижен, жена при месте, от работы тоже не бегает. До пенсии недалеко. Старший сын пристроен, женился, работает. Светка, вот-вот замуж выскочит…. Всё кажется в порядке, да, вот, разладилось что-то в народе. Эк, времечко вывернулось! Делёж вселенский устроили…, всяк под себя гребёт. Только вот не с каждого места удобно под себя-то. Кто поближе к общенародному достоянию, тому и попроще, сподручнее. Да и правила дележа под него же спроворены: своя рука – владыка! Не под совестливого те правила. Кто смел, тот и съел…. Постой, постой! Поговорка-то…, эвон, с каких времён?! Знать не только сегодня колесом дело? Всегда так было! Эх, дела…! Снизу народ к открытому разделу не способен, украдкой завсегда прихватывает, когда на сносную жизнь не хватает. За позор того не считает, но и в доблести не записывает. Так, словно своё добирает грешным делом…. Глупо и гнусно, конечно, да так уж сложилось, никуда не денешься. Молодёжь, кто понастырней да понаглей, пошла в открытый передел. Работу, производство запустили, делят всё, что до них наработано, где силой, где угрозой, где преступлением. Плохо! Поглядывая на доходы начальства, и внизу тянуть безбожнее стали. Вот и меня бес попутал связаться с Хопчуком. Думал, разок-другой сшибём левый рублишко, на том и остепенимся. А оно, вишь, не так просто…. Димка, парнишка из совестливых, приметил да не смолчал. Такому трудно жить будет, ежели сам в какую свару не полезет. А левый рупь всё равно боком выйдет, как разделят всё. Кому больше достанется, тот охранять добро наладится…. Вот тогда-то мелочь пузатую, вроде меня да Хопчука, и поприжмут. Мы-то свой гнусный промысел в закон не выправим. Тех брёвен, что бугру кто-то помогает сбывать по дешёвке, на закон не хватит. Их только-только на нары за колючкой …. Уходить из бригады надо!».  
Мефодьич не испугался, он наконец-то в логике своих размышлений увидел выход…  
  
 «…Пойду к Серёге в общагу. С разбитой харей недолго и менты заметут. У Ерохина умоюсь, а там видно будет…». Димка поднялся. Отсюда из-за штабеля было слышно, как, притихший было в перерыве, порт наполнялся обычным шумом работы. Позвякивание цепей, шорох скользящего по блокам троса, грохот гини в полупустом вагоне или в прожорливом трюмном зеве, крановые сигналы, плеск жирной нечистой волны в тупой бесстрастный бетон причала – всё сливалось в единый звук слаженного упорного труда. «Новая смена приступила к работе. Наверно уже часов семь…?». Димка глянул на сникшее в ажурной вязи крановых стрел солнце и потопал вдоль забора в сторону общежития, пялящегося однообразием серых окон из-за здания управления на живую площадь порта.  
С Серёгой Ерохиным он познакомился в первые же дни своего начинания в бригаде. На портальном кране, закреплённым за учениками, как-то отказал механизм поворота. Бригадир отправил Димку, как самого молодого, за электриком. Сменная оперативная служба электриков занимала небольшое помещение в одном из зданий в центре тыловой площадки, где за сетчатым забором размещался в основном ремонт всей колёсной техники. Знающему докеру не составляло большого труда отыскать и зданьице, и дежурку электриков, но Димке пришлось изрядно походить вокруг, прежде чем он сообразил обойти сетку дурацкого забора и упереться носом в обыкновенную дыру в нём, через которую он вышел прямо к зелёной облезлой двери с надписью: «деж. а-к.»

- Вас и не найдёшь в этом захолустье, - первое что нашёлся он сказать лысоватому мужику, обернувшемуся к нему от колченогого стола заваленного напрочь неисправной электроаппаратурой. Такой же хлам красовался во всех углах и на верстаке вдоль стены. Мужик за столом обедал, разогревая тут же на электроплитке немудрёный харч, вероятно принесённый из дома в стеклянной банке. Димка объяснил причину своего прихода.  
- Пообедать не дадут…, - не оборачиваясь, хмуро пробурчал хозяин помещения.  
- Да я подожду, - добродушно сказал Димка

В затемнённом углу на верстаке мерцал телевизор.

- Можно посмотреть? – Крачковский по-мальчишески присел напротив, опершись спиною о стену.

- Да, уж будь добр…, - гудел себе под нос мужик.

Минуту-две спустя в помещение зашёл ещё один мужик, молодой чуть старше Димки, худой с длинными руками, в синей спецовке и такими же синими глазами.

- Во, Серёга! Ты уже отстрелялся! Сходи вот с пацаном на пятьдесят четвёртый, там поворота нет. А я по-человечески дообедаю, - как-то радостно оторвался от стола лысоватый.

- Пошли, пацан, - Серёга улыбался, прихватывая сумку с инструментом.  
По дороге познакомились. Сергей был на пять лет старше. И как раз на эти пять лет больше работал здесь в порту. Жил тут же в общежитии. Обедать бегал в столовку, что источала смачный кулинарный дух у самой проходной.  
- Я что-то тебя не встречал? Хотя уже второй месяц толкаюсь и в районе, и в общаге, - поинтересовался тогда Димка.

- Да я в отпуске был, это первая смена. У дядьки в деревне гостил. Заходи, если что, в двадцать седьмую комнату, мы там вдвоём с корефаном…  
  
«…Когда же это было? Как болит голова….! Чёрт! Два года уже. Я год не живу в общаге. А Серёга Ерохин в той же двадцать седьмой. Ерохин? Стоп!? Здорово меня этот… в висок…. Как звенит в голове. Ерохин? А ведь у меня бабушка в девичестве…. Надо бы у Серёги спросить. Как это мне только что пришло в голову? Во как получил по башке…».

В общежитие Димку не пустила вреднющая старуха

- Тебя я, милок, видала кой-когда здесь, а вот теперь не узнаю чтой-то. Ты никак выпимши?

- С похмелья, - съязвил Крачковский.

- Вот, вот я и гляжу…. Лоб-то вишь расшиб, как дурень в молебен. Не пущу я тебя в таком виде. Людям после работы отдых полагается, вот и иди себе, отдыхай, - старуха категорически не внимала его объяснениям.  
- Да мне Серёгу Ерохина повидать бы, а? Сходи, мать, позови…  
Димка был серьёзен, и старухе пришлось пристальнее заглянуть ему в глаза.  
- Во, позарез нужно…

- Ну что мне с тобою делать? Горемыка. Сиди тут. Схожу уж, а ты покарауль тут…  
Старуха, бормоча себе под нос, тихонько поплелась на второй этаж.  
Он глянул в зеркало, стоявшее тут же в углу. Рассечённая бровь уже не кровоточила, но глаз был зловеще красным.

- Во, рожа! – Димка потрогал опухшую бровь. – Красиво! Почти оригинально…  
Он никогда всерьёз не задумывался о своей наружности. Считал, что выглядит вполне нормально с точки зрения существующего мнения о красоте. Лицо, как лицо, чуть может быть длиннее идеального, но в пределах нормы. Нос прямой, не расшибленный, вполне приличный мужской нос. Глаза зелёные или сине-зелёные, но тёмные, и наверно потому трудно различимы по цвету. Обо всём остальном, как и все, он судил вообще и потому считал себя парнем в норме, к тому же теперь у него появилась шикарная отметина от брови до виска.

- Солидно припечатано, - он ещё раз, поморщившись, потрогал повисшую над глазом ссадину.

В коридоре послышался разговор. Димка отошёл от зеркала.  
- Вот он, голубок…. Тута, как нарисованный, - старуха выглядывала сзади из-под Серёгиного локтя.

- Димыч, ты чего? Вот это да…! – это восклицание было скорее смехом, чем удивлением или соболезнованием. – Кто это тебя так, паря?

- Ладно, издеваться…. Вот, не пускает….

- Ты что, тёть Дуся? Это же Крачковский, только побитый слегка, - смеётся Сергей, придерживая рубашку, наброшенную просто на голые плечи.  
- Да я ни чево. Я-то узнала его, да больно в крови лицо, я и засумневалась. Может и выпимши…. Ну а теперь вижу, напрасно держала горемыку. Пусть проходит, - старуха махнула рукой.

- Пошли, Димыч, - Сергей обнимает Крачковского, отчего рубашка у него соскальзывает, обнажая сильную мускулистую спину.

- Я на катер опоздал. Можно у тебя переночую? – Димка не хотел расспросов, потому без обиняков сказал главное.  
- Переночуешь, конечно. В чём же проблема? Пошли, пошли…  
У Ерохина в комнате никого.

- Сосед в ночную ушёл, - Серёга убрал со стола тетрадки, карандаши, исписанные листы.

- Ты никак шелкопёрствуешь, Серж? – Димка взял один из листов.  
- Да так, кое-что записываю иногда. Не знаю даже откуда это у меня…  
- Говорят, от Бога…

- Скажешь тоже…. Просто балуюсь иногда от скуки. Включай чайник, погреемся, - Сергей сложил своё занятие в рыжий потрёпанный чемодан и задвинул его под кровать. Димка, заглядывая ему через плечо, заметил:  
- И много у тебя этого баловства?

- Страниц на двести, если перепечатать.

- Ого!

- Ладно ты, огокать! Две сотни листов это мизер. Два-три процента из них, может быть, чего-то и стоят, а остальное – макулатура.  
- А зачем тогда пишешь?

- Бес его знает…. Блажь. Ты лучше скажи, кто тебе в глаз засветил? И за что?  
- Я сам ещё не совсем понял за что. Можно я возьму твоё полотенце? Схожу умоюсь…  
- Давай, давай…. Там вон мыло, - Сергей кивает на тумбочку, готовит с полки над электроплитой чашки.

ерез пару минут возвращается Димка.

- Слушай Серж, у вас нет родственников по Сибири?

- Мы, в принципе, все от Адамова семени, - шутит в ответ Сергей.  
- Я серьёзно…. Моя бабушка в девичестве Ерохина, случайно знаю.  
- Врёшь? – искренне удивляется Серёга.

- Вот ещё! Баба Валя. Что я свою бабушку не знаю? Жива ещё, слава Богу…, - Димка по-мальчишески капризно кривит губы, разглядывает в маленькое зеркальце на этажерке свою физиономию и гладко зачёсывает назад мокрые волосы.  
- Тогда может быть ты, случайно, и отчество любимой бабушки знаешь? – ехидничает Ерохин.

- Отчество? Ну.… Вот чёрт, не помню! Может быть Ивановна? Раньше мужиков всё Иванами звали…

- Не помнящими родства…, - добавляет как-то серьёзно Сергей и спрашивает уже с подковыркой: - А деда помнишь, как звать-величать?  
- Ну, деда стыдно не помнить, но он не Ерохин…

- Ладно, хватит подкапывать древо своей генеалогии. Я разливаю чай. Давай, подвигайся к столу. Хотя, к слову сказать, ты будто бы знаешь, что я чуточку интересуюсь своим происхождением. Бери сахар…. Нет, подай сначала в холодильнике масло…

Димка возится в чреве неказистого с затёртыми углами холодильника и хмыкает:  
- Не жирно живёте…, - вытаскивает банку с каким-то вареньем.  
- А что нам холостым-неженатым…? Это ты, я слышал, в женихах ходишь, в предприниматели нацелил…. Там, конечно, нужно посытней держаться, а то враз сшибут. Небось, в делёж… лезешь, потому и колотят? – Сергей искоса глянул на Димку и осёкся. По серьёзной и обиженной мине того можно было догадаться, что эту тему не стоит затрагивать.

- Ладно, молчу, - шумно колотит в чашке сахар и готовит хлеб для бутербродов. Потом, усаживаясь, возвращается к разговору о родстве:  
- Ты знаешь, я ведь тоже Ерохиным седьмая вода на киселе. Я не знаю своего деда. Его и отец не помнит. Умер в сорок восьмом совсем молодым мужиком. Наверно сердце….

- А в отпуске у какого дядьки в деревне гостил?

- Да тут мамины кое-кто из родичей, бабушкины, опять же по маминой линии. Но и Ерохина одного знаю, и точно знаю, что дядька…  
- А он знает?

- Конечно. Отец-то, имеет представление о своих корнях, но вообще далёк от этого. Как-то так сложилось…

Пару раз Димка встречался мимоходом с Серёгиными родителями. Отец работает мастером у токарей на судоремонте, мать там же в инструменталке. Живут в заводском микрорайоне в хрущёвке, на плечах младшая дочь, школу заканчивает. Серёга после армии в общаге. Так проще. Меньше зависимости от старших, больше самостоятельности. Но дома бывает часто, куда денешься. У отца небольшой клочок земли за городом, там сараюшка. Крестьянствуют…. Картошку запасают и на Серёгину долю. Это у них хобби такое. Вкалывают на бензин, которым заправляют захудалую машинёнку, на которой мотаются за город. Говорят, все так…. Это образ жизни и никуда от этого не уйдёшь. У молодых должен быть другой образ…  
- Ты старикам помогаешь?

- По мере возможности, конечно, а то откуда бы это варенье. Но вообще-то они сами…

- И мои где-то сами, - грустит Димка.

- Слушай, так что всё-таки у тебя в бригаде? – переходит совсем на другое Серёга.  
- Из бригады уйду…

- Куда?

Из коридора в дверь сунулась чья-то кудлатая голова:  
- Мужики, дайте закурить?

Димка угощает незваного гостя сигаретой, а тот через плечо заглядывает на стол. Заметив его тоскливый взгляд, Сергей разочаровывает ответом:  
- У нас чай с вареньем.

- А я думал, опохмеляетесь….

Всклокоченная голова скрывается за дверью.

- Во, видал, сколько народу неприкаянного? А ты из бригады собрался…  
- Есть одна неплохая фирма. Знакомый мужик там безопасностью заправляет. Обещает на месяц в Москву на курсы охранников отправить. А что? У меня когда-то до армии разряд был… по самообороне. Кулаки чуть-чуть направить и порядок. Права водительские, опять же…  
- И кого охранять?

- Говорю же, неплохая фирма…

- Это та, что чужие долги вышибает?

- Ну, наверно и не без этого, но зато всегда при параде. Не пыльно…  
- Сомневаюсь, - Серёга многозначительно съехидничал.

- Ну и что! Должен же кто-то попридержать ухватистых. Видал, как бросились растаскивать то, что старики наши нарабатывали, - Димка неопределённо кивнул за окно, где в сиреневых сумерках погрохатывал порт, загораясь то тут, то там огнями прожекторов.

- Ты упрощаешь, Димыч…

- А зачам усложнять? Акционирование предприятия видал, как обтяпали? Во первых, отшили тех, кто менее десяти лет работает, а во вторых, оставшемуся меньшинству по четыре акции под получку отслюнили. Хотя, я знаю, старики из докеров могли бы по четыреста акций взять. И тогда бы у низов был неплохой пакет акций, играющий немалую роль в управлении при сплочённости работяг. Но низам отстегнули шишь. Вот тебе и фабрики рабочим…  
- Да ты просто марксист, Дима. Значит, грабь награбленное?  
- А вот здесь уже ты упрощаешь. Просто это одна из форм справедливого распределения и я хочу воспользоваться этим, поскольку к другому способу меня никогда не допустят.

- Пробивайся в профсоюз, в совет трудового коллектива…  
- Да брось, ты! Наш профсоюз никогда не вывернется из-под начальства, какую бы независимость не примерял на себя. А советы – это последний вздох по пролетариату той компартии, что называла себя именем этого класса. Кинулись к работяге партейцы под занавес. Но поезд уже ушёл. Теперь одна фикция осталась и от той партии и от советов…  
- Ты в бригаде об этом тоже вот так говоришь? – Серёга стал серьёзен.  
- В бригаде? Нет. Разве что, когда между делом. Там работать надо и подворовывать…  
- Не понял…?

- А ты думаешь, за что мне сегодня поддых пощупали? Бугор с двумя корешами, а может быть и не только…, в ночную смену лес мимо трюма на плашкоут, что под бортом лагом становится, так между делом сплавляют. Бросят пару грейферов, пока приёмосдатчица не видит. А может быть и видит да помалкивает или своё имеет. Многие видят, молчат просто…. Время такое – тащи, кто что может. Вот и тащат. Я с дуру брякнул бугру: кончай, Стас, собственность, всё-таки…, народная. А он мне: вот я, мол, свою долю и определяю, тоже, как ни как к этому народу принадлежность имею. А вообще, говорит, пацан, видел и забудь….

- Во, дела! Мало того, что ты у Стаса деваху отбиваешь, так ты ещё и в делёж полез? Тебе это надо?

- Откуда про Светку знаешь?

- Да уж знаю. Приметная девочка…, - Сергей просто повёл рукой, но стало понятно, в чём состоят эти приметы.

Димка как-то невесело ухмыльнулся, пропустил замечание и запальчиво продолжал:  
- Буду колотиться, чёрт побери, головой, кулаками, изворачиваться и упорствовать, но своего добьюсь. Ты знаешь, утверждение наших предков о том, что человек жив трудом, сейчас неверно. Ты заметил, что многие сегодня неплохо живут дележом? Это видно даже в самом низу нашей общественной пирамиды.

- Так ты решил рвануть наверх?

- Не наверх, а на своё место…

- И ты знаешь, где твоё…? – Сергей не спрашивал, он язвил.

- Я думаю, что могу гораздо больше, чем просто вкалывать.

- Ну-у! Так каждый думает…. Ладно, марксист, убираем со стола и спать. Мне завтра на смену с утра. А ты?

- Мне с семнадцати. Посплю немного, потом смотаюсь на квартиру. Кое-какие дела…

Уже когда погасили свет и улеглись, Сергей, позёвывая, пообещал:  
- Я тебе наше родословное древо как нибудь на досуге нарисую, конечно, то, что сам знаю. Может и свою «ветку» отыщешь…, с бабкой своей.  
  
Димка же сквозь дрёму вспоминал недавнюю последнюю поездку со Светкой в пригород на их заветное местечко.

- …Нет, Димочка, не пойду я за тебя замуж. Любиться, вот, люблюсь, а жить с тобою одна морока будет. Кто ты есть, а…?

Светка поднимала с Димкиных коленей голову, смотрела ему в глаза чисто, не лукавя, что необычайно ей шло, и снова укладывалась рыжею копной на прежнее место, продолжая бесхитростно:

- Ну, поженимся мы, а дальше…? Жить у папочки, кормиться у мамочки. Ни двора, как говорится, ни…. Хотя с этим пока порядок…, - она недвусмысленно хмыкнула.

Закат растекался розоватою лавой над полем за рекою, над холмистым горизонтом вдали. Душно и томно дышит в эти июльские вечера земля, подставляя уже темнеющим небесам раздолье наполовину скошенного луга, дремоту большущих верб вдоль реки, что похожи на призрачные шары, не скатившиеся совсем в воду, а вдруг замершие в задумчивости и грусти. Всё, кажется, замирает в эти недолгие минуты, молчит и словно прислушивается к уходящему, отзванивающему с зорькою, весёлому, жаркому дню. Всё вдруг успокоенное и присмиревшее, как пред чем-то неведомым и чудным, ждет, заворожено, опускающуюся с дальних сопок, ночь. А она, эта томная красавица вот-вот распахнёт ненароком звёздным сарафаном небо, повеет прохладою из-под тенистого берега, всколыхнёт оставшиеся ещё в прилесках травы нежно и ласково, а потом смахнёт с очарованных окрестностей вечернюю колдовскую тишину.

Димка молчал. Тепло старого скрипучего вяза передавалось приятно в спину, но начинали ломить колени. Светкина голова становилась непосильной тяжестью, но было неловко сбросить эту гривастую красоту с ног, и он продолжал тихо сидеть, слушая и совсем не воспринимая её рассуждения.  
- Зарплата у тебя, конечно, пока есть. Но ты же не будешь всю жизнь вкалывать, как выражается мой, рождённый грузчиком, папочка. Нет, Дима, я выйду замуж за вашего «бугра». Да, да! Не удивляйся…  
Димка не подавал даже и намёка на удивление, но Светка опережала все его действия, и ему оставалось молча и тупо воспринимать её.  
- Стас, конечно, прохвост и жмот, ко всему и сволочь хорошая, но замуж я пойду за него. Это же каменная стена по нынешним временам. Квартира, которую он отсудил у жены при разводе, деньги, которые он сколотил на поприще бо-о-ольшого бригадира в порту и образование, полученное ещё до перестройки, и которым он обязательно воспользуется в нынешнее время – это же монумент, Дима. Это как раз то, что нужно будет после того, как родится…, - она вдруг осеклась и умолкла.

До Димки не сразу доходит это самое «родится» и он безо всякой мысли переспрашивает:  
- Кто или что родится?

И только потом вдруг всё понимает. Тут Светка рывком садится и, поправляя волосы, серьёзно с грустью выдавливает:

- Да уже родится…. Ребёнок у меня будет, - и вздохнула глубоко всей грудью.  
Димка берёт в ладони её лицо, поворачивает к себе и, заглядывая ей в глаза, строго спрашивает:

- От кого будет? Чей…?

Это «чей…» вышло резким и грубым.

- Чей, чей…. Мой! – Светка вспыхнула и вскочила.

- Хватит валяться. Я пошла….

- Послушай, давай разберёмся, как….

- А вот так! – она резво уходит, лишь бросая, не оглядываясь: - Не провожай….  
Димка остаётся ошарашенный сидеть, повторяя в мыслях как-то безразлично: - «Разберёмся…».

3.

До конца ночной смены оставалось часа полтора. Сергей дремал в замасленном колченогом кресле. Напарник, устроившись на лавке у стола, мирно сложил голову на раскинутые руки в промасленную фуфайку, используя её как подушку, и вполголоса, прикрыв глаза, говорит почти сам с собою. Вторую половину ночной смены трудно выдерживать в дежурке без сна. Потому, если не было экстренного вызова на причал, обычно дремали, если так можно называть настороженный краткий покой.   
- Щедры ныне леса. То ли потому, что лето было жаркое, безводное, а потом, в конце концов, и дождички опрокинулись на изнурённую землю. То-то грибов привалило! Народ валом в сопки кинулся. Целую неделю белыми да обабками веселился…. Всё вытоптали. Как смерч – людской поток. Но благо отошли боровые резко, как и появились нежданно-негаданно. И грибник случайный, шумный остыл, другим делом, наверно, занялся. На дачах осенних дел невпроворот. Поутих, угомонился и лес после набегов. Тихо. И птиц нет. Разве только синица попискивает, да сойка неприятно в чаще скрыпит. Солнышко поостыло…. Хотя в полдни ещё лижет теплом щёку у какого-нибудь дуба разлапистого в затишье. Осенний сверчок теперь хозяин лесной тиши…. Из грибов сыроежки повылазили, всё больше синие, да красные. Крепеньких и тугих запросто лукошко насбираешь. Ещё валуй ржавый, некрасивый, с крестьянским черёмуховым духом, в корзину просится из-под папоротниковой кочки. Да не жалует наш городской грибник этого гриба. Не знает! На любителя валуй, на знатока, на тихого, нешумного грибника. Такого в остывающем лесу сразу узнаешь – спокоен, не суетлив, свой для леса. Корзина у такого не всегда полна, зато уж если и есть что, то все как один чистые и ядрёные. Своему лес ничего не пожалеет. Своему душу потешит, одарит теплом оставшихся последних осенних деньков на всю грядущую зимушку-студёнушку. Остановит на опушке, усадит очарованного у тёплого берёзового ствола, заставит солнышку прищуриться и улыбнуться… Слышь, Серёга, или ты спишь?  
- Давай, давай. Я слушаю…, - сонно отзывается Ерохин.

- Опёнки нынче отменно уродились. Летние полезли поздно, к концу грибодарья. Да валом! На удивление дружно во всех рощах и прилесках. Знай, не зевай! Кто первый, тот и с грибами в два присеста. Следом и осенний опёнок не опоздал. Народ опять в лес засобирался. Шумно! Утоптали все пригородные места, куста прямостоячего не найти. Всё обшарили. Каждую полынину туда-сюда перекладывают друг за другом. А опята, знай себе, лезут из-под каждого пенёчка. Дружные, кучками, в пёстреньких мягоньких шапчонках, как мужики. Нет-нет одиночка попадается – что тебе боровик: мясистый, на толстой ножке и голова коричневая, бархатная. Важный гриб – осенний опёнок. И на сковороде хорош, и в маринаде зимой неплох. Хорошая хозяйка опёнки поважней других грибов почитает. Особенно поздние, осенние. И много его, и без червей, и готовится легко, а уж о вкусе и говорить нечего…. Тебе молодому да неженатому не понять…

- Почему же? Очень даже хорошо понимаю. Рассказывай дальше. Мне интересно…  
Но Серёге на самом деле в этот миг пригрезилась Светка Рыжова. Ещё красивее чем в жизни, в белом подвенечном платье, а на месте жениха он сам. Всерьёз не принимает, что женится, знает, что это игра, и всё норовит прижать Светку да поцеловать покрепче в губы. А та и сама не против…. Но сбоку вдруг появлятся Крачковский и голосом напарника спрашивает:  
- Слышь…?

Отчего Сергей действительно отходит от грёз и продолжает слушать.  
- Наведался нынче в одно заповедное местечко. Дорога плохая, зато благодать грибная. Косой коси! Правда, припоздал уже чуть-чуть. Опёнок перерос, подсыхать стал, где чернотой взялся от ночных холодов, где серебряной плесенью снизу подёрнулся. Но всёравно и хороших ещё в достаток. Набрал-таки корзинку с горочкой. То-то жарёха будет….  
Зазвонил телефон. Напарник не открывая глаз, берёт трубку, молча слушает, что-то в ответ мычит, но заканчивает разговор коротко и громко:  
- Выходим…

И только потом открывает глаза, и недовольно кряхтит.

- Всё, Серёга, кончай ночевать. Звонит Стас, на тридцатом авария. Искры из токоприёмника посыпались, выбило автомат в тэпэ. Срочно сделать или хотя бы перегнать кран. Они другой подгонят на то место. Пошли! Эх, чуток до утра не дотянули…

Напарник набрасывает на плечи куртку, которой укрывался и уже через минуту его шаги слышны в гулком пустом коридоре. Сергей привычно выходит из полудрёмы, подхватывает сумку с инструментом, на правах младшего в смене по возрасту, и торопится следом.  
Порт это живой организм. И если днём эта жизнь подчёркнута явным вмешательством человека, искусственна и вычурно активна, то ночью в ней столько непосредственности и естества, что невольно приходит на ум мысль о неподвластности этого существа человеку. Оно с хитрецой лениво простирается вдоль чёрной маслянистой воды залива, расползаясь в ширину кажущимся хаосом причальных построек, подминая лапами железнодорожных разветвлений большую площадь, загромождённую складами и штабелями груза. Вот это существо дрогнуло чуть и шевельнуло хвостом. Это, звякая сцепками, уходит из-под разгрузки пустой состав. Вот радужно замигал его огромный жёлтый глаз и притух тут же, словно прикрылся краем ночного неба, как непроглядным сизым веком. Это сгорел один из прожекторов на высокой мачте, и тут же сгустившаяся темнота неспешно заполнила окрестное пространство. В воздухе над портом всегда витает сквозняк. Зародившись в штабелях леса, в пролётах складов-навесов, в ажурной сети крановых стрел и корабельных антенн, он, как искусный специалист по смешиванию запахов, каждый день предлагает всё новый и новый дух, пользуясь всего лишь тремя-четырьмя компонентами. Амбра сосновой смолы с умирающих стволов, пыльная горечь ржавчины с чугунных чушек, что бурыми терриконами время от времени свалены на специализированном причале, сладковатый ветерок дизтоплива и битумной пропитки от железной дороги – вот составляющие обычную композицию портового духа. Только всё это малыми долями разбавлено в сырой йодистой массе морского дыхания. Днём, когда ветер прогрет, более подвижен, этот дух резок, упруг, накатывает волной, порывом, но непродолжителен в напоре своём, не долог, часто изменяется, а иногда и вовсе уходит с причалов под напором свежей струи, вдруг ворвавшейся на причалы с дальнего рейда. Зато ночью запахи порта продолжительно устойчивы, тоньше, и до одури алашникова медлительны. Летом в них преобладает смола, ржавчина и море, зимой порт насквозь пропитан тепловозным духом железной дороги и солидола, которым щедро смазываются километры крановых тросов.  
Но сейчас стояла средина осени. Октябрь только-только приходил хозяином на остывающую уже в ночи землю. Потому-то примешивалась уже тонко в портовый воздух зябкая прохлада дальних лесистых вершин. «Сейчас в тайге хорошо. Костерок, дым…. За шишками надо бы в этом году собраться…», - думалось сквозь не выветренную ещё дрёму. Серёга не любил ночных смен. К утру всегда невыносимо хочется спать. Голова налита тяжестью, потому мысли вязнут, как в неком липком месиве, и нужно обязательно после смены дождаться следующей ночи и хорошо поспать, чтобы избавиться от этого чувства. Особенно было тяжко, если подваливала работа. Три-четыре вызова из конца в конец грузового района складывались в добрый десяток километров, которые нужно было одолевать по возможности быстро. А потом так же быстро справляться с неисправностью на кране. В случае задержек поднимался шум до диспетчерской, а потом уж днём и до большого начальства…  
- Сон сейчас плохой видел, - говорит Сергей вслед напарнику, поднимаясь по трапу. Тот не слышит, поскольку голова его намного выше и Серёга видит только ноги. Повторяет громче:

- Слышь, Филипыч? Сон, говорю, плохой видел. Женщину…  
Поднимаются на нижнюю площадку механизма передвижения крана, где в углу под пилоном крановой ноги громоздится колесо кабельного барабана. Переводят дух.

- Баба это хорошо! – смеётся Филипыч. – Сейчас продолжение тебе будет, только вот с этой железякой хреновой.

Кивает на громадное колесо-бочку, из чрева которой, напрягшись потянутыми жилами, торчит в две руки толщиной кабель. Осматривают барабан со всех сторон и крепят его специально приспособленной цепью.  
- Концевик не сработал. Кабель на одной жиле держится. Крепко коротнуло! Будем делать, - Филипыч в смене старший и такие решения принимает единолично.  
- Надо бы под противовес что-то подложить на всякий случай. Так что там во сне про бабу?

Спрашивает лишь для слова, для разговора, а по тому, как ковыряется в сумке с инструментом видно, что размышляет уже над поломкой.  
- Да, если бы незнакомая, ладно бы, а то снится невеста дружка. Всё бы ничего, да она в натуре-то беременная.

Сергей перелазит за леерное ограждение, упирается спиной в холодное ребро укосины и откручивает болты на крышке токоприёмника.  
- Беременная это плохо, - язвит Филипыч и пыжится, подтягивая до упора в леерную стойку крепёжную цепь. – Помни заповедь: не возжелай жены ближнего своего.

Совсем не весело смеётся и добавляет серьёзно:

- Вот только про сон там…, кажется, ничего не говориться. Пойду, позвоню диспетчеру и заодно чурку под противовес подыщу. Ты пока поосторожней тут. Сейчас позову кого-нибудь, пусть подстрахует.

Через минуту слышится, как он, крикнув крановщику, спускается на землю и разговаривает с кем-то из бригады. Сверху, загораживая свет прожекторов, что свисают двумя слепящими шарами из-под кабины, спускается крановщик. Грохочет докерскими ботинками по рифлёным ступенькам трапа и чертыхается на чём свет стоит на не сработавший злополучный концевой выключатель кабельного барабана:

- Как назло, думал ещё перетащить кабель на ближнюю колонку. Думал, подам последний строп и переключусь. Не успел!… Надо же, не сработал! Слышь, Серёга, я не виноват…

- Да ладно, ты, оправдываться. Работаешь на концах – так ты повернись на барабан, глянь! Сколько раз, говорить надо…. А оправдываться будешь перед бугром, перед диспетчером. Премиальные придётся поделить с начальством…  
Сергей, напрягшись, отдаёт последний болт и, оставив его полувывернутым, опрокидывает вниз жёсткую, выгнутую дугой, крышку. Она повисает, чуть касаясь острым ребром края дырчатой небольшой площадки под барабаном. Заглядывая с фонариком в его нутро, определяется с неисправностью:  
- Да-а! Коротыш! Все три жилы…. Кабель висит на нулевой. Неудобно…. Придётся подлазить лёжа. Придержи чуть барабан, пока я поудобнее пристроюсь, - говорит крановщику и садится на железо площадки, протискивая ноги в узкое пространство под барабаном.  
- Подожди напарника. Щас чурку подложим, а то, не дай …случай, полетит противовес, - осторожничает крановщик.

- Цепь вроде хорошо держит. Пока Филипыч ходит, я кое-что откручу, всё быстрей сделаем. Чуть подстрахуй, если что…

Снизу кричит старшой:

- Держи, чертяка! Тяжело…

Крановщик торопливо кинулся помогать. Быстро уходит к трапу и принимает отрезок сырой деревянной плахи с осклизлой корою по рёбрам. И тут случается непоправимое! Серёга, нечаянно зацепив ногой, сбрасывает со стойки крепёжную цепь. Барабан, чуть качнувшись, освобождается от удерживающей его, мигом лопнувшей кабельной жилы, начинает вращаться, увлекаемый тяжестью противовеса. Сергей инстинктивно поджимает под себя ноги, а руками пытается удержать вращение. Но шершавая труба барабанного обода, обжигая ладони, легко выскальзывает и не даётся. Открытая крышка, только что свисающая вниз, в мгновение оказывается на верху и ещё какое-то мгновение ножом гильотины летит вниз на ноги. Серёга не слышит скрежета железа, не слышит криков. Всё вокруг как-то странно замедляется и уменьшается в размерах. Он словно из ватных мягких сумерек смотрит сверху на себя, скорченного под барабаном, и видит, как медленно опускается ржавое полотно, болтающейся на одном болту, как бесшумно касается свободным концом его заголившейся щиколотки и, не встретив никакого препятствия, медленно рвёт беспомощную ещё бескровную плоть….  
Боль и ощущения тела пришли, когда его вытащили из-под барабана. Противная слабость разлилась по конечностям неудержимой дрожью, вязко перехватив дыхание и обездвиживая язык. Сквозь сумерки Сергей слышит своего старшего электрика:

- Ё – моё! Серёга! Как же так…? Давай сюда. Вяжи ногу…! Выше! Сильней! Вяжи…, на! Рубахой…

Серёга не чувствует прикосновений, не понимает происходящего и лишь пытается унять, накатившую противную, дрожь. Снова сквозь вату голос напарника:  
- Звони в медпункт! И… скорую вызывай! Всё, Серый, лежи. Кранты твоей ноге. Вот тебе и невеста… чужая….

Серёга не понимает хмурой язвительной шутки. Почему «кранты» ноге!?…. Он приподнимается на локоть и смотрит на свои ноги. Вместо правой ступни видит кровавый подрагивающий обрубок. Стон слетает с его обескровленных губ…  
Уже в больнице, приходя в себя, чувствует на руке тепло материнской щеки, её слёзы, слышит тихие горестные причитания. Открыв глаза, видит строгое, вмиг постаревшее лицо отца, присевшего у ног на краешке больничной кровати.  
- Как же ты так…, сынок? – тихо со стоном спрашивает мать, а кажется, разрывается криком приумолкнувшая больничная палата. И льётся жгучая материнская слеза на Серёгину ладонь, и нет сил ответить что-либо. Он лишь пытается улыбаться и легко пожимает в ответ шершавые мамины руки…  
  
…Возвращаясь из Москвы, Димка побывал у родителей в Тольятти. Обнимая бабку, ласково гладил её по плечу и радостно объявлял:  
- Нашёл я родичей на Востоке, ба! Серьёзно, говорю…

А бабка, не удивляясь, вытирает сухой ладонью глаза и говорит:  
- А что ж их искать, не терялись, чай. На одной земле живём все…, - и прижимается мокрой щекой к внуковой груди.

Мать всё плакала и от счастья, что видит сына живым невредимым, и от тревоги за его намерения проследовать опять на этот треклятый дальний Дальний Восток.

- Дима, оставайся…, - не скрывая слезы и заглядывая ему в глаза, надоедала она все сутки, что удачно выкроились из командировочных.  
- Нет, а! Я же на работе. С учёбы вот обязан в срок быть на месте, как штык….  
«Мама, мамочка, знала бы ты о конкретной работе твоего Димочки…», - дома было спокойно и хорошо и ему чертовски хотелось хотя бы погостить.  
Отец, разглядывая аттестат об окончании курсов охранной службы, о чём-то догадывался и потому хмуро поинтересовался:

- Охрана и безопасность…, это что по старому ВОХР? Ты что ж это в сторожа подался? – он действительно что-то понимал и, успокаивая мать, просто ёрничал.

- Да, что-то вроде этого. Ты же сам учил – труд всякий облагораживает.  
- Ну, ну. Ваше… благородие.

Вот так с мамиными слезами и отцовским «ну, ну» и проследовал Димка до Владивостока, подрёмывая в самолёте. В аэропорту его ждала машина. Встречали мужики из фирмы.

- С повышением квалификации тебя, Крачкин, - хлопал его по плечу тренированной лапищей старший из отдела безопасности Юрчик, намерено искажая Димкину фамилию, наверно потому что у самого она была похожей на кличку. – Давай, давай в машину! Полученные в столицах навыки нужно как следует закрепить…

- Да нет, мужики. Я бы сейчас домой под душ, да диван на спину потаскать часика три-четыре…

- Знаем мы твой диван! Светка тот диванчик весь обсидела. Дня не было, чтоб не звонила. Побаивается, не сбежал ли…

В иномарке было душно и тесно. За приспущенным стеклом потянулась аэродромная рыжая заболоченная с краёв равнина, скоро сменившаяся взгорками, облитыми осенним золотом леса с багровыми и ещё кое-где зелёными пятнами по склонам. Димка смотрел в окно и не слушал возбуждённого и громкого разговора рядом. Он не любил такой тесноты, не любил чужого дыма сигарет в машине и обязательного сквозняка при этом. Нужно было держать окна открытыми, иначе можно задохнуться в этой смеси сигаретного дыма, запаха одеколона и мужских тел.…

Месяц назад, прежде чем уехать в Москву, Димка подыскал неплохую квартиру во втором Южном микрорайоне. Хозяйка, ещё моложавая пенсионерка, долго привередливо присматривалась к нему, прежде чем назвала цену и, получив задаток, отдала ключи. Сама, с её же слов, она перебивалась у сожителя на Первом участке, где её и следует искать в случае чего…. Этим случаем могло быть умопомрачение, ибо хозяйка была совершенно не нужна Димке. Это он ей был нужен, а ещё вернее полста его баксов, которые он ежемесячно обещал платить за квартиру…  
В тот же день привёл сюда Светку и перетащил со старой квартиры свой небогатый холостяцкий скарб. Однокомнатная квартира в панельной девятиэтажке на шестом этаже была вполне приличной. Недавно алашни весёлые обои, электроплита в маленькой чистой кухоньке, тут же выход на небольшой балкон, где вполне можно приспособиться сушить постирушки…. Светка водила пальцем по оконному стеклу и задумчиво безразлично разглядывала внизу напротив автостоянку. Димка возился в туалете со сливным бачком, который, наверно, со дня установки не держит воду.  
- Значит, шалаш, какой-никакой, у нас с тобой есть? Теперь только остаётся завести в нём рай…, - Светка говорит с сарказмом, но тут же понимает, что Крачковский не слышит, и потому кричит: - А сколько ты будешь платить за эти хоромы?

Теперь Димка слышит, но отвечает не сразу, потому что занят, и лишь после того, как из бачка шумно скатывается вода, доносится его глухой голос:  
- Пятьдесят!… Дешевле не нашёл…

- Это что же у тебя от получки останется? – в её голосе как-то вмиг поубавилось иронии.

Димка выходит из туалета, вытирает руки чем-то оставшимся от хозяйки, устало садится на расшатанную кухонную табуретку и спокойно отвечает:  
- Перебьёмся. Босс на работе обещает неплохо платить. Пока я смотаюсь на курсы, потолкаешься у своих. Сюда будешь наведываться. Месяц, всего-то и дел…. Я Ерохину звонил, обещал сегодня нагрянуть. Попрошу и его приглядывать. Давай, приступай хозяйничать….

- Это что …предложение? – Светка ехидничает.

- Ну…, надо же как-то решать вопрос, - Димка хмур и несобран.

- Какой вопрос?

- Ты что издеваешься? Я серьёзно…, - он встаёт и нервно ходит по комнате.  
Из мебели здесь осталось лишь два стула, кухонная табуретка, в углу тумбочка со стопкой старых газет и кровать с облезлой по углам полировкой на деревянных спинках. В пустоте среди такого «многообразия» звук шагов гулко отлетал к потолку, к стенам и эхом отзывался в прихожей, затихая под вешалкой в углу.

- И я серьёзно. Ты решаешь за меня какие-то вопросы, даже не посоветовавшись…  
- Почему за тебя? За нас…. Я думал так будет правильно.

- Что правильно?

- Ну…, твоя беременность, - Димка остановился напротив, заглядывая её в глаза.  
- Тебя это не касается, Димочка. Я уже говорила тебе, живи спокойно…  
- Кончай издеваться! Что я скотина, не понимаю что ли…. Давай по-человечески.  
- По-человечески сначала объясняются в любви…, - сказала резко, зло и, показалось, больше говорила себе.

За последние дни она сильно изменилась, такой серьёзной он её не знал.  
- А я что разве не говорил тебе об этом? – Димка пробует шутить, но лишь кривит губу.

- Об этом…? Говорил. А вот о любви что-то не припоминаю, - она язвит, но выходит это с грустью и больно.

Её такую он боится. От этой грусти щемит сердце, и холодок бессилия расползается по конечностям. Он знает, чего ей хочется услышать, но продолжает ёрничать и суетиться.

- Ладно, всё! Вопрос решённый! Сейчас едем к твоим старикам, обо всём говорим и …сюда возвращаемся законным, так сказать, образом.  
- О чём говорим, паря? Всё, я пошла…

И прежде чем Димка успевает что-то сделать, Светка, подхватив свою маленькую сумочку, быстро уходит. Он и не пытается догонять. Просто выходит на балкон и ждёт, пока она не появляется из подъезда.  
- Света! – кричит негромко вниз, свешиваясь через перила.  
Она поднимает к нему лицо. Сверху совсем не различимо его выражение и виден лишь белый грустный овал. Не отвечая, она уходит на автобусную остановку и вскоре сливается с пёстрой толпой.

- Ну, как знаешь…, - ворчит он себе под нос, нервно возвращается в комнату и валится на голую сетку кровати.

…В июле он ушёл из бригады и из порта совсем. Как-то всё навалилось разом: конфликт с «бугром», Светка вот со своим…. А почему только со своим? Свою роль в её положении, насколько умел, сознавал, но всерьёз как-то не принимал или не понимал…. Как и рассчитывал, его взяли в товарищество с ограниченной ответственностью в службу безопасности, которую поначалу как следует и не разберёшь. Носился на побегушках, сходи туда – не знаю куда, бывал на подхвате, подай то – не знаю что. Участвовал в каких-то сопровождениях начальства в аэропорт, встречал обратно, торчал по связи на встречах того же начальства с клиентами, и прочее. Особых поручений не получал, оружия не полагалось, поскольку разрешения на ношение нет. Одним словом вживался в коллектив…. Вот серьёзно снял квартиру. А она…! «Что ещё надо? Сама виновата. Ну и пусть как хочет…. Уеду на курсы, пусть разбирается с папочкой, с мамочкой. Ключи оставлю…. Придёт, как миленькая. А там утрясём как-нибудь. Не конец же света, в конце концов…».

Димка тянется к валяющейся на полу большой спортивной сумке за сигаретами.  
…Вечером заявился Ерохин. Поздоровался за руку, долго топтался в прихожей, разглядывая своим алашни-крестьянским прищуром плохо подогнанную дверь, замок и пустую вешалку.

- Не густо…, - проговорил оценивающе, потом только разулся и прошлёпал в пустую комнату.

Развернул газетную трубку, что небрежно держал широкой пятернёй, выставил на табурет бутылку водки. Из кармана брюк достал красочную плитку шоколада.

- Ну, что, справим новоселье, родственник? – глянул зелёным глазом по всей квартирной пустоте, остановился на постном Димкином лице. – Что ты такой? Хандришь? Сколько за крышу платишь?

- Полста зеленью…

- Круто! Моя зарплата в аккурат. Но ты-то теперь в буржуях ходишь, расплатишься. Давай стаканы, - он смешно сделал ударение на последний слог.  
- Ты что, шоколадкой закусывать будешь?

- Я рассчитывал, у тебя кое-что найдётся. Ты хозяйственный…

- Хитёр-бобёр!

- Давай, давай, раскошеливайся…

Димка охотно полез всё в тот же спортивный «сидор». Вытащил банку рыбных консервов и полбулки белого хлеба, завёрнутого аккуратно в полиэтиленовый пакет. Разложились тут же на полу. Стакан отыскался один, потому выпивали по очереди. Димка как хозяин первый поднял его на уровень глаз, разглядывая на свет, поиграл желваками и опрокинул в рот. Наливая себе, Серёга ворчал:

- По старшинству мне бы полагалось первому, но да ладно уж…  
Поднял стакан к носу, затем, глухо выдохнув, выпил и только потом на вдохе просипел:  
- Гадость!

Минуту молчали, зажёвывая хлебом и серебристой сайрой в масле.  
- Светка была? – Сергей кивнул на забытый лёгкий шарфик в оконной ручке.  
- Была… только что. Не клеится у нас что-то…  
- Склеится. Я как-то в городе разговаривал с ней…. Вертихвостка…  
Говорит без осуждения по-доброму.

- Обломаешь. У Ерохиных по женской части, пусть не совсем большой, но порядок есть…

- А у тебя?

- Я не в счёт. Моя ещё где-то подрастает. Слушай, неделю назад я передавал тебе схемку, нашёл бабку свою, а?

- Ах, да! Я был прав, баба Валя из твоих Ерохиных. Да ты знаешь и без меня…  
Димка всё из той же сумки извлекает большущий атлас автомобильных дорог и отыскивает в нём листок. Серёга, захмелев, хитро щурится и опять наливает в стакан.

- Ну, вот за это и пьём, родственник…

Потом допоздна долго и громко говорят, дёргая листок, припоминая дядек своих, тёток, горячась подчас и перебивая друг друга…. Неделю спустя Димка улетел в столицу. Ключи от квартиры оставил Ерохину.  
  
  
…Незаметно пролетели перевал с его вечно бдящим милицейским постом, и названный когда-то давным-давно Американским. Наверно потому же, как раскинувшийся внизу большой морской залив назван Америкой по имени первого парусника посещавшего эти места в прошлом веке.  
- Ладно, Крачкин, завозим тебя домой, но вечером, как штык, …в офис! Работа ждёт…, - Юрчик говорил с переднего сидения, не оборачиваясь. Дым его сигареты, выходя клубом изо рта, попадал в сквозняк, его тут же разрывало, большей частью растаскивало по салону, набивая в ворс обшивки сидений.  
- У меня нечем открывать квартиру, - Димка вспомнил, что у него нет ключа.  
- А Светка?…

Я не уверен, что Серёга передал ключ, но на всякий случай заглянем…  
Город встретил по-осеннему сухим ветерком с остывающих в последних всполохах вершин, густым потоком автомобилей на проспекте, подновлённым асфальтом и каким-то близким, почти родственным шумом.  
- Смотри-ка, машин сколько! Раньше как-то и не замечал…, - Димка всматривался в мелькающую реку иномарок.

- Осень заканчивается, туристы последние деньки догуливают…. Мы тут одну компашку копаем, у них из Хабаровска этим летом народу уйма. Растёт бизнес, растёт…. И нам перепадёт кое-что… охранять, - Юрчик щелчком выбрасывает окурок на пролетающую за дверцей клумбу.  
Мелькнул неразберихою Южный рынок, проплыла серая глыба строящегося стадиона, и машина, нырнув во дворы, тормознула у подъезда девятиэтажки.  
- Я только гляну и назад, но если кто есть, крикну с балкона, - бросает Димка на ходу, оставляя машину открытой.

Поднявшись на лифте, подошёл к двери и каким-то внутренним чутьём определил, что в квартире кто-то есть. Затаив дыхание, прислушался. За дверью тихо звучала музыка. Он просто постучал согнутым пальцем по дверному косяку, позабыв о кнопке звонка. Через минуту услышал Светкин голос:  
- Кто там?

- А вы кого-нибудь ждёте?… - спросил глухо, чувствуя как перехватило голос.  
- Ой, Дима! – щёлкнул замок, Светка в лёгком широком платье выпорхнула за порог и повисла на нём. – Как же я тебя жду!…

Она захлебнулась в слезах, уткнувшись мокрым носом ему в шею.  
- А я поэтому и тороплюсь…

Говорил, запинаясь от волнения, внося Светку в прихожую. Присели на кровать. Димка, не узнавая, оглядел комнату. Во всём приметил заботливую руку: Из пустой неубранной квартиры Светка сотворила уютное человеческое жильё.

- Ты такая молодец, - он поцеловал её в мягкий завиток за ухом. – Молодец, что забрала ключи у Ерохина.

- Ой, Дима! У него такое несчастье…, - чуть отстраняясь, Светка на миг перестала плакать.

- У кого? – он не понял.

- У Серёжки! Он ещё в больнице, безногий…, - она опять заплакала.  
- Ты о чём это? Говори толком!

Начиная понимать, что произошло что-то серьёзное, Димка взял её заплаканное лицо в ладони и заглянул в глаза. Она успокоилась и, шмыгая носом, объяснила:

- Серёжка в больнице. Ему отняли ногу. Что-то случилось на работе…  
- В какой больнице?

- В городской, в хирургии…

Последнее Димка слышал уже в дверях. На выходе обернулся:  
- Извини, я должен…, - и, минуя лифт, кинулся вниз по лестнице.  
Втискиваясь в автомобиль, спешно хлопая дверцей, попросил:  
- Мужики, давай в горбольницу. Быстро! У меня беда…

И по его лицу было понятно, что действительно случилось несчастье…  
  
…Над городом по склонам догорала осень. У обочин дорог вовсю шуршала палая листва, а воздух по утрам приносил с дальних вершин тихую тревогу похолоданий.  
Сергей внимательно перелистывал рукопись, принесённую вчера ему в больничную палату одним знакомым, что сочувственно отнёсся к случившемуся. Потом, задумавшись, размышлял о судьбах людских, о поворотах в жизни, о дружбе и товариществе. Уставившись в окно, видел небольшую взъерошенную сороку, суетящуюся напротив в голых сучьях тополя. Птицу в автомобильной сутолоке на людном перекрёстке никто не замечал. Она проворно пикировала на «мёртвый» пятачок прямо посреди улицы, подхватывала что-то блестящее с пыльной дороги и мгновенно взлетала вверх. Отлетала чуть в сторону к большому тополю, садилась на выдающуюся к дороге громадную ветку и… отпускала из клюва это что-то блестящее. Лёгкий ветерок подхватывал вещицу, плавно наискосок относил к дороге и опускал на асфальт «мёртвого» пятачка. Сорока некоторое время бездействовала, словно забывала о блестящей находке своей, но потом, вдруг забеспокоившись, взмывала с ветки вверх, отлетала в сторону, и уже оттуда кидалась прямо в поток автомобилей к блестевшему почти под колёсами предмету. И опять взмывала на тополь, чтобы повторить свой интересный опыт. Сорока постигала законы тяготения или, может быть, просто заполняла своё осеннее безделье…. Сколько бы это продолжалось, Бог весть, если бы резким ветерком не снесло вдруг блестяшку чуть далее пятачка прямо под колёса городского автобуса. Сорока долго словно недоумевала, беспокоилась, то взлетала, то садилась на ветку. Потом, будто сообразив о пустой затее, как-то сразу отказалась от неё, просто и не сожалея…. Резко взмахнула крыльями и улетела с шумного перекрёстка. Под безжалостными колёсами осталась смятой обыкновенная шоколадная обёртка….  
Перекрёсток жил своей шумной хлопотливой жизнью. Сквозь неплотное окно больничной палаты проникал воздух шумящей оживлённой улицы. Пахло гарью и заканчивающейся осенью…

К соседу приходит каждый день жена. Этак заботливо, тихонечко. Немногословно шёпотом общаются. Она грустна и искренне печальна.  
- Ты опять курил, Пашенька…, - укоризненно и сожалеючи бранит его.  
- Да-а…, - он мычит в сторону. – Один раз.

- Нельзя ведь. Ты бы слушался врача, - она пытается заглянуть ему в глаза, а он прячет взгляд.

Всегда можно видеть, как тягостны для него минуты свиданий. Она уходит тихо и незаметно, словно стыдясь самою себя.А в субботние вечера у него другая… женщина. Вольна и недосягаема, до вульгарности красива. В её присутствии он почти здоров, весел до дерзостей и выглядит эдаким здоровячком. Курит беспрестанно сигарету за сигаретой и ест глазами свою посетительницу….  
- Ерохин, там к тебе пришли, - в палату заглянула медсестра.  
- Выйди сам. Давай, давай! Костыли под мышки и аллюром…. Что тебе доктор сказал? Ходить! Пусть и на костылях…. А заодно и палату проветрите.  
Последнее было сказано для всех.

- А кто там? – Сергей нехотя повернулся от стены.

- Иди, иди. Проветришься заодно. Нечего киснуть. Быстрей на костылях освоишься. Там мужчина какой-то, трезвый такой и представительный. Родственник, говорит…

- Ну, если только родственник. Придётся идти…

Серёга тянется за костылями, дежурно приткнутыми у спинки кровати, осторожно встаёт и медленно направляется к выходу. Следом зашевелились в палате и остальные.

В этот час больных редко посещают. Здоровые в больницу бегают в большей мере по причине нынешнего нищенского состояния медицины вообще, и потому кормить больных нужно извне. И делают это либо с утра до врачебного обхода, либо вечером к ужину. В ожидание же так называемого «мёртвого часа», посетителей никто не ждёт, потому Сергей, недоумевая, подвигался к лавочкам в больничном сквере. С костылями он ещё управлялся плохо и боялся упасть. Неприятно было ощущать перевес своего тела именно на отсутствующую конечность. Думалось: «Надо же, ноги нет, а вся тяжесть на эту сторону. Почему так?…». Вот так размышляя и глядя под ноги, он прозевал-таки родственника. Поднял глаза, только когда его окликнули:  
- Серёжа! Ерохин?

Сбоку, приподнимаясь с лавочки, к нему обращался незнакомый мужчина. Ладный, с серебром седины на всю голову, с лукавинкой в зелёных глазах.  
- Да, - Сергей недоуменно оглядывался, отыскивая ещё и родственника.  
- Это я попросил сестру позвать вас, - мужчина жестом пригласил сесть с ним на лавочку.

- Сестра сказала – родственник…? – Серёга сел, прилаживая рядом костыли.  
Незнакомец как-то смущённо улыбнулся, присел рядом, протянул полиэтиленовый пакет.

- Это вам… апельсины.

- Спасибо. Но всё-таки где же родич?

- Видите ли, Сергей, я тоже некоторым образом причастен к фамилии Ерохин…  
Серёга только теперь, приглядевшись внимательнее к собеседнику, заметил характерный Ерохинский прищур, каким наделён и отец, и дядька, и наверно он сам. Тут же подумалось: «А ведь и Димка так же глядит. Как это я раньше не заметил? Но там кажется по женской линии всё родство, а это мужик? Во, родственников развелось…». Он осторожно спросил:

- Может быть однофамильцы?

- А вот и давайте уточним. Деда вашего, не Тимофеем ли звали?  
- Деда? Да, Тимофей Федотович. Но я не знал его, и отец не помнит. Дед, спустя три года после войны, скоропостижно скончался. Кажется, что-то с сердцем.  
- Вот видите, я прав на счёт родства. С вашим отцом мы братья, правда, троюродные…  
- Откуда вы вообще взялись? – Сергей с юношеской непосредственностью улыбался.  
Он вдруг отчётливо вспомнил, что недавно видел этого человека в группе руководителей порта, посетившей накануне акционерного собрания причалы и складские помещения. Раньше о таких посещениях работяги с ехидцей подмечали: «…слуги народа к хозяину поручкаться вышли…», а сейчас ехидничают: «…новые хозяева старого понукать желают…».  
- Я видел вас как-то в порту… среди начальства, - последнее Сергей произносил через подчёркнуто вопрошающую паузу.

- Да. Я представляю в правлении небольшую группу иностранных владельцев акций порта.

- Так вы ещё вдобавок иностранец? А по внешнему виду и не скажешь. И как же вас звать величать?

Сергей почему-то подумал, что этот новоявленный родственник каким-то образом решил повлиять на него в связи с возмещением ущерба от производственной травмы. Такие дрязги случаются. В действиях пострадавшего находят нарушение техники безопасности и пиши пропало пособие…  
- Нужно признаться, моё теперешнее имя мало о чем говорит. В иностранцах-то я лишь пятый год. Знаешь, так получилось…. Это долгая история. Будет приятно, если назовёшь меня просто дядькой, дядей Василием…, идёт? Когда весть о несчастном случае пробежала по кабинетам в управлении, я обратил внимание на твою фамилию. Навёл справки и утвердился окончательно в нашем родстве.

Сергей хмыкнул с иронией:

- Во, Ерохины дают! И за кордоном полно…

- Да уж, - как-то неопределённо протянул новоявленный родственник, а потом участливо просто спросил:

- Как собираешься жить?

- Не знаю…, - Серёга сник, растерянно повёл руками и повторил: - Если честно, не знаю.

- У тебя как с родителями?

Показалось, родственник спросил не для того, чтобы узнать об отношениях Сергея с отцом, с мамой. Ему явно хотелось узнать о самих родителях.  
- А вы бы по родственному с них и начинали знакомство…, - просто съёрничал Сергей и тут же пожалел об этом.

Его седой собеседник виновато опустил взор на свои большие загорелые руки, мягко поглаживая их одна в другой.

- Знаешь, случай…, несчастный случай с тобой как-то способствовал…,

-дядька запнулся, почувствовав нелепость слов.

Сергей понял и, преодолевая обоюдную неловкость, заговорил об отце.  
- Батя у меня ещё молоток! На заводе всю жизнь вкалывает. Кажется, здоров, по крайней мере не жалуется, но нет-нет выпивает…. Затоскует, замкнётся вдруг и день-два под хмелем ходит. На работе у него спирт всегда под рукой, может быть потому и пристрастился. Мама там же рядом, и обмотчицей много лет работала. Ещё, помню, на электрокаре…. Это когда я пацаном ещё до армии в завод через забор украдкой пролазил. Сейчас, кажется, инструментом в цеху заведует.

- Кажется? – с иронией в голосе переспросил дядька.

- Я как-то не вникаю сейчас в их дела. Там сеструха…. Она постарше. Почаще надоедает. Детвору свою на стариков часто спихивает. Тоже работать надо…. А дети то болеют, то из детского садика забрать надо. Канитель, одним словом. Но старики не отказываются. Я, бывает, забегу. Теперь, вот, свалился на их шею….

Серёга захлебнулся накатившей слезою, умолк, но быстро справился с собой.  
- Я в общагу перебрался сразу после профучилища ещё до армии, чтобы не мешать. А может быть самостоятельности хотелось…? В порт пошёл по специальности и ещё успел год до службы практики набраться. Сейчас армией, видал как, запугали. А мне повезло! Так сказать, священный долг свой электриком оттрубил в моточастях. К слову, последние полгода довелось служить в бригаде, где когда-то давным-давно деда Тимофея старший брат в командирах ходил.

- Не Афанасий ли?

- И вы знаете? А я случайно там же в части узнал. У нас по воспитательной части майор был, неплохой мужик…. Спрашивает как-то: Ерохин, у тебя деда как звали? Припоминаю, вроде Тимофеем. А по батюшке? А мне стыдно – не знаю! Майор и давай стыдить: что ж ты такой-сякой русский человек, а дедов своих не знаешь. Я тогда написал отцу письмо, как, мол, обстоит наше родовое древо? Отец своего родителя,Тимофея Федотыча, не знает, поскольку тот давно скоропостижно скончался, но кое-что всё-таки припомнил и отписал мне в письме. Я к воспитателю – вот, говорю, мои предки. Как сумел нарисовал ему схему. Он посмотрел, посмотрел, а потом полез хитро так в свои бумаги, вытащил старые приказы, фотографии и показывает мне. Гляди, сержант, часть наша тебе не какая-то там случайная, а, можно сказать, родня кровная. У тебя, говорит, дед двоюродный здесь когда-то служил. И тычет пальцем в одну из фоток. Вот видишь, комбриг Ерохин, а вот и кое-что в буманах есть: Ерохин Афанасий Федотович, одна тыща девятьсот второго года рождения, бригаду принял пятнадцатого июля тридцать шестого года…. Понял? Понял, говорю, а дальше? А дальше говорит сам разбирайся, твои корни. Я, говорит, случайно фамилию встретил и у тебя спросил. Оказывается правильно спросил. И наливает мне стопарик водочки. Выпьем, говорит, потихоньку за дедов, сержант. Серьёзный мужик, майор тот…. После армии я кое-что поспрашивал у отца, у дядьки Виктора, что ему троюродный брат и кое-какую картину после этого себе составил…  
- Какое же ты мне место в этой картине оставил, - как-то легко и шутливо спросил улыбающийся дядька.

- Если бы вы сами представились Василием Ивановичем, то было бы известно, что вы брат дядьке Виктору, а так об этом можно только догадываться.  
- Правильно догадываешься…

- Надо же! То-то дядька помалкивал всё. Я у него этим летом был. То-то он уклончиво всё о вас толковал. Где-то, говорит, в Сибири Васька, а может и ещё где подале. Года четыре назад, говорит, проездом заезжал, машину оставил и с концом…. А что же вы сам не наведаетесь к брату? Происки международного капитала…? – съёрничал Сергей.

- Наша жизнь складываются помимо нашей воли, дорогой мой Серёжа Ерохин. Может быть только за малым, очень малым исключением. Кто-то будет втянут в неё с самого начала и до конца основательно и востребовано, а кто-то так и останется с боку припёком…. Так было всегда в любой системе. И ещё, я совершенно не поддерживаю мысль о том, что нас на сто процентов задумывают и программируют за кордоном, хотя я и не отрицаю определённой зависимости. Потому что, какое бы кровное родство не существовало между нами, служишь и работаешь на другие связи, на другие отношения, на те, в которые включила тебя жизнь, очень редко тебя спрашивающая об этом. Люди встречаются и объединяются работой ли, делом, интересами случайно, как и случайно же отразятся затем на этих связях характеры и привычки, традиции и натура людей. Но случайность эта только для людей, а для дела, для работы это закономерность, которую людям до конца не дано открыть. Также по воле случая объединяются и перемешиваются народы. Потому-то в этом перемешивании так много от природы народов, от их культур и традиций. И вот в этом я вижу мизерное значение каких-то организаций и специальных устремлений буржуев ли, религиозных иерархов или ещё каких-либо евреев…. Мы все впряжены в колесницу государственности, как говорит один индийский мудрец. А погоняет эту упряжку необходимость кормиться, складывающаяся, конечно же, не без влияния человека в некую систему, у которой всегда есть некий центр. Да, да, голод, это непреходящее побуждение человека к поиску пищи, с подачи природы обрастает неисчислимым множеством вариаций труда. Хотя я наверно упрощаю то, что природа якобы начинает с голода. И в самом начале это, конечно же, многовариантное побуждение… жить.  
- Вы ещё и философ? – усмехается Сергей. – С вами интересно разговаривать. Но мне, признаться, хотелось, чтобы на наших землях народ себя чувствовал хозяином, а не ждал всегда волеизъявления, как вы говорите, некоего центра. Я понимаю, деды наши сюда попадали волею случая, либо по велению… и хозяева из них были не больно настоящие. Хозяйская состоятельность взрастает не в одно поколение. Когда земля становится истиной родиной, а не местом освоения или заработков, только тогда у человека наверно появляется неоспоримое право хозяина.

- Если бы всё так было просто…. Ты вот со своим неоспоримым правом будешь всегда слаб перед правом столицы, а та в свою очередь слаба перед капиталом, у которого вообще никогда не было и не будет родины…  
- По-вашему прав сильный?

- Сильнее тот чьё право затрагивает интересы большего числа людей. И сила эта, как ни парадоксально, в слабости этих людей, вернее, слабость в интересах. Мельче, заземлённее интересы – слабее люди. Я не знаю, правильно ли это, но так было всегда.

- Вы полагаете, сильный знает, откуда в нём сила?

- Я думаю, это познание к нему приходит постепенно, как бы растёт, примерно как твоё право хозяина. Это бесконечно. Сильный познаёт причину своей силы, слабый слабости. Только иногда людям хочется ускорить это, и тогда они… дерутся. Но с бесконечностью глупо спорить.  
- Это в вас какой-то консерватор сидит.

- Так вот получается…. С тобой тоже интересно, - говорит Василий, обращая внимание на подъезжающую машину.

- Это Димка! – обрадовано говорит Серёга. – И, кстати, ещё один вам родственник.  
- Как? – Василий по-доброму изумлён.

- А вот так!

Из автомобиля неуклюже вылазит Светка и, не обращая внимания на незнакомца, становится боком, демонстративно показывает округлившийся живот. Сергей подвигается на лавочке, уступая ей место. Светка садится, вытягивая красивые ноги в стоптанных матерчатых туфлях.  
- Хорошо, Серёжа, что ты здесь. Мы и подниматься тогда не будем в больницу. А то тяжко, сам видишь…

- Привет! Костыляешь уже сам? Ну, ну…, - не выходя из-за руля, хмуро поздоровался Крачковский.

- А что ты такой смурной? Вылез бы…. Тут вот Василий Иванович, родственник…  
- Правда что ли?

- Конечно.

Димка медленно вылез из машины, подошёл. Василий чуть приподнялся и протянул руку.

- Здравствуйте, Дима.

- Здравствуйте. А я, кажется, вас уже немного знаю, и, если вы скажите, что катаетесь вон на той «тойёте», я даже скажу как зовут вашего шофёра, - Крачковский кивнул на стоящий неподалёку автомобиль.  
Серёга только сейчас обратил внимание на то, что там сидят два человека. И они сидели так во время всего разговора.

Василий улыбался в ответ и, кажется, собирался что-то ответить, как в этот момент из автомобиля слышится зуммер сотовой связи. Неприметный до этого водитель, приоткрыв дверцу, показывает Василию звонивший телефон.  
- Извините, ребята. Что-то срочное…, - покряхтывая по стариковски он поднимается и отходит к своей машине.

- Серж, ты серьёзно о родстве с этим господином? – Димка говорит тихо и в сторону.  
- Да. А тебе что-то не нравится?

- Ты лучше спроси, что ему сейчас нравится. Пинкертон хренов. Знал бы ты, Серёжа, как он мне надоел за эти дни…, - Светка разглядывает свои ноги и вертит парусиновыми носками туфель в разные стороны.  
- Ругаетесь? – Сергей щурится в улыбке на ещё тёплое октябрьское солнце и словно радуется перебранке.

- Да ну её! Тут заканителился с чёртовой работой, а у неё никакого понимания. Вот смотри, драные какие-то нашла лапти, напялила и выпендривается. Как-будто ничего другого нет?

Димка говорил, а сам всё поглядывал на костыли да на пустую Серёгину штанину. «Надо же, здоровый мужик был, и на тебе! Хорошо ещё жениться не успел…». Дурацкая мысль пришла как-то сама собой, и он принялся корить себя за это нелепое рассуждение: «Чего же хорошего? Теперь действительно не женится…. Кто из невест теперь осмелится на такое счастье? Кто рискнёт? Светка, вот, от здорового часто нос воротит. А если… вдруг калекой станешь?». Димка попробовал представить себя инвалидом или хотя бы раненым. Ничего не получилось и он лишь глупо усмехнулся самому себе, а вслух как-то странно спросил:

- Серж, я так и не понял о родстве с этим мужиком? – и кивнул на увлечённого телефонным разговором Василия.

- Судя по всему, он действительно нам дядька. А тебе что-то не нравиться?  
- Понимаешь, я случайно немного знаю о щепетильной ситуации, в которой пребывает этот дядька…

- Случайно? – Серёга как-то сразу понял о чём речь.

- Ну, не совсем…. Короче, его «ведут» или, как ещё говорят, «пасут». И боюсь, если родственник вовремя не исчезнет, ему помогут раньше времени…, скажем так, состариться.

Крачковский говорил намёками, и Светка вспылила:  
- Я же говорила: Пинкертон…. Своей повальной подозрительностью надоел, во, как! У тебя, Димочка, мания преследования. Доработался…  
Но Сергей, как ни странно, понимал серьёзность опасений.  
- Мне тоже кое-что не нравится. Например, то, что дядька с некоторых пор иностранец…  
- Это ещё раз подтверждает мои подозрения. Ладно, поживём, увидим, - Димка пытается переключить разговор на другое.  
Но теперь серьёзен Сергей:

- А может быть ему надо сказать…?

- Думаю, он знает о своём положении больше нашего. Двое в машине рядом – это маленький «окопчик» на всякий случай. Да-а, задолжал дядька кому-то…  
Димка всем видом со знанием дела показывал, что не хотел бы оказаться на месте Василия.

- Мальчишки! Вы это о чём? Хотите чтобы мне стало страшно? – Светка, ничего не понимая, строит плаксивую гримасу.

- Всё, молчим! – Димка обнимает её за плечи и, переключается на Ерохина:  
- Когда выписывают, Серый?

- Дня через три…

Тут подходит Василий, нечаянно слышит последние слова и напоминает о себе:  
- Я оставлю свой телефон, позвоните мне, как выпишешься. Я так и не услышал – как собираешься жить?

- Живут же как-то люди и в ещё худшем положении. Как-нибудь выкручусь, пообвыкну…, - Сергей пробует улыбаться.

Наступает неловкая минута, когда любое слово будет ни к месту и прозвучит обязательно глупо и впустую. Но спустя эту минуту, Димка шутя говорит:  
- Писателем заделаешься!

- А что есть какие-нибудь начинания? – всерьёз спрашивает Василий.  
- Да пустое всё, - застеснялся Сергей.

- Врёт! Кое-что у него уже написано, я читал, – уже не шутит Димка.  
- И я читала, - добавляет Светка и тут же оправдывается: - Случайно. Там в комнате остались какие-то листки…

- Сейчас писательством не проживёшь, - отмахивается Ерохин. – Да и кому ты нужен в современном бедламе со своим…?

- Это точно! В нашей тьму-таракани работать надо, кайлить, чтобы в столицах стишки хорошо на сытый живот писались, - с горечью вставляет Димка.  
- Не любишь столиц? – спрашивает Василий.

- Я не жил там, но рядом и поблизости бывал, и, думаю, без наших окраин туговато бы там жилось. Гонору да помпезности враз поубавилось бы…  
- Ладно, ребята. На том пока и распрощаемся, - Василий подаёт всем троим руку, важно раскланивается со Светкой. – Было интересно познакомиться. Звоните…  
Оставляет Сергею листок с телефонным номером и уходит. Вскоре его машина, бесшумно развернувшись, исчезает за углом больничного корпуса.  
- Лихой дядька! – замечает Светка.

- Да-а. Ну, и нам пора. Тут кое-что прими…, - Крачковский лезет в машину, вытаскивает пакет. – Вечером к чаю употребишь. Давай поправляйся…  
Прощаются и через пару минут тоже уезжают. Ерохин остаётся один на грубой скамье с облупившейся краской. Раскидывает руки и, подставляя лицо солнцу, пробивающемуся сквозь сучья тополей, слушает тихий шелест палой листвы, набившейся ворохом у бетонной тротуарной бордюры…  
  
Официально небольшая компания, в которой Димке так быстро посчастливилось пристроиться, оказывала ряд незначительных услуг коммерческого характера: охрану и сопровождение грузов, организацию встреч и ту же охрану частных лиц, обеспечение порядка собраний акционеров на предприятиях, участие в мероприятиях обеспечивающих порядок на городских митингах и манифестациях. Подобными услугами иногда пользуются банки, предприниматели и товарищества. Коллектив компании состоял в основном из спортсменов, уволенных в запас военнослужащих и бывших сотрудников милиции. Руководство, состоящее из беспрестанно меняющегося числа из того же ряда, не пренебрегало и коммерцией другого порядка: не упускалась возможность перепродажи любого ходового товара, добытого не совсем официальным путём. Часто такой товар просто изымался за долги, а сами долги либо за бесценок скупались, либо приобретались опять-таки в счёт других долгов. Финансовые беспорядки, развал предприятий породили долги друг перед другом, которые в свою очередь снежным комом сметали всё тот же порядок и систему экономических отношений. Предприятия задолжали зарплату своим работникам и брали в долг у банков, которые в свою очередь, пытаясь по настоящему встать на ноги, брали у государства. А государство, теряя в реформации прежнюю системность, не в силах удерживать ситуацию под контролем другим способом, просто придерживало выпуск и без того пустых денег, залезая в ещё больший долг перед обществом. В таких условиях долги стали разменной валютой. Их просто никто не отдаёт, и всеми способами оттягивают расчёты по долгам, в надежде на всеобщий развал, в лучшем случае на чудо, либо отдают чужие долги в счёт своих. Гнуснейшее состояние общественных отношений…, но оно случается, когда люди погрязают в переделах собственности. Зная о том, что у всех есть долги, никогда не ошибёшься, предлагая услугу «выбить» их и в свою пользу. Либо просто, зная о таком положении, «вышибать» даже без ведома хозяина и, конечно же, только в свою пользу. И вышибают… любым способом. В ход идут угрозы, «наезд», шантаж, нападение, поджёг, подрыв…. Можно только догадываться, как вытряхивают должника. Большая часть вышибленного, конечно же, остаётся у самого «вышибалы». Пакостное занятие…. Это Димка сообразил сразу, но думал, что всё образуется само собой, времена изменятся, а в этом как-нибудь обойдутся и без него. И правда, поначалу всё было чинно, его использовали только в официальном порядке, но после московских курсов, когда на него «фирма потратилась», нужно было отрабатывать….  
На этот раз подвела Димкина наивность, когда в офисе при обсуждении очередного дела он услышал имя Бэзил Ерохофф. Его догадки подтвердились куда быстрее и конкретнее, чем можно было предполагать. Думая, что речь идёт о простых долгах, Димка по-детски наивно признался в родстве с этим должником, но тут же отметил для себя, как переглянулись Юрчик с «боссом», как обострился взгляд незнакомого сотрудника, прибывшего буквально вчера откуда-то из Сибири и присутствующего при разговоре якобы случайно. Тут же было заметно, как прекратился сам собой этот разговор о новоявленном родственнике. Димка сообразил, что многого не знает. Только к концу дня Юрчик намекнул, что разговаривать с иностранцем придётся Крачковскому.

- Позвонишь дядьке, так, мол, и так: надо поговорить…

- О чём?

- Сообрази сам, о чём по-семейному, по-родственному. Попроси помочь сменить работу или ещё что…. Не хватало ещё и этому учить, не маленький. Поедешь один. На всякий случай прихватишь «ствол». У него… видал, какие мужики в помощниках. Что у них на уме? Да и дядьку, как я понял, ты знать не знаешь. То-то! Надо просто вынюхать, что да как. И всё! Давай Крачкин…  
Тут же при Юрчике Димка дозвонился к дядьке. Без каких-либо проволочек быстро договорились встретиться назавтра во второй половине дня на открытой площадке у заводского профилактория.

- Встреча обычная. Приглядишься и всё. Прикрытия не будет. Выясним, чем твой родственник дышит. За ним должок тут тянется, - наигранно заканчивал давать указания «старшой».

Димка не видел подвоха, на встречу согласился даже с интересом – надо же дядьку состоятельного обрёл…. Несколько смущало лишь то, что Юрчик дал ключи от развалины «короллы», хотя свободной была ещё одна неплохая «тачка». Подумалось: «Жалеет на первый раз, боится, расколочу. Ну, ну…». Но на удивление «развалина» завелась мгновенно. «Должно быть неплохо отремонтировали…», - с такой мыслью и без приключений минут на десять раньше он был на «стрелке».

Профилакторий располагался на чудном, открытом всем ветрам, утёсе. Подъезд к нему был вполне приличный: преодолев крутизну, оказываешься разом на небольшой автомобильной площадке, прикрытой с одной стороны зданием, с другой вздымающейся в небо небольшой вершиной. Две другие стороны просто обрывались круто к морю. Устроившись поудобней на сидении, Димка озирал с высоты утёса дальний просторный рейд, с коробочками разноцветных судов на ребристой серой поверхности воды, противоположный берег бухты в синей дымке с серпами песчаных бухточек снизу и горбами уже серых в предзимье гор сверху. Справа лесистым мысом, словно хвостом, перекрывал выход в открытое море остров с чудным необъяснимым названием Лисий. Ничем не приметный пустынный остров, обжитый лишь с морской стороны птицами, как говорят, был когда-то местом для заключённых. «Рыбозаводишко какоё-нибудь был…. А больше что там ещё делать?» - дремотно думалось Димке. Слева в створе бухты движение судов оживлённее, вода стального цвета с серебром лёгких барашков, а напротив прямо у самой воды, зубом вершины подпирая блёклое небо, красуется ровная пирамида большой, выделяющейся горы, подмытая с одной стороны устьем реки. Внизу прямо под утёсом море лижет прохладной ноябрьской волной зазубрины ржавых скал, с лёгким шипением вползая на скользкий галечник в расщелинах. «Чудные места…. Вот где туризм развивать! А мы друг другу карманы потрошить надумали. Тут без этого живи-радуйся…». Ему вдруг странным показалось то, что эти мысли словно пришли к нему откуда-то из этих необозримых далей, из прошлых, совсем не им прожитых времён…. Так иногда бывает, когда всерьёз задумываешься о жини и становишься старше, как будто бы время умеет быть общим для тебя, для всего бывшего до тебя и даже для того что будет после. Да, время едино и для всех…

Краем глаза Димка видит, как подъехал дядька, как не спешит выходить и о чём-то разговаривает со своими «мужиками». Не торопится и он. Выждав минуту другую, щёлкает дверью и показывает своим видом о готовности к встрече. Выходит из машины и Василий.

- Здравствуйте, Дмитрий!

Подаёт руку, а жестом другой руки обводит окрестности и восклицает:  
- Красота какая! Я должен благодарить тебя за то, что вытащил сюда из кабинета. Присядем…. Давай выкладывай, что там у тебя за проблемы.  
По краю площадки над самым обрывом лёгкой немудрёной вязью тянется ограждение из крашенных труб. В углу круто вниз убегает трап из таких же труб и стального уголка. Тут же железная скамья с грубым дощатым сидением. Оба присаживаются на краешек. Василий в лёгком элегантном пальто, с непокрытой головой, на лице блуждает беззаботная улыбка. Он щурится на остывшее уже солнце и не глядит на Димку. Тот же в свою очередь внимателен и собран, и потому кажется озабоченным и внешне скован. Нужно о чём-то говорить. И тут случается совершенно непредвиденное…  
Как-то вдруг, преодолев подъём, на площадку почти влетают два автомобиля, украшенных свадебными лентами. Резко останавливаются, и тут же всё пространство окрест наполняется шумом весёлой подвыпившей молодёжи. Из машин высыпает так много людей, что удивительно: где они там все помещались? Какое-то мгновение Крачковский не видел в свадьбе ничего необычного. Но спустя это мгновение по тому, как резво вышли из машины, сопровождающие Василия, «мужики», а в толпе вмиг оказавшейся рядом, чётко мелькнуло лицо «сотрудника из Сибири», Димка сообразил, что происходит что-то неладное. Только в последний момент он увидел, как «сибиряк», ловко лавируя в толпе, мгновенно оказался напротив. По его движению руки под полой пиджака можно было догадаться о его намерениях. Лёгкий глухой хлопок раздался на секунду раньше, чем Димка нащупал рукоять своего « алашник». Но на секунду раньше хлопка он успел толкнуть дядьку плечом и краем глаза видел, как тот, недоуменно цепляясь руками за трубы ограждения, заваливается с лавки на бок. Сузившиеся глаза стрелявшего оказались теперь так близко, что можно было разглядеть в них бесконечную даль горизонта, словно на пути этого взгляда не было ничего, кроме серого пространства. «Макаров» зажатый в руке, легко выскользнув из кармана, почему-то в ответ на судорожное нажатие курка холодно промолчал. «Неспроста это…», - последняя догадка ничего не объясняла, но принесла чувство непреодолимой тревоги за несостоявшееся какое-то важное и необходимое дело. Подумалось: «Что-то не то я сделал! И не сейчас, а когда-то ещё раньше…. Когда сорвался из дома? Но какая в этом неправильность? Всё так устроено: всякий плод отделяется от родителя. Отделяется…, но не удаляется! А листья…? А семя одуванчика или… клёна?».  
Второй хлопок последовал лишь пару секунд спустя после первого, но понимание трагичной неотвратимости свершаемого сейчас растягивало эти секунды в медленной, вязко расслаивающейся и неправдоподобно изменившейся действительности. Окружающее пространство вдруг раздвинулось настолько широко и необъятно, что всё движущееся в нём утратило свои прежние формы и размеры. Такое бывало с ним в те злополучные последние месяцы армейской службы, когда при движении на совершенно небольшой скорости примешивается страх быть подстреленным откуда-нибудь из-за угла или сверху. Сейчас это чувство безраздельно владело им. «Я просто боюсь! Это страх и не более того…». Падая спиной на свалившегося со скамьи дядьку, Димка видел, как медленно разбегается до того весёлая свадебная толпа, как холодно мерцает из-под плавно поднятой полы пиджака серый цилиндр глушителя…

«…Я как семя, у которого маленькие лёгкие крылышки. Меня подхватило чуть ветром и унесло от родительского ствола. А до меня? Деды, каким семенем по свету разлетелись? Какой в этом смысл? Да и нужен ли смысл…? Если движения вдруг обретут такие вот медленные и вязкие формы? Как неприятен остановившийся замерший мир…. Какая-то непростительная глупость в том, что вот этот незнакомый человек напротив с холодным надменным лицом, превозмогая медлительность и неподвластность времени, непременно нажмёт тугой неподдающийся курок своего оружия, спрятанного в складках отяжелевшей малоподвижной одежды. Глупость в том, что так явственны и нескрываемы намерения этого человека, так легко предсказуемы, но потому и неотвратимы. Глупость в этой никчемности предвидения, предсказуемости…. Зачем они, если события обязательно произойдут? Они уже произошли…! Это только безжалостное время растягивает суть вещей между хлопками выстрелов! Зачем оно это делает? Каким умением нужно обладать, чтобы воспользоваться этой растянутостью, чтобы увернуться вон от той малюсенькой поблёскивающей чертовщинки язвительно выкручивающейся с волнообразными колебаниями воздуха из потаённого глушителя. У меня такого умения никогда не было. Я трус…», - отчётливо и просто безо всякого сожаления, словно признавая неопровержимый факт, думал Димка. И в этом тоже была какая-то необъяснимая глупость…

Он так и замрёт сражённый больше недоумением и бессмысленностью происходящего, чем тупым ударом, медленно прилетевшей к нему, пули. Когда этот, мягко вибрирующий, словно пластилиновый кусочек металла, чуть задев лацкан пиджака, коснулся джинсовой, вылинявшей от частой стирки, рубашки, он разглядел даже царапину на его круглом шершавом боку. От лацкана отделилась облачком пыль, а рубашка, медленно вминаясь, словно жесть расползлась рваными трещинами, пропуская, неприятно сморщивающуюся пулю, к груди. «Она уже в сердце! Я просто вижу её след…» - думалось Димке при этом. – «Это она ужалила где-то глубоко под рёбрами и вот беззлобно толкнула в спину…. Она убила меня! Просто так! Я ничего не сделал! Я не хотел…». Под Грозным ему повезло, там пули только слышались, виделись в неспокойном сне, да оставались нетронутыми в рожке « алашникова», настороженно поглядывающего из-за промасленного сидения видавшего виды трудяги «КАМАЗа».

Последнее, что ещё видел Димка широко открытыми глазами, была размашистая, словно медленно летящая фигура «сибиряка», так же медленно развернувшаяся машина, на которой ещё несколько минут назад так неплохо дремалось. «Сразу завелась! Недаром отремонтировали…». И тут же все формы и движения вокруг приняли своё прежнее состояние. Те двое из дядькиной машины мгновенно оказались прямо над ним. Он ещё чувствовал их грубые прикосновения, ещё слышал под собой глухой дядькин стон. «Значит, жив…», - подумалось тепло и понятно. И мучившее чувство важности неоконченного дела вдруг ушло. Димка вспомнил, зачем он здесь. Пытаясь поднять руку, он ещё хрипит сквозь кровавую пену, показавшуюся на губах:

- Я пришёл сказать…

\*\*\*  
  
ЭПИЛОГ

Набросится белёсое небо влажной пеленою на сопки, скроет от глаз синеву дальних вершин, а серый лес облезлым худым зверем подступит к окраинам городка и защемит душа неизбывной тоскою о весне, о светлом далёком детстве. Проснётся где-то под рёбрами тайный крестьянский корешок, и потянет памятью до боли ниточку мысли о прожитом, о недоделанном, о хлебе насущном, о земле…

В апреле у Рыжовых прибавилось семейство. Светка родила крепенького большеглазого мальчишку. Мефодьич на радостях выкатил из гаража застоявшегося за зиму «жигулёнка», и прежде чем завёл, долго с ним провозился. «Дед» теперь значился большим автоспециалистом, с тех пор как в январе ушёл из бригады и прижился сторожем на стоянке в своём микрорайоне. К тому времени, как забрать дочь из больницы, ему не единожды звонил Сергей Ерохин, всё просил:

- «Дед», ты меня не забудь…

Не забыл, заскочил, всё ж родственники теперь. Ерохин обосновался в квартире, что снял ещё по осени Димка. Высоковато, правда…. Помог Серёге спуститься, спросил, участливо кивая на протез:

- Тяжело с непривычки?

- Привыкаю понемногу. Две недели только и хожу…. С рождения, вон, целый год нужно учиться, да и ещё потом, сколько потопать нужно, прежде чем укрепишься. А я только начал, оклемаюсь…

- А куда денешься! Не ты первый, не ты последний…

В роддоме, принимая от медсестры плотный шуршащий новой атласной тканью пакет, Мефодьич долго разглядывал спящего ребёнка. Заглядывал под треугольник накидки и Серёга. Светка, похудевшая и как-то разом повзрослевшая, застала их за этим и спросила тихо с улыбкой:  
- Ну, как?

- Наш, - довольно с протягом ответил Сергей.

- Точно ваш. Тут уж никуда не денешься…, - серьёзно добавил Мефодьич, прикрывая осторожно конверт с ребёнком.

…А ещё через месяц мальчишку регистрировали. И опять почему-то втроём. В отделе ЗАГС чиновница, оформляя свидетельство, интересуется:  
- Как будем записывать? Имя обговорили?

Говорит, поглядывая всё время на Серёгу, держащего ребёнка, как будто он виновник торжества, либо главный противник всех имён и фамилий. И действительно отвечает Ерохин при полном молчании Рыжовых:

- Федотом думаем звать, Дмитриевичем величать.  
- Хорошее имя, но так сейчас исключительно редко называют, - осторожно говорит чиновница.

- А вот мы то самое исключение и есть. Правда, сынок? У деда, вон, какое отчество, куда уж исключительней, – кивает на Мефодьича и ласково бубнит в просвет пакета Сергей. Встретившись на этот миг со Светкиным влажным взглядом, добавляет:

- А фамилия у нас будет Крючковский-Ерохин.

- Опять редкость…, - поднимает от бумаг голову регистраторша.  
- А вот тут, как раз, никаких исключений: она Крачковская, я Ерохин,

- Сергей глазами показывает на Светлану.

- Надо бы для полного порядка ещё и Рыжов добавить, да уж ладно…. Мы не гордые, не претендуем, - вставляет со стороны, нарушая неловкое молчание, Мефодьич.   
И только на улице, выходя из здания, дёргает Ерохина за рукав:  
- Когда сговорились?

- Да было дело, батя…. Я думаю, так самое правильное будет. Как думаешь, Свет? – Сергей ловит её тёплую руку и чуть сжимает.  
Светлана уводит в сторону глаза полные слёз, закусывает губы, но руки не убирает и в ответ чуть шевелит пальцами в Серёгиной широкой ладони.  
- Вот и ладно…. Так, значит, и запишем – будем жить!